

СЕРИЯ

**ТРАНССИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ПУТЬ**



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Н.Е. Никонова, Д.А. Олицкая,
В.Н. Горенинцева, Ю.И. Родченко,
Е.В. Аблогина, М.В. Павлова

ПЕРЕВОДЫ
ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПЕРИОДИКЕ СИБИРИ

ХРЕСТОМАТИЯ



Издательство Томского университета
2016

УДК 821.161.1, 821.112.2

ББК 83.3я73

П

**Переводы французской литературы в дореволюционной
П периодике Сибири: Хрестоматия. – Томск: Изд-во ТГУ,
2016. – 280 с.**

ISBN 978-5-7511-2418-2

Хрестоматия содержит систематически подобранные переводы литературно-художественных произведений писателей и поэтов, которые были опубликованы на страницах сибирских периодических изданий 1880–1910-х гг. и выполнены местными авторами специально для них. Параллельно русским переводам представлены французские оригиналы сочинений П. Бурже, А. Доде, О. Мирбо, Г. де Мопассана и др. В книге впервые комплексно репрезентована альтернативная рецепция инонациональной словесности, открывающая специфику регионального культурного сознания.

Для студентов-гуманитариев, в том числе обучающихся по направлениям подготовки «Филология», «История», «Журналистика».

УДК 821.161.1, 821.112.2

ББК 83.3я73

Издание осуществлено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (проект МД-4756.2016.6)

ISBN 978-5-7511-2418-2

© Н.Е. Никонова, Д.А. Олицкая,
В.Н. Горенинцева, Ю.И. Родченко,
Е.В. Аблогина, М.В. Павлова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник представляет первое в своём роде учебно-практическое издание, включающее в себя переводы, появившиеся на страницах томских газет «Сибирский вестник», «Сибирская жизнь» и «Сибирские отголоски» в период 1880–1910-х гг. Для хрестоматии были отобраны оригинальные переводы, выполненные журналистами специально для региональной периодики и не публиковавшиеся в центральной печати. О перепечатках, произведениях по мотивам, характере литературно-критической рецепции французских авторов, сопровождавшей появление публикуемых текстов в периодических изданиях, можно узнать из справочных статей, посвящённых каждому из них в настоящем издании.

Данный комплекс литературно-художественных текстов уникален с точки зрения историко-культурной значимости, поскольку он системно раскрывает важнейшие черты субэтнического культурного сознания сквозь призму имагологической парадигмы, т.е. посредством понимания процесса формирования представлений о «своём» (национальном, региональном) и «чужом» (инонациональной словесной культуре). Эти воззрения декодируются в характерных сюжетах, мотивах, образах и жанре сочинений, выбранных журналистами томских газет. Таким образом, публикация в местных газетах конца XIX – начала XX в. художественных переводов, театральных рецензий и критических статей, посвященных западноевропейской словесности, выступает одним из способов самоопределения.

Корпус переводов, собранный впервые под обложкой хрестоматии, позволяет значительно дополнить представление об истории и развитии словесной культуры в Сибири, что находится в русле современных тенденций гуманитаристики и соответствует направлениям исследовательской деятельности центра «Транссибирский научный путь» (TSSW), созданного в Национальном исследовательском Томском государственном университете и специализирующегося на изучении Сибири.

Хрестоматия «Переводы французской литературы в дореволюционной периодике Сибири» дополняется двумя прецедентными учебно-практическими изданиями, включающими в себя избранные переводы немецкой и англо-американской литературы, вышедшие

на страницах сибирской печати конца XIX – начала XX в. Материалы этих трёх изданий свидетельствуют о том, что центром региональной рецепции зарубежных тенденций и традиций в словесности на рубеже веков выступал Томск.

Причиной такой локализации, и в географическом, и в идейном плане, стала высокая концентрация образованной интеллигенции вокруг основанного в 1888 г. первого за Уралом российского университета, как ссыльной, так и той, которая приехала по своей воле, чтобы служить науке, образованию, развитию русской мысли. Томская периодика выступала средством массовой информации и выполняла просветительскую и культуртрегерскую функцию, а также превратилась в площадку для самореализации талантливых, думающих людей. Этим вполне объясняется достаточно высокая для провинции степень зрелости этого культурного сознания, отсутствие абсолютной зависимости от столичного вектора мысли.

Избранные переводы французских прозаических сочинений, вышедшие в дореволюционной периодике Сибири, представлены по персоналиям инонациональных авторов в хронологическом порядке. Каждый из текстов переводов снабжён краткой справкой, информирующей о месте и времени публикации. Таким образом, в данном пособии помещены французские оригиналы и томские эквиваленты произведений, начиная от новелл П. Арена (1843–1896) и заканчивая рассказами А. Франса (1844–1924). Включенные в хрестоматию произведения представляют лишь малую часть переводов с французского, опубликованных в сибирских дореволюционных периодических изданиях.

Композиция учебной книги, в которой перевод располагается параллельно оригиналу (*en regard*), позволяет проследить переводческие трансформации, важнейшие для понимания авторских рецептивных стратегий в процессе сопоставления текстов на иностранном и русском языках. Материалы хрестоматии могут быть использованы в обучении студентов языковых специальностей в рамках курсов по истории, теории и практике перевода, по истории зарубежной и региональной литературы, а также по истории русско-западно-европейских литературных контактов при обучении по бакалаврским и магистерским программам по направлениям подготовки 45.04.01 – Филология, 45.03.03 – Издательское дело.

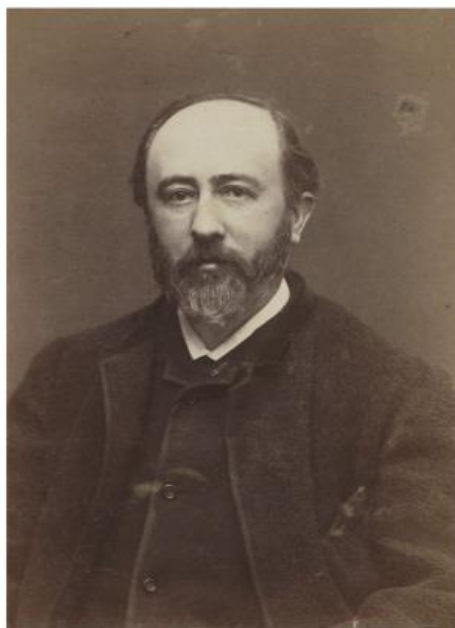
Персоналии зарубежной литературы сопровождаются комментариями, которые, во-первых, представляют их место в актуальном синхронном культурно-историческом контексте эпохи и, во-вторых,

содержат библиографию критических, публицистических заметок и театральных рецензий, посвященных их творчеству и опубликованных в сибирских газетах, что позволяет читателю при необходимости дополнить своё представление о характере сибирской локализации зарубежных авторов, являвшихся, как правило, видными деятелями общественно-политической и культурной жизни Европы.

Настоящее учебно-практическое издание создано по результатам масштабной источниковедческой и исследовательской работы кафедры романо-германской филологии, проведённой в 2007–2016 гг., с одной стороны, и дополняет серию созданных Н.В. Жиликовой, В.В. Шевцовым, Е.В. Евдокимовой и др. коллегами научно-исследовательских и учебно-методических трудов томской гуманитарной школы, посвященных становлению и развитию сибирской журналистики дореволюционного периода и литературному регионализму – с другой.

Материал хрестоматии будет востребован в учебном процессе (бакалаврская программа по направлению подготовки 42.03.02 – Журналистика) и исследованиях дореволюционных медиаресурсов, поскольку он расширяет и дополняет представления о содержательных и концептуальных особенностях сибирской периодической печати. Газетная полоса дореволюционной периодики представляла собой синтез текстов разных типов: оригинальных произведений местных журналистов и публицистов, перепечаток из зарубежной, столичной, провинциальной прессы, рекламы, а также разнообразных литературных жанров. В газетах публиковались стихотворения и очерки, рассказы и романы и, конечно, переводы. Взаимодействие и взаимовлияние текстов разных типов, литературных и публицистических жанров, проблемы актуализации беллетристического материала в контексте формирования информационной повестки дня – решение этих и других исследовательских проблем становится возможным благодаря материалу, представленному в настоящей хрестоматии.

Поскольку переводы входили в структуру ведущих сибирских газет и журналов, они неизбежно становятся предметом научного осмысления историков и социальных антропологов, которые обращаются к истории становления и развития сибирской периодической печати, к вопросу о том, какую роль сыграла журналистика Сибири в формировании регионального самосознания. Поэтому хрестоматия рекомендована также обучающимся по магистерским программам «Сибирские исследования» по направлению подготовки 03.06.00 – История; и «Социальная антропология и этнология» по направлению подготовки 46.04.03 – Антропология и этнология.



Поль Арен
(Paul Arène, 1843–1896)

Поль Арен (Paul Arène, 1843–1896) – французский поэт и писатель, друг А. Доде, Ф. Коппе, К. Мендеса. Проза и поэзия Арена была популярна у читателей центральных литературных французских журналов и альманахов 1860–1880-х гг.

В томской периодике представлена оригинальная рецепция малой прозы Арена. Четыре перевода выходят на страницах «Сибирского вестника» в течение двух недель 1904 г. (с 23 июня до 6 июля). В литературно-критических и информационно-новостных заметках упоминаний имени и творчества Арена не обнаруживается.

Включенный в хрестоматию рассказ «Танцовщица» («La danseuse»), как и остальные три текста, привлечение внимание переводчика, подписавшегося криптонимом «М.Ш.», был опубликован в 1891 г. в сборнике «Ненасытные» («Les Ogresses»), состоявшем из более чем 40 коротких рассказов.

Особенности сибирских переводов Арена до настоящего времени не привлекли специального исследовательского внимания.

Публикации

1. Арен П. Танцовщица // Сибирский вестник. – 1904. – № 134 (23 июня). – С. 2.
2. Арен П. Фея Ниццета // Сибирский вестник. – 1904. – № 139 (29 июня). – С. 3.
3. Арен П. Лавры // Сибирский вестник. – 1904. – № 116 (2 июня). – С. 3–4.
4. Арен П. Кукла // Сибирский вестник. – 1904. – № 144 (6 июля). – С. 3–4.

LA DANSEUSE

Quand le train se fut arrêté, l'abbé Lèbre referma son bréviaire revêtu d'un morceau de cachemire noir ; puis, l'ayant mis en un coin de la valise, il toussa, se secoua, et, d'un air d'héroïque résolution qui contrastait comiquement avec sa bonne grosse et paternelle figure, vous eussiez pu l'entendre murmurer :

– « Du courage et ceignons nos reins, car nous voici dans Babylone ! »

À vrai dire, il ne paraissait pas fâché d'être dans Babylone, l'abbé Lèbre.

Voir Paris était un rêve par lui de tout temps caressé au fond de sa petite cure, la plus pauvre du plus rocailleux canton des montagnes vivaraises.

Certes, au premier moment, il avait été joyeux, l'abbé Lèbre, du legs inespéré qui allait enfin lui permettre de renouveler ses ornements d'autel, ses vêtements sacerdotaux qu'il ne mettait plus sans rougir tant leur état était misérable, et de remplacer par une cloche neuve, bien tintante, dans la cage de fer qui surmonte le vieux clocher, celle que la foudre venait de fêler au dernier orage.

Mais cette joie légitime et sainte s'était presque aussitôt – l'abbé se le reprochait – nuancée de joie plus profane à l'idée que des achats aussi considérables le mettaient dans la nécessité de faire un voyage à Paris et de confier pour quelques jours le soin de ses messes à son collègue le plus voisin.

Pourtant, malgré une légère inquiétude de conscience, sa satisfaction eût été complète de le connaître enfin ce Paris dont il cherchait depuis un quart d'heure à démêler au loin, à travers la portière, les lignes noyées de brouillard, et d'aller courir, l'argent à la main, les magasins du quartier Saint-Sulpice éblouissants de brocart et d'or, si à cette agréable mission ne s'en était pas jointe une seconde, scabreuse, que l'abbé s'était lui-même donnée.

L'abbé Lèbre possédait à Paris un frère, son aîné de quatre ou cinq ans. Ce frère était peintre. Vous n'êtes pas, d'ailleurs, sans avoir entendu parler de Jean-de-Dieu Lèbre, et sans connaître, au moins par les repro-

ТАНЦОВЩИЦА

(Пер. с франц. для «Сиб. Вестн.»)

Когда поезд остановился, аббат Лебр закрыл свой молитвенник, спрятал его в чемодан, потом кашлянул, встряхнулся и с видом героической решимости, представлявшим комический контраст с его добродушным толстым лицом, прошептал:

– Смелей! Перепояшем свои чресла, ибо мы уже в Вавилоне!

Правду сказать, он не казался огорченным, что находился в Вавилоне. Видеть Париж было постоянной мечтой его, священника самого бедного прихода в самом гористом Виварезском кантоне. Разумеется, в первую минуту аббат Лебр обрадовался неожиданному наследству, позволившему ему обновить украшения в алтаре и священные одежды, при облачении в которые он всегда краснел, так как они были изношены, а также заменил треснувший от молнии колокол новым на старой колокольне. Но к этой законной и безгрешной радости почти тотчас же примешалась другая, более грешная, при мысли, что столь крупные покупки делают необходимой его поездку в Париж. Несмотря на легкий укор совести, аббат был бы вполне доволен, что познакомится, наконец, с Парижем, который он уже с четверть часа старался разглядеть из вагона, и побегает с деньгами в руках по пышным магазинам квартала Сен-Сюльпис, если бы к этой приятной миссии не присоединилась другая, возложенная на него им же самим.

В Париже у аббата Лебра был брат, старше его лет на пять. Этот брат был живописец, и вы, наверное, видели, если не в оригинале, то в гравюрах его картину «Вечер святого семейства», за которую он получил медаль. Оба брата нежно любили друг друга, несмотря на различие их жизненных путей, но у аббата хранилось в сердце неудовольствие на брата, так как последний ни за что не хотел жениться, хотя ему было уже за пятьдесят и хотя ему представлялись великолепные партии. Теперь аббат знал причину его отказа же-

ductions, le tableau qui lui valut sa médaille, ce *Repas du soir de la Sainte-Famille* d'une si réaliste et si pénétrante mysticité.

Les deux Lèbre s'aimaient tendrement bien qu'ayant suivi des voies différentes. Mais l'abbé, au fond de son cœur, gardait un grief contre Jean-de-Dieu.

Au grand désespoir de l'abbé, Jean-de-Dieu, qui dépassait pourtant la cinquantaine, n'avait jamais voulu se marier, bien qu'on lui eût offert des partis superbes.

Or, maintenant l'abbé savait le motif de ses refus. Comment l'avait-il appris ? Je l'ignore ; mais il le savait depuis un mois. Jean-de-Dieu – ces artistes sont tous les mêmes – avait une maîtresse ! Et quelle maîtresse ! Une danseuse, une Italienne, répondant au nom d'Adalgise.

La révélation avait profondément peiné le bon abbé et ce nom amoureux visigoth d'Adalgise lui faisait l'effet d'être l'un des treize cents sobriquets du diable. Une chrétienne, décemment, ne peut pas s'appeler Adalgise !

Et voilà donc pourquoi Jean-de-Dieu ne s'était jamais marié ; voilà pourquoi, aussitôt après son premier succès, il avait renoncé à la peinture religieuse et s'était mis à peindre, sous prétexte de modernité, des sujets légers que les marchands payaient très cher ; voilà surtout pourquoi il lui avait paru cassé et vieilli avant l'âge, six mois auparavant, lorsqu'il allait soigner au Mont-Dore une maladie bizarre, très à la mode cette année-là, inventée récemment par un médecin de génie.

Et le bon abbé, la tête pleine de visions naïvement orgiaques, se représentait Jean-de-Dieu passant ses nuits et brûlant sa vie dans toutes sortes de lieux de perdition. Les verres tintaient, le champagne coulait, et Adalgise la danseuse menait la danse.

– « Mais, je la verrai, cette Adalgise, je lui parlerai, j'arracherai Jean de ses griffes ! »

Aussi, une fois arrivé à l'hôtel du Bon Fabuliste, l'abbé prit-il à peine le temps de broser sa soutane et d'avaler un bouillon dans une salle à manger claire, luisante et blanche comme une sacristie, à côté d'un évêque *in partibus* dont la belle barbe l'intimida : puis, renseigné par le garçon, il se dirigea vers le logis de Jean-de-Dieu.

Chemin faisant, l'abbé se demandait :

– « Comment peut bien être cette Adalgise ? »

Tout jeune, avant d'entrer au séminaire, on l'avait mené au théâtre, une fois. Il se rappelait le ballet : une belle fille, les jambes roses, presque nue, avec un léger jupon blanc qui tourbillonnait, tourbillonnait.

ниться. Как он узнал, мне неизвестно, но он знал уже с месяц: Жан-де-Дье – эти артисты все одинаковы – имел любовницу, и какую любовницу! Танцовщицу, итальянку, отвечавшую на имя Адальгизы.

Открытие очень огорчило доброго аббата, а это красивое вестготское имя Адальгиза казалось ему одним из тысячи трехсот имен дьявола. Христианка не могла иметь имя Адальгизы! Так вот почему Жан-де-Дье не женился; вот почему сейчас же после своей первой картины, имевшей успех, он отказался от религиозной живописи и взялся под предлогом современности за легкие сюжеты, за которые ему платили очень дорого, а главное, вот почему он отказался ему таким разбитым и преждевременно состарившимся, когда полгода тому назад он ездил в Мон-Дор лечиться от странной болезни, бывшей в большой моде в этом году и недавно изобретенной каким-то знаменитым врачом! ... И добрый аббат представлял себе Жана-де-Дье проводящим ночи и прожигающим жизнь в различных местах гибели. Стаканы звенят, шампанское льется, а танцовщица Адальгиза танцует...

– Но я увижу эту Адальгизу, поговорю с ней и вырву Жана из ее когтей!

Поэтому, приехав в отель, аббат кое-как почистил свою рясу, проглотил чашку бульона и, расспросив гарсона, направился на квартиру Жана-де-Дье.

– Какова эта Адальгиза? – спрашивал себя аббат дорогой.

Еще до поступления в семинарию совсем маленьким его раз водили в театр. Он вспоминал балет – красивую девушку, почти голую, с розовыми ногами, в легкой белой юбочке, кружившуюся без конца. С большими черными глазами, алыми губами, с бриллиантами в волосах и на груди она танцевала, улыбаясь. Один молодой господин позволил ей увлечь себя на гибель. Такою должна быть и Адальгиза! И он ясно видел ее, с розовыми ногами, почти голую, танцующую перед Жаном-де-Дье, точно Саломея перед Иродом! Раз она соблазнила царя иудейского Ирода, тем более должна была она соблазнить живописца. В голове аббата теснились воспоминания. А может быть, Адальгиза больше похожа на царицу Савскую, приведение которой едва не ввело в соблазн святого Антуана?

Ну а если она вздумает соблазнить тебя, можешь ли ты, простой священник, надеяться, что окажешься сильнее святого?

Аббат Лебр начинал тревожиться, ему хотелось бежать от искушения, но чувство долга превозмогло.

De grands yeux noirs, la bouche rouge, des diamants dans les cheveux et des diamants au corsage, elle dansait en souriant. Un jeune seigneur, attiré par elle, se laissait conduire aux abîmes.

Ça devait être ça, Adalgise ! Et distinctement il la voyait, les jambes roses, presque nue, dansant, dansant, devant l'infortuné Jean-de-Dieu.

Telle encore Salomé devant Hérode ! Puisqu'elle avait séduit Hérode, roi des Juifs, à plus forte raison devait-elle séduire un peintre.

Les souvenirs revenaient en foule à l'abbé Lèbre. Peut-être aussi Adalgise ressemblait-elle à cette reine de Saba, dont le fantôme faillit triompher de saint Antoine. – « Si pourtant elle te tentait, toi aussi ? Peux-tu te promettre, simple curé, de mieux résister que le Saint ! »

Et l'abbé Lèbre devenait perplexe ; l'abbé Lèbre éprouvait comme une envie de fuir.

Le sentiment du devoir l'emporta : – « J'anéantirai l'idole de chair. Oui ! fut-elle plus attirante et plus parée que Salomé ou la Reine de Saba, je triompherai d'Adalgise ; seulement, il faut que Dieu me prête un peu d'aide... » disait le bon abbé en serrant sa canne de voyage, que, par prudence, il avait gardée.

Et pour remonter son courage, avant d'engager la bataille, l'abbé Lèbre entra dans une église et pria :

Il est prêt maintenant l'abbé Lèbre, et l'idole de chair n'a qu'à bien se tenir !

Voici la maison. L'abbé Lèbre sonne. Une petite vieille dame, d'âge plus que canonique ; mais agréable encore sous les cheveux blancs, vient ouvrir. Bon ! pense l'abbé, c'est la gouvernante... Il demande Jean-de-Dieu Lèbre, artiste peintre. – « Monsieur Jean-de-Dieu est allé faire sa promenade du matin et ne peut tarder à rentrer. Si monsieur l'abbé veut attendre ?... » Et la petite vieille dame introduit l'abbé dans un salon d'un luxe discret, sans bibelots, sans étoffes criardes, car Jean-de-Dieu a les goûts simples et n'appartient pas à cette race d'artistes qui, pour peindre une botte de radis, se déguisent en héraut d'armes.

Tout en attendant, l'abbé regarde. Il remarque un portrait dans un cadre d'or, sur la cheminée. Il reconnaît Adalgise telle qu'il l'a rêvée l'idole de chair, aux grands yeux noirs, à la bouche rouge, et si diaboliquement belle que son âme en reste troublée. Le portrait vous fait déjà peur ? que sera-ce, mon pauvre abbé Lèbre, quand vous verrez la vraie Adalgise !

L'abbé invoque saint Antoine, et une inspiration lui vient.

La dame trotte, remue le feu :

– Я сокрошу идола плоти. Да! Будь она привлекательнее и наряднее Саломеи и царицы Савской, я восторжествую над Адальгизой с помощью Божьей!

И, чтобы поднять в себе смелость, аббат зашел в церковь помолиться. Теперь он готов к бою, и пусть идол плоти бережется!

Вот и дом. Аббат Лебр позвонил. Маленькая, старая, но еще привлекательная, несмотря на седину, дама отворила ему.

– Хорошо! Это экономка, – подумал аббат и спросил живописца.

– Г. Жан-де-Дье отправился на свою утреннюю прогулку и не замедлит вернуться. Может быть, г. аббат подождет? ...

И старая дама ввела аббата в салон, убранный с изящной простотой, без ярких материй и безделушек, потому что у Жана-де-Дье вкусы простые, он не принадлежит к тем художникам, которые, чтобы нарисовать какую-нибудь редиску, наряжаются герольдами. В ожидании брата аббат осматривался вокруг. На камине он увидел портрет в золотой раме и узнал Адальгизу, как он ее представлял себе: идол плоти, с большими черными глазами, алыми губами, так дьявольски красивую, что его душа смутилась... Если вас уже портрет пугает, то что же с вами будет, мой бедный аббат, когда вы увидите саму Адальгизу?! Аббат вспомнил святого Антуана, и на него нашло вдохновение при виде дамы, мешавшей уголья.

– Простите, г. аббат, я должна приготовить питье...

– Что, – подумал аббат, – если бы я доверился этой доброй и достойной особе? Скандал, наверное, ей противен, это готовый помощник...

Он разговорился, расспрашивал и, не называя себя, осведомился, какую жизнь в Париже ведет его старший брат. По словам дамы, Жан-де-Дье ведет самую правильную жизнь, отдавшись весь своему искусству, вставая и ложась с курами, впрочем, постоянно хворает, а как только чуть-чуть поправится, непременно совершит какую-нибудь неосторожность, не бережется.

– Доктор еще вчера говорил, что он давно бы умер, если бы я не ухаживала за ним.

– Она ничего не знает... Что за лицемер мой брат! – подумал аббат. И тихо, точно в исповедальне, он рассказал пораженной старой даме, что Жан-де-Дье, несмотря на свой возраст, безумствует, что у него есть любовницы...

– Любовницы?!

– « Vous me pardonnerez, monsieur l'abbé, il faut que je prépare la tisane. »

Si je me confiais, se dit l'abbé, à cette bonne et digne personne ? Le scandale doit lui déplaire c'est une aide toute trouvée.

Il cause, interroge, et, sans se faire connaître encore, s'informe de l'existence que mène à Paris son aîné.

Jean-de-Dieu, d'après la dame, a une vie des plus régulières. Tout à son art, à ses tableaux, se réveillant avec le coq et se couchant avant les poules... Presque toujours malade d'ailleurs et commettant des imprudences aussitôt qu'il se sent pour deux sous de force. – « Le médecin le disait hier encore : il y a beau temps qu'il serait mort si je n'étais pas là pour le soigner. »

L'abbé songe : elle ne sait rien, quel hypocrite que monsieur mon frère !

Et doucement, de sa voix de confessionnal, il raconte à la vieille dame stupéfaite que Jean-de-Dieu, à son âge, fait des folies. Qu'il a des maîtresses !... – « Des maîtresses ! – Une surtout qui fera sa perte si on ne vient à son secours. C'est Adalgise, la danseuse, dont le portrait est là, l'inférieur portrait qui regarde. »

Mais la vieille dame s'est mise à rire :

– « Alors vous voulez que je conseille à Monsieur Jean-de-Dieu de fuir cette méchante femme ?

– Si vous obteniez cela, croyez que le ciel...

– Je le ferais certes volontiers, Monsieur l'abbé ; par malheur, c'est moi Adalgise. »

Et, malicieusement, esquissant une pirouette, elle ajouta :

– « Oui Adalgise, un peu changée. Pourtant rassurez-vous, monsieur l'abbé, il y a trente ans qu'Adalgise ne danse plus.

– Voilà Jean-de-Dieu qui rentre ; que lui dire ? » se demandait l'abbé.

Ayant réfléchi, il ne dit rien. Cet événement troublait par trop l'idée qu'on se fait des danseuses, là-bas, dans les montagnes du Vivarais ; et puis, voyez-vous d'ici ce bon abbé Lèbre irrité, jetant l'anathème sur une Salomé qui fait si bien les tisanes et sur une Reine de Saba qui porte si dignement les cheveux blancs ?

Arène, P. La danseuse [La ressource électronique] / P. Arène // Les Ogresses. – Paris : Bibliothèque-Charpentier, 1891. – P. 205–212. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81134f/f205.item>

Особенно одна, которая погубит его, если не прийти к нему на помощь. Это танцовщица Адальгиза, портрет которой висит здесь, адский портрет, смотрящий, как живой...

Но старая дама рассмеялась.

– Значит, вы желаете, чтобы я посоветовала г. Жану-де-Дье бежать от этой скверной женщины?

– Если вам удастся это, поверьте, что небо...

– Я охотно сделала бы это, г. аббат, но, к несчастью, Адальгиза – это я.

И, сделав пирует, она лукаво прибавила:

– Да, несколько изменившаяся Адальгиза. Но, успокойтесь, г. аббат: Адальгиза не танцует уже около тридцати лет.

– Вот Жан-де-Дье возвращается, – сказал себе аббат. – Что же я скажу ему?

Подумав, он ничего не сказал. Это преступление¹ слишком поколебало его представление о танцовщицах, составленное там, в Виварезских горах. Да и можете ли вы вообразить себе доброго аббата Лебра, проклиная Саломею, которая так хорошо prepares питье, или произносящим анафему против царицы Савской, которая с таким достоинством носит свои седые волосы?

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1904. № 134 (23 июня). С. 2. Перевод «М.Ш.»/

¹ Так в тексте. В оригинале – *событие*.

LA POUPEE

C'était, comme disent les honnêtes gens « une petite malheureuse ». Oh ! par simple manière de s'exprimer. Car Azélie, en fin de compte, ne se trouvait pas si malheureuse que cela.

D'abord depuis son changement d'état et de quartier, elle ne s'appelait plus Azélie : elle s'appelait Marthe, ce qui est autrement distingué. Et puis elle mangeait tous les jours, ce qui, dit-on, est fort agréable dans les premiers temps, lorsqu'on en a pas l'habitude.

Or, pendant des années Azélie, par nécessité plutôt que par goût, avait eu l'habitude contraire de ne pas manger ; de même aussi, hélas ! que d'emprisonner ses jolis pieds dignes de chausser la mule de Cendrillon dans d'horribles savates dont le seul souvenir lui faisait honte, et de laisser s'embroussailler au vent de la rue, sans que jamais un bout de ruban en relevât la naturelle beauté, ses cheveux courts et lourds, vivants, roulés comme des copeaux d'or.

Certes ! au point de vue de la saine morale, il aurait infiniment mieux valu qu'au lieu de quitter Belleville pour venir se perdre au quartier Latin, Azélie continuât à mourir de faim dans son taudis de la rue des Envierges, et à savourer chaque soir, après une journée d'inutiles courses, l'âpre joie d'être vertueuse en se fourrant seule entre deux draps raides et glacés comme deux feuilles de fer-blanc.

Azélie ne demandait pas mieux. Mais quoi ? pour mourir de faim vertueusement dans un taudis, encore faut-il avoir un taudis. Et Azélie n'en avait plus. Le montage des perles fausses qui, de temps en temps, lui faisait gagner quelques journées, ayant radicalement cessé au commencement de l'hiver, le propriétaire, après deux loyers non payés, l'avait expulsée au demi-terme.

Azélie songea d'abord à revenir chez son père, qui n'était pas précisément un méchant homme et ne la battait guère que lorsqu'il avait bu, c'est à dire tout au plus trois fois par semaine.

КУКЛА

(Пер. для «Сиб. Вестн.»)

Это была, как выражаются порядочные люди, «маленькая несчастливица». О, это только привычное выражение, потому что Азели вовсе не чувствовала себя такой уж несчастной! Во-первых, переменив свое положение и место жительства, она называлась уже не Азели, а Марта, что гораздо приличнее.

А потом она обедала каждый день, а это, говорят, очень приятно в первое время, пока не привыкнешь. Азели же много лет, не по охоте, а по необходимости, конечно, имела противоположную привычку не обедать, а также обувать свои хорошенькие ножки, достойные туфельки Сандрильоны, в ужасные башмаки, одного воспоминания о которых она стыдилась, и носить свои тяжелые, короткие золотистые волосы распущенными за неимением ленты, которой она могла бы подвязать их.

Конечно, с точки зрения морали, было бы неизмеримо лучше, если бы Азели, вместо того чтобы переселяться из Бельвиля в Латинский квартал, продолжала умирать с голоду в своей норе на улице Анвьерж и каждый вечер, после целого дня бесполезной беготни за работой, насыщалась бы суровым наслаждением созавать себя добродетельной, ложась в холодную постель. Азели удовольствовалась бы и этим, но и для того, чтобы добродетельно умереть с голоду в норе, все же нужно иметь эту нору, а ее у Азели больше не было, и домохозяин выгнал ее. Сначала Азели думала вернуться к своему отцу, который, собственно говоря, не был злым человеком и бил ее только выпивши, то есть не чаще трех раз в неделю. Но где его найти, этого доброго пьяницу? Он исчез и не подавал о себе вести уже много месяцев.

Вот тогда-то Азели и попала «по ту сторону Сены». Подруга, которая была немногим богаче ее и у которой она нашла приют,

Seulement où retrouver ce doux ivrogne ? Disparu, il n'avait plus donné de ses nouvelles depuis je ne sais combien de mois.

C'est alors qu'une diabolique providence, l'Enfer tout comme le Paradis a la sienne ! conduisit Azélie de « l'autre côté de l'eau ».

L'amie, pas beaucoup plus riche qu'elle, chez qui elle avait trouvé refuge, lui dit un beau jour : – « J'ai lu sur les murs que, du côté du boulevard d'Enfer, on demande des ouvrières gagnant peu pour travail facile. Il s'agirait, comme le jour de l'an approche, de mettre des marrons glacés en boîtes et en sacs. Nous pourrions toujours aller voir... »

Et, à pied, pour épargner la dernière pièce de dix sous qu'il leur restât, elles étaient allées voir boulevard d'Enfer, à l'adresse indiquée sur les murs. Il s'agissait bien réellement de mettre des marrons en boîtes et en sacs : malheureusement déjà toutes les places se trouvaient prises.

La nuit venait, le vent piquait, la neige tombait et recommencer le chemin leur semblait bien long maintenant, n'étant plus soutenues par l'espérance.

À l'entrée du pont Saint-Michel, devant la Seine aux eaux ternies où quelques glaçons se formaient, l'amie tout à coup s'écria :

– « Flûte ! il doit faire trop froid chez nous, ce n'est pas juste. Entrons dans une brasserie. Nous avons dix sous ; en buvant un bock à deux, nous pourrions donner deux sous au garçon, et il nous restera encore deux sous pour demain.

– Je n'ose pas trop, répondait Azélie, il y a peut-être des étudiants... »

Elles entrèrent néanmoins et ne sortirent que très tard à la fermeture.

Il y avait, en effet, des étudiants qui, paraît-il, furent aimables.

C'est à partir de ce soir-là qu'Azélie s'est appelée Marthe, son nom véritable ayant fait rire ; et qu'ingénument, en attendant mieux, sans remords ni honte mais aussi sans y mettre nul orgueil, elle exerce son état de « petite malheureuse » rue Champollion, jadis rue des Maçons-Sorbonne, alors que Racine l'habitait.

Maintenant Marthe a des souliers, de jolis souliers luisants et plats galamment découverts pour laisser voir le bas rayé de couleurs vives. Sous la robe ajustée, en étoffe molle, sa taille semble plus souple et son corsage mieux nourri. Les mains sont déjà presque blanches. Son visage a pâli un peu, tandis que ses lèvres s'empourpraient ; et, comme dilatés par une série d'étonnements joyeux, ses yeux restés naïfs chaque jour s'agrandissent.

сказала ей однажды: «Я прочитала в объявлениях, что около бульвара Анфер требуются работницы для легкой работы за небольшое вознаграждение: ввиду приближающегося Нового года требуется раскладывать засахаренные каштаны по мешкам и коробкам. Во всяком случае можно пойти туда разузнать». ... И они отправились по указанному в объявлениях адресу пешком, чтобы не тратить последней оставшейся у них монеты в десять су. Там, действительно, нужно было раскладывать каштаны по мешкам и коробкам, но, к сожалению, все места были уже заняты.

Наступила ночь, дул холодный ветер, падал снег, и им, потеряв надежду, трудно было возвращаться так далеко обратно. Дойдя до моста Сен Мишель, подруга вдруг воскликнула:

– Брр, как должно быть холодно у нас! Зайдем в брассери. У нас десять су; взяв один стакан вина на двух, мы можем дать два су гарсону, и у нас останется еще два су на завтра.

– Я боюсь, там, может быть, студенты...

Тем не менее они вошли и оставались там до закрытия. Там действительно были студенты, и притом очень любезные.

С этого времени Азели стала называться Мартой, потому что ее настоящее имя вызвало смех, и начала наивно, в ожидании лучшего, не чувствуя упреков совести и стыда, выполнять роль «маленькой несчастливцы». Теперь Марта носит красивые, блестящие туфли. В ловко сшитом платье ее фигура кажется более гибкой и грациозной. Руки побелели, лицо немного побледнело, зато губы стали ярче, а глаза, оставшиеся наивными, с каждым днем становятся больше, точно раскрываемые от радостного удивления.

В первый раз, когда Марта увидела себя в зеркале в таком виде, в маленькой шляпке на коротко стриженных волосах, она подумала, что видит кого-то другого, но, узнав себя через минуту, она сняла шляпу и почтительно раскланилась со своим изображением. С тех пор Марта постоянно раскланивается с самой собой, когда входит в кафе, причем ее хорошенькая головка легкомысленной девушки превращается на секунду в мальчишескую рожицу, и эта пантомима каждый раз производит фурор. Марта далеко не глупа, и в ней почти ничего не осталось от прежней Азели. Мало-помалу она шлифуется, становится изящнее, хотя

La première fois que, faite ainsi, Marthe s'est rencontrée dans une glace, avec ce tout petit chapeau, presque une casquette, posé sans épingle ni bride sur ses cheveux taillés courts, elle recula, croyant voir une autre personne, Puis, au bout d'un instant, s'étant reconnue, elle retira son chapeau et, respectueusement, se salua.

Depuis, toujours lorsqu'elle entre au café, Marthe se salue ainsi, changeant pour une seconde – ce qui rend la caissière rêveuse – sa jolie tête de jeunesse folle en frimousse de garçonnet ; et cette pantomime trouvée par elle a toujours le même succès.

Car Marthe n'est point sotte et ne garde presque plus rien d'Azélie.

Marthe peu à peu se façonne et s'affine. Elle ne parle pas encore, non certes ! la pure langue de Bossuet ; et souvent sa conversation se colore d'un mot, d'un geste évidemment descendus des Buttes. Mais tout cela si gentiment, avec tant de grâce souriante, que vous le jugeriez fait exprès en marquise qui voudrait rire.

Maintenant, Marthe ne se refuse rien.

Oh ! rassurez-vous ! d'ici à quelque temps du moins, ses folies ne ruineront personne.

Marthe n'a envie que de choses humbles, des choses qu'elle a si longtemps et si vainement désirées quand, toute petite et s'appelant Azélie, elle courait, ses pieds pis que nus, dans les ruisseaux.

Le goût des diamants lui viendra plus tard. Pour le quart d'heure, ce qu'elle aime, ce qu'elle achète éperdument pour s'en parer avec le candide orgueil d'une reine océanienne, ce sont les bracelets de clinquant, les broches enverroterie, les pendeloques sauvages, les colliers en perles soufflées, énormes et roses, qu'on vend au coin des portes sur des éventaires, ainsi que les rubans défraîchis et canailles qu'étalent par terre les camelots.

Son plaisir, dans la rue, est de se bourrer de galette et de chausson aux pommes. Heureux encore l'amant du jour, si, prise d'une rétrospective fringale et se rappelant les faims d'autrefois, elle n'exige pas qu'on lui achète, pour les croquer séance tenante, sans ombre de respect humain, un cornet de frites.

La vie de Marthe, depuis trois mois, est comme le rêve d'une enfance recommencée.

Aussi, figurez-vous : sa joie quand un ami, qui peut-être croyait railler, lui a offert pour ses étrennes une poupée.

– Une poupée avec de vrais cheveux, qui dit quelque chose et remue les yeux !...

в разговоре все еще употребляет чьи-то слова и жесты, очевидно, простоватого происхождения. Но все это у нее выходит так мило, что ее свободно можно принять за маркизу, вздумавшую просто позабавиться.

Теперь Марта ни в чем себе не отказывает. О, успокойтесь! Ее прихоти пока не разорительны. Марта жаждет только дешевых вещей, тех, которые ей так долго и так тщетно хотелось иметь, когда она была еще маленькой Азели. Любовь к бриллиантам придет позже, а пока что она любит и что покупает для украшений с наивной гордостью австралийской королевы, это стразовые брошки, ожерелья из искусственного жемчуга и прочая дребедень, которую продают на углах улиц на лотках.

Когда она выходит из дому, она объедается пирожными, и счастлив еще ее кавалер, если она требует, чтобы он купил мешок жареных каштанов, которые она тут же и съедает без церемонии. Вообще, последние три месяца Марта ведет жизнь счастливого ребенка, точно вернувшись в самом деле к детству.

Поэтому представьте себе ее радость, когда один из ее друзей, желающий, может быть, посмеяться над ней, подарил ей на новый год куклу с настоящими волосами, говорящую и двигающую глазами! Марта едва не расплакалась с радости, и с тех пор никогда не расставалась с куклой, чем иногда смешила знакомых. Она гуляла и спала с куклой.

Накануне нового года пред витриной с игрушками Марта увидела однажды маленькую девочку, так же бедно одетую, какою она была когда-то, и с восторженной улыбкой смотревшую на кукол, которые казались живыми при ярком свете солнца. На минуту Марта снова сделалась прежней Азели. Ей казалось, что она опять видит себя, когда она, дрожа от холода, убегала из дому в богатые кварталы, чтобы полюбоваться куклами, перед которыми простаивала целыми часами. Она вздохнула, не зная сама хорошенько, кого жалеть — эту девочку или прежнюю Азели: «Бедная, малютка!». И, уверенная, что она всегда может купить себе в магазине другую куклу, она неожиданно для себя самой, в сердечном порыве вложила в руки девочки свою красивую, одетую в шелк и бархат куклу.

Marthe en eût presque pleuré de joie.

Depuis, elle ne la quitte pas, ce qui, quelquefois, amuse les gens. Elle la promène partout et ne peut plus dormir sans elle.

Hier, devant une de ces vitrines de jouets qui se font plus tentantes aux approches du jour de l'an, Marthe aperçut une fillette, comme elle jadis déguenillée, et qui, retenant son haleine, souriante, presque en extase, regardait le monde des poupées qui, dans l'éblouissement du gaz, semblaient vivre.

Marthe pour un instant redevint Azélie. Elle crut se revoir quand, fuyant la maison et grelottant de tout son corps maigre, elle descendait dans les quartiers riches pour regarder des poupées ainsi, heureuse quoique sans espoir, pendant des heures et des heures.

Elle soupira : – « Pauvre petite !... » sans bien savoir si c'était la fillette ou elle-même, l'Azélie d'autrefois, qu'elle plaignait.

Et, sûre d'ailleurs d'en avoir une autre, puisque le magasin était là, brusquement, d'un élan de cœur, elle planta sa belle poupée, vêtue de soie et de brocard, entre les bras de l'enfant en guenilles.

Muette d'abord, hésitante, celle-ci contempla longuement la merveilleuse poupée qui semblait lui tomber du ciel ; puis, comme Marthe ajoutait : – « Tu peux la garder, elle est à toi !... » regardant Marthe à son tour, et s'apercevant qu'elle avait les mêmes grands yeux étonnés et ronds, le même teint blanc, les mêmes cheveux d'or que la poupée :

– « Maman ! maman ! s'écria-t-elle, viens-t'en donc voir la belle dame qui veut me donner son portrait. »

Arène, P. La poupée [La ressource électronique] / P. Arène // Les Ogresses. – Paris : Bibliothèque-Charpentier, 1891. – P. 117–123. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81134/f117.item>

Онемев сначала от изумления, сомневаясь в действительности своего счастья, девочка долго-долго смотрела на чудесную куклу, точно упавшую ей с неба. Потом, так как Марта сказала: «Ты можешь взять ее, она твоя!», взглянув на Марту и увидав, что у нее такие же большие, удивленные глаза, такое же белое лицо и золотистые волосы, как у куклы, она воскликнула:

– Мама, мама! Поди же сюда, посмотри на прекрасную даму, которая дарит мне свой портрет.

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1904. № 144 (6 июля). С. 3–4. Перевод «М.Ш.»)



Поль Бурже
(Paul Bourget, 1852–1935)

Поль Бурже (Paul Bourget, 1852–1935) – французский критик и романист, с 1894 г. член Французской академии. Получив философское образование, начал свою литературную деятельность как поэт, однако именно романы Бурже, большинство из которых были переведены на русский язык, сделали его имя широко известным. Наибольшим успехом во Франции и за её пределами пользовался тенденциозный роман писателя «Ученик» («Le Disciple», 1899). Новаторство Бурже заключалось в том, что в период господства натурализма во Франции он возродил жанр психологического романа. По выражению А.П. Чехова, Бурже возглавил «претенциозный поход против материалистического направления». Однако, занимаясь изощрённым психологическим разбором поступков аристократических персонажей своего литературного обихода, Бурже не давал им никакого общественного выхода, кроме христианства в готовой форме католической догмы. Начиная с 1901 г. Бурже окончательно перешёл на позиции католичества и клерикализма, что привело к стремительной потере его популярности у читателей.

Критика

Первая статья о Бурже, появившаяся в «Сибирском вестнике» 26 февраля 1888 г., представляет его как талантливого молодого французского критика и романиста. Томский рецензент, скрывший свое имя под псевдонимом «Фауст», знакомит читателей с ещё не появившемся в продаже сочинением Бурже «Очерки современной психологии» («Essais de psychologie contemporaine», 1883). Характеризуя личность писателя, томский журналист прибегает к цитате знаменитого французского крика Ж. Леметра, в которой он утверждает, что ум Бурже «является одною из самых богатых и самых выдающихся составных сил литературного и нравственного развития второй половины нашего века».

В статье от 4 ноября 1888 г. «Фауст» рекомендует обратиться к «Очеркам» Бурже тем читателям, которые стремятся найти ответы на метафизические вопросы о смысле бытия или желают лучше понять значение многих современных общественных явлений. Сочинение писателя критик характеризует как «хорошую книгу», полную «глубоких и примиряющих мыслей, высказанных языком вполне понятным».

21 апреля 1893 г. томский журналист, подписавшийся инициалами «К. В-ков», описывая творчество современных французских авторов, среди прочих обращается к личности Бурже, стоящего, по его мнению, во главе французского романа наряду с Э. Золя, А. Доде и Г. де Мопассаном. Журналист отмечает, что Бурже прославился двумя своими аналитическими произведениями, в которых показал себя замечательным психологом-моралистом – «Ученик» («Le disciple», 1889) и «Земля обетованная» («La Terre Promise», 1892).

Переводы

В 1893 г. в переводе П.Л. Черневича под заголовком «Женщина в сорок лет» выходит новелла Бурже «В сорок лет» («À quarante ans»). В 1896 г. в переводе неизвестного «А.М.» появляется новелла Бурже «Возраст любви» («L'Âge de l'Amour»). Обе новеллы входят в сборник писателя «Возобновление» («Recommencements», 1897). В 1898 г. некий «Ел.А.» переводит новеллу «Еще одна незнакомка» («Autre Inconnue») из сборника Бурже «Пастель (десять женских портретов)» («Pastels (dix portraits de femmes)» 1889), озаглавливая её «Незнакомая подруга». Все три новеллы объединены любовной тематикой и доказывают, насколько трудно женщине из высшего света обрести настоящую любовь.

Публикации

Критика

1. Фауст. Фельетон «Сибирского вестника» // Сибирский вестник. – 1888. № 25 (26 февраля). – С. 1–3.

2. Фауст. Фельетон «Сибирского вестника» // Сибирский вестник. – 1888. № 77 (4 ноября). – С. 1–3.

3. К. В-ков. Фельетон «Сибирского вестника» // Сибирский вестник. – 1893. – № 44 (21 апреля). – С. 2–3.

Переводы

1. Бурже П. Женщина в сорок лет / Чернч. [П.Л. Черневич] // Сибирский вестник. – 1893. – № 40 (11 апреля). – С. 2–3.

2. Бурже П. Возраст любви / А.М. // Сибирский вестник. – 1896. – № 233 (27 октября). – С. 2–3; № 234 (29 октября). – С. 2; № 236 (31 октября). – С. 2.

3. Бурже П. Незнакомая подруга / Ел.А. // Сибирский вестник. – 1898. – № 67 (25 марта). – С. 3.

AUTRE INCONNUE

Le dernier mot de ce petit roman, pressenti, deviné plutôt qu'observé, créé peut-être par ma fantaisie de songeur mélancolique, – le saurai-je jamais ? et que m'importe ! Il m'arrive pourtant d'y penser parfois plus qu'aux événements mêmes de ma propre vie, lorsque la saison est triste, comme maintenant, et lorsqu'il fait automne en nous et hors de nous, dans le ciel d'en haut et dans ce ciel intime de la rêverie qui a son azur, comme l'autre, et ses nuages... Je revois alors, aussi distinctement que si elle datait de la veille, la première des trois rencontres qui servirent de canevas à mon imagination... Je me rendais en Allemagne, où je devais entendre une suite d'opéras de Richard Wagner; le temps ne me pressait pas et j'avais décidé de faire mon excursion par petites journées. Ma première étape était Nancy. Je voulais y voir le tableau de Delacroix qui représente la mort du *Téméraire*. Le tableau fut vite vu et le musée ensuite, et je traversai la jolie place garnie de grilles en fer doré, avec ses palais, ses fontaines, sa statue, son silence heureux, afin d'entrer dans le vert jardin qui la termine et qui, par cette fin d'après-midi, faisait une oasis de fraîcheur délicieuse. Ce petit coin de parc était presque vide de promeneurs, mais quand une foule compacte se fût pressée sous les grands arbres et le long des vertes pelouses, je n'en aurais pas moins remarqué, je crois, les deux personnes dont je me souviens à l'heure présente avec l'intérêt poignant qui ne s'attache d'habitude qu'aux visages familiers. Ces deux visages, et l'un surtout, n'ont-ils point passé, repassé cent fois dans la familiarité de ma rêverie ?...

De ces deux personnes rencontrées dans une des allées de ce calme jardin, l'une était une femme et l'autre un jeune homme. La femme était brune, délicate et gracieuse, avec une de ces toilettes de voyage qui attestent au premier coup d'œil le rang social de celle qui possède ainsi le secret d'être jolie, même dans un miroir d'auberge, – quoiqu'en ait dit Alfred de Musset. Il y a un art de simplicité raffinée, qu'une grande dame saura seule pratiquer, tant qu'il y aura des bourgeoises et des grandes

НЕЗНАКОМАЯ ПОДРУГА (С французского)

Узнаю ли я когда-нибудь окончание этого маленького романа, интригу которого я более угадывал, чем наблюдал, и который, быть может, был только создан моей фантазией? А если не узнаю, пожалею ли я об этом? Но как бы то ни было, я часто думаю об этом романе более, чем о событиях моей собственной жизни, в особенности, когда погода пасмурна, как теперь, и когда на душе глубокая осень. В такие дни я вновь вспоминаю так же ясно, как если бы это происходило вчера, первую из трех встреч, давших повод к моим размышлениям. Я отправлялся в Германию, где собирался слушать серию вагнеровских опер. Я не торопился и решил ехать потихоньку. Первая моя остановка была в Нанси. Я хотел видеть там картину Делакруа, изображающую смерть Карла Смелого. Осмотрев музей, я пересек красивую площадь, украшенную железными вызолоченными решетками, с ее дворцами, фонтанами, статуями, ее счастливым спокойствием, и прошел в зеленый садик, который в этот прекрасный летний день представлял оазис чарующей прохлады. В этом маленьком уголке парка почти не было гуляющих, но, если бы даже громадная толпа теснилась под высокими деревьями и на зеленых лужайках, я тем не менее заметил бы те два лица, о которых я в данную минуту вспоминаю с тем глубоким, жгучим интересом, с которым вспоминаешь о близких и дорогих людях.

Из этих двух лиц, встреченных мною в одной из аллей тихого сада, одна была женщина, другой молодой человек. Женщина была брюнетка, изящная и грациозная; она была одета в один из тех дорожных костюмов, которые тотчас же, при первом взгляде, указывают на социальное положение обладательницы его. На ней был костюм из клетчатой атласной материи, с коротенькой кофточкой, и маленькая английская шляпа такого же цвета. Ее мужской воротник, длинный галстук, вышитые перчатки, узкие лакированные ботинки

dames, c'est-à-dire toujours. Celle-ci portait un costume d'une étoffe anglaise à carreaux, avec une sorte de petit veston qui dessinait à peine sa taille, et une toque de la même nuance posée sur la masse serrée de ses cheveux sombres. Son col droit, sa cravate longue, ses gants brodés, ses minces souliers vernis achevaient de lui donner une physionomie un peu masculine, qui lui seyait d'autant mieux, qu'il se dégageait un charme si féminin de ses yeux et de son sourire. Ah ! les beaux yeux et qui étaient à eux seuls le plus passionné, le plus mystérieux des romans ! Ce sont ces yeux de femme aimante qui me firent malgré moi suivre les deux promeneurs, ou plutôt la suivre. Ah ! les yeux vivants, et dont je ne me rappelle plus la couleur, je n'ai vu d'eux que leur regard ! Ils étaient noyés d'une félicité qui rayonnait sur tout le visage et finissait de se montrer par un sourire d'une divine douceur, par un abandonnement de tout son être dans sa démarche. Elle s'appuyait au bras de son compagnon, et on sentait que chaque mouvement qu'ils faisaient ensemble lui communiquait, à elle, une émotion tendre. Elle n'était plus une toute jeune femme, et, quoique sa beauté fût demeurée entière, l'expression seule de ses traits suffisait à montrer une différence de bien près de dix années entre elle et celui qu'elle semblait tant aimer, et il comptait déjà vingt-cinq ans. Il était lui-même charmant à regarder, mince, un peu pâli, et comme reconnaissant d'être aimé ainsi. Ses gestes se faisaient doux, ses yeux répondaient aux yeux, son sourire répondait au sourire de son amie. Ils marchaient, et je les suivais, cherchant à deviner quel rendez-vous de mystère les avait amenés dans ce jardin provincial. Ils appartenaient visiblement à un monde comblé, à une vie opulente et supérieure. Ils n'étaient pas mariés, la distance de leurs âges l'indiquait trop bien. Au timbre de sa voix, entendue par intervalles, je l'aurais prise volontiers pour une Anglaise, mais comment juger de la nationalité d'une femme de cet âge-là, lorsqu'elle fait partie de cette société européenne qui confond si bien les plus extrêmes différences de races ? Ils marchaient toujours, hâtant, retardant le pas, absorbés dans leur causerie et ne remarquant pas l'innocent espion qui les suivait, et qui marchait à leur suite, s'assimilant en pensée toute une existence de délices clandestines, enviant à ce jeune homme le sentiment qu'il inspirait, et plus encore à cette femme le sentiment qu'elle ressentait. — Qui n'a connu cette dernière envie-là, peut-être la seule qui soit tout à fait noble, celle d'une émotion si profonde qu'on se juge incapable de l'éprouver à ce degré ?...

Quatre années s'étaient écoulées depuis lors, quatre années durant lesquelles j'avais regardé bien des physionomies humaines et participé

придавали ей несколько мужской вид, тем более шедший к ней, что ее глаза и ее улыбка были так чарующе женственны. Ах, эти прекрасные глаза, которые сами по себе были самой страстной, самой таинственной повестью! Эти-то глаза любящей женщины и заставили меня, помимо моей воли, последовать за гуляющими или, скорее, за ней одной. Ах, эти ясные глаза, цвета которых я даже более не помню, — я видел лишь один их взгляд! Они полны были блаженства, озарявшего все ее прекрасное лицо и выражавшегося в ее божественной улыбке и в ее медленной, как бы усталой походке. Она опиралась на руку своего спутника, и чувствовалось, что каждое движение, которое они совершали, доставляло ей бесконечное наслаждение.

Она не была уже совсем молодой женщиной, и хотя красота ее не пострадала от времени, но одно уже выражение ее лица показывало разницу по крайней мере на десять лет между нею и тем, которого она, казалось, так беззаветно любила; ему же было около двадцати пяти лет. Он был строен, красив, немного бледен и как бы благодарен за то, что его так любят. Его движения были нежны, его глаза отвечали глазам его подруги, его улыбка была ответом на ее улыбку. Они шли, и я шел за ними, стараясь угадать, какое тайное свидание привело их в этот провинциальный сад. Они, по-видимому, принадлежали к высшему обществу, но не были мужем и женой, разница лет слишком ясно выдавала это.

Они все шли, то торопясь, то задерживая шаги, увлеченные разговором, и не замечая невинного шпиона, следовавшего за ними и завидовавшего этому юноше в том, что он сумел возбудить столь сильное чувство.

С тех пор прошло четыре года, в продолжение которых я видел много человеческих лиц и пережил горести и радости многих людей, весь отдавшись страстному любопытству, усиливающемуся с годами. В тот вечер я был в Париже, в одном из маленьких театров, и во время антрактов разглядывал залу в бинокль. Шло пятидесятое представление модной оперетки, и в зале, опустелой, так как это было лето, я не встретил ни одного знакомого лица. И вдруг мой взгляд упал на ложу бенуара, в которой находились мужчина и женщина, совершенно одни. Он — лет пятидесяти, полный, массивный, с грубыми чертами лица, — я его не знал. Но она? Где же я видел этот профиль, опирающийся теперь на натянутую в перчатку руку? Где я видел эти чудные глаза, эти темные волосы? Правда, волосы побеле-

à la vie intime de bien des âmes, en proie à cette étrange curiosité de la sensation d'autrui qui s'exalte avec le temps au lieu de s'apaiser. Ce soir-là je me trouvais à Paris, assis dans un des fauteuils d'orchestre d'un théâtre de genre, et, durant l'entr'acte, je fouillais la salle du bout de ma lorgnette. On donnait la cinquantième représentation d'une opérette en vogue, et je ne rencontrais pas, dans cette salle d'été, une seule figure de moi connue sur laquelle je pusse mettre un nom et un caractère... Et voici que ma lorgnette tomba sur une première loge dans laquelle se tenaient un homme et une femme, seuls, – l'homme âgé d'environ cinquante ans, lourd, massif et de face brutale, mais la femme ? Où donc avais-je vu ce profil qui s'appuyait maintenant sur une main gantée ? Où, ces beaux yeux ? Où, cette chevelure ? Mais la noire chevelure avait blanchi par touffes, mais une meurtrissure cernait les yeux, mais le noble profil gardait l'empreinte de soucis longuement supportés, et la bouche amère ne devait plus s'épanouir souvent dans un sourire de félicité, comme jadis, lorsque le vert jardin de la vieille ville laissait passer l'amoureuse et son aimé. Oui, c'était bien elle, et malgré le ravage des années, malgré l'expression de lassitude empreinte sur tous ses traits, je reconnus, sous le chapeau fermé, le visage de femme que j'avais suivi d'un si complaisant regard, sous la toque de voyage de la même nuance que sa robe.

Avec qui donc se trouvait-elle dans cette loge d'un petit théâtre où elle serait venue deux mois plus tôt si elle avait été une Parisienne ? Pas plus que je n'avais hésité l'autre fois à croire qu'elle se promenait au bras de son amant, je n'hésitai à croire cette fois qu'elle était auprès de son mari. J'examinai cet homme avec une curiosité singulière et sans ironie, – la sorte de comique propre à l'adultère m'ayant toujours échappé. – Si c'était sa femme, à coup sûr, c'était une femme dont la présence le laissait parfaitement calme et indifférent. Les deux coudes sur le rebord rouge de la loge, le torse moulé dans sa redingote, il lorgnait, lui aussi, la salle de temps à autre, formulait quelque observation, puis, penché en arrière, abandonné sur son fauteuil, il bâillait sans se donner la peine de mettre devant sa bouche sa large et forte main. Comme personne ne vint dans la loge pendant les entr'actes, j'en conclus davantage encore qu'ils étaient étrangers, et comme cette femme était si triste, comme elle semblait si lassée, si revenue de toute joie, elle que j'avais vue ravie et radieuse, je pensai involontairement au jeune homme qu'elle m'avait paru tant aimer. Où était-il ? Que faisait-il ? Était-il mort, absent, infidèle ? Y avait-il entre eux l'inévitable séparation du tombeau, ou bien celle de la volonté, plus cruellement inévitable ? Non, ce n'était pas elle qui l'avait quitté la pre-

ли прядями, темные круги оттеняли глаза; благородный профиль сохранил следы забот, перенесенных за долгое время, и рот, наверно, уже никогда не складывался в такую улыбку блаженства, как тогда, когда она проходила по зеленому саду старинного города под руку с тем, которого она так любила. Да, это была она, и, несмотря на годы, прошедшие с тех пор, несмотря на выражение утомления, написанного на всех ее чертах, я все-таки узнал то женское лицо, которое тогда так поразило меня...

С кем же была она в этой ложе маленького театра. Как я тогда не сомневался в том, что она гуляла под руку со своим любовником, так и тут я не сомневался, что на этот раз ее спутник – муж ее. Я разглядывал этого человека со странным, лишенным всякой иронии любопытством. Положив оба локтя на красный барьер ложи, одетый в черный сюртук, он также порой разглядывал залу через бинокль, делал какие-то замечания и затем зевал, развалился в кресле и не давая себе даже труда прикрыть рот широкою и загорелую рукою. Так как никто не входил в ложу во время антрактов, то это обстоятельство еще более убедило меня в том, что они были иностранцы. Так как эта женщина, которую несколько лет назад я видел такой счастливой и сияющей, казалась теперь такой утомленной, такой безучастной, то я невольно подумал о человеке, которого она, как мне тогда показалось, так горячо любила. Где он был? Что он делал? Умер ли он, уехал ли, изменил ли ей? Лежала ли между ними неизбежная разлука смерти или разлука самовольная, еще более жестокая, но столь же неизбежная. Нет, не она его бросила. Ее годы, к сожалению, не были уже из тех, в которые уходят первыми, да и душа ее была создана не для того. Ее глаза бесконечно бы лгали, если бы она была непостоянна и неверна. Я вновь стал вспоминать роман, который однажды набросала моя фантазия. Я дочитывал его последние главы, главы о разрыве, где все, что прежде радовало сердце, становится пыткой.

Три месяца тому назад я как-то прогуливался по палубе парохода, шедшего из Булони в Фолькетон. Море было дивно прекрасное, синее, спокойное, того синего цвета, который оно имеет в ясные дни. Я ехал в Англию, и эта пароходная палуба уже напоминала мне лондонские вокзалы, благодаря странностям туалетов и багровому цвету некоторых пассажиров. Сколько стаканов портеру пришлось выпить некоторым из подданных ее величества для того, чтобы приобрести такой пламенный цвет лица. Как раз около одного из этих господ

mière. Elle n'avait, hélas ! ni l'âge, ni surtout l'âme des abandons. Ses yeux mentaient merveilleusement si elle n'était pas constante et sûre, et je me pris à revenir sur le roman esquissé jadis par ma fantaisie. J'en arrivais aux derniers chapitres, ceux de la rupture, où tout ce qui fut la joie du cœur en devient le martyr. Je devinais cette période affreuse où la maîtresse espère tour à tour et désespère, où l'amant ne sait ni avouer ni cacher la métamorphose de sa tendresse. Benjamin Constant a fait *Adolphe* avec l'histoire d'une de ces agonies. L'Ellénore de son terrible roman a deux bonheurs dans son désespoir: elle est libre de se livrer à ce désespoir et elle peut en mourir, tandis que les Ellénore du monde continuent de vivre et doivent s'habiller, sortir, aller au bal, au théâtre, en visite, – avec leur démon dans le cœur !...

L'observation a ses heureux et ses mauvais hasards, – plus souvent d'heureux, car celui qui tient toujours ses yeux ouverts, recueille toutes sortes de détails invisibles à la plupart des passants de la vie, si pareils aux passants de la rue, par leur indifférence et leur incuriosité. En aurai-je, moi, perdu des heures, assis à une table de restaurant, enfoncé dans un coin de wagon, debout sur un trottoir de rue, partout enfin où l'animal humain se laisse voir, en aurai-je perdu des heures, à déchiffrer de mon mieux le caractère et la destinée de créatures dont je ne savais rien, sinon l'afflux de leur sang sur leurs joues, le pli de leurs lèvres dans le sourire et de leurs paupières dans le clignement, le son de leur voix, leur geste, leur costume ?... Perdu? Quelquefois oui, quelquefois non, et, à coup sûr, je fus inspiré de mon bon génie lorsque, voici trois mois, je me mis à me promener sur le paquebot qui va de Boulogne à Folkestone, au lieu de contempler la mer. Elle était pourtant d'un bleu divin, cette mer adoucie, de ce bleu sombre et tendre qu'elle a dans ses beaux jours, et qui contraste avec le bleu tendre aussi, mais tout clair, du ciel. J'allais en Angleterre, et déjà ce pont de bateau me procurait un avant-goût des gares de Londres, grâce à la singularité des toilettes, grâce au teint pourpré de quelques-uns d'entre les passagers. Par combien de verres de porto certains sujets de Sa Majesté Britannique ont-ils dû acquérir cette rouge ardeur de tout leur visage ? Ce fut justement à côté d'un de ces gentlemen qui ressemblent à la statue vivante et allante de l'apoplexie, que mon regard rencontra, – et du premier coup je le reconnus, – le jeune homme du parc de Nancy, l'ami ancien de la douloureuse étrangère aperçue au théâtre l'autre soir. Il avait à peine changé. Sa moustache s'était un peu épaissie. Il conservait la même élégance de manière et d'attitude, mais les yeux, les beaux yeux noyés de la promeneuse du jardin si vert, n'étaient plus là pour l'envelop-

я увидел и тотчас же узнал молодого человека из Нанси, бывшего друга грустной незнакомки, виденной мною в прошлый раз в театре. Он мало изменился. Его усы только как будто удлиннились. Он сохранил то же изящество манер и движений. Около него опять была женщина, молоденькая, белокурая, хорошенькая, но хорошенькая красотой молодости, сквозь которую уже проглядывала будущая сухость и угловатость черт. Ее глаза были голубые, но если голубые глаза – самые нежные, то они также самые холодные, а ее глаза были ледяные. Промелькнет ли когда в этих глазах искра истинного чувства? В данную минуту и глаза ее, и она сама казались равнодушными к молодому человеку, который, по-видимому, был сильно увлечен своей спутницей. Он разговаривал с нею, стараясь ей понравиться, а она еле отвечала ему. Была ли она его любовницей или женой? Я скорее предполагал последнее, судя по впечатлению полной порядочности, которое производила вся ее наружность и костюм, сшитый, очевидно, модным портным, но лишенный той индивидуальности, которую та, другая, выказывала в малейших движениях. И я стал думать о ней и старался подметить на лице неизвестного мне молодого человека грустный взгляд, сожаление или воспоминание. Я знал прекрасно, хотя не мог назвать ни его имени, ни родины, что он был некогда любим, а теперь нет. Но он, казалось, не помнил, что знал некогда лучшие часы. И в самом деле, если он любил этого холодного красивого ребенка, не был ли он более счастлив близ нее, чем подле той, которая больше любила его, чем он ее? И вот о ней-то я постоянно вспоминаю в эти как бы подернутые флером осенние дни умирающей природы. Ах, как желал бы я еще раз встретиться с ней и попросить ее довериться мне, и с каким благоговением выслушал бы я ее исповедь. Но я никогда не увижу ее, не услышу ее исповеди, и долго буду чувствовать себя неизвестным другом той, страдания которой я разгадал, неизвестный друг далекой, незнакомой подруги.

*(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1898. № 67 (25 марта).
С. 3. Перевод «Ел.А.»)*

per de leur caresse continue. Une femme se tenait pourtant auprès de lui, toute jeune, blonde et jolie, mais de cette joliesse qui résulte de l'âge et sous laquelle transparaît déjà la sécheresse future et la dureté du masque. Ses yeux étaient bleus, mais si les yeux bleus sont les plus tendres, ils sont aussi les plus froids, et les siens étaient glacés. L'ondée lumineuse de l'émotion intime passerait-elle jamais dans ces prunelles?... Pour l'instant, et ces yeux et la jeune femme demeuraient insensibles à l'attention du jeune homme, qui, visiblement, était très épris de sa compagne. Il lui parlait avec un souci de lui plaire qui la faisait se détourner à peine et répondre du bout de ses lèvres minces, destinées à être un jour des lèvres si sèches et si pincées. Était-elle sa maîtresse? Était-elle sa femme? Je penchai pour la dernière hypothèse, à cause de l'air de parfaite convenance qui se dégageait de toute sa personne, habillée évidemment par un couturier à la mode, mais sans ce rien de personnel que l'autre, la promeneuse de Nancy, possédait jusque dans ses moindres gestes. C'est d'elle, en effet, que je me souvenais, et j'épiais sur le visage du jeune homme inconnu un passage triste, un regret, une mélancolie. Je savais, moi, quoique je ne pusse dire ni son nom, ni son

À QUARANTE ANS

Nous avons passé cette après-midi, le romancier Julien Dorsenne et moi, chez l'un de nos amis communs que j'aurai assez désigné aux connaisseurs du Paris intellectuel, quand j'aurai dit que son cabinet de travail, une vaste pièce revêtue de livres, avec de hautes fenêtres sur des jardins, se transforme chaque dimanche en un salon, où ne viennent d'ailleurs que des hommes. C'est le dernier endroit, je crois bien, où l'on cause idées. Depuis plus de quatorze ans que j'y fréquente, j'ai entendu, dans ce décor presque abstrait, Tourgueniew parler de l'art du roman, avec sa belle figure large de bon géant russe; Ernest Renan expliquer l'art de l'histoire en secouant son énorme visage éclairé par deux yeux bleus si fins; notre cher maître Taine esquisser le plan de son livre sur la Volonté; tandis que d'autres fois, un général, fameux par sa bravoure, analysait le mécanisme de la guerre moderne; ou que notre premier historien diplomatique résumait, en quelques phrases, la crise actuelle de l'Europe. Si la démocratie continue de monter, comme il est trop probable, – ou mieux, de nous abaisser, – ce coin d'un vieil hôtel du faubourg Saint-Germain d'où l'on voit luire au soleil le dôme des Invalides, aura été un

nom, ni son histoire, ni même sa patrie, qu'il avait été aimé, qu'il ne l'était plus. Mais lui, ne semblait pas se douter qu'il eût connu des heures plus douces. Après tout, s'il aimait, comme il semblait le faire, cette froide et jolie enfant, n'était-il pas plus heureux près d'elle qu'il ne l'avait été près de l'autre, puisque de cette autre il était aimé plus qu'il ne l'aimait ?... Et c'est à cette dernière que je ne peux m'empêcher de songer toujours par ces après-midi voilées de la mort de l'année. Ah ! que je voudrais encore une fois me rencontrer sur son passage et recevoir d'elle une confidence qu'elle n'a jamais pu faire, sans doute, et que j'accueillerais avec une émotion si douce, avec une pitié presque religieuse ! Mais cette confidence, je ne l'aurai pas, et je continuerai longtemps à me sentir l'ami inconnu d'une douleur que j'aurais comprise, consolée peut-être, l'ami inconnu d'une amie inconnue et qui l'ignorera toujours.

Bourget, P. Autre Inconnue [La ressource électronique] / P. Bourget // Pastels (dix portraits de femmes). – Paris : Alphonse Lemerre, 1889. – P. 319–330. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k68677c/f325.image>

ЖЕНЩИНА В СОРОК ЛЕТ

Как-то раз, после обеда, я и романист Жюльен Дорзенн встретились в рабочем кабинете нашего общего старого друга. Каждое воскресенье его уютный кабинет, сплошь заваленный книгами, с высокими окнами, выходящими в сад, превращался в маленький салон, где собирались одни лишь мужчины. Здесь в продолжение четырнадцати лет часто слушал я Тургенева, красноречиво развивавшего свои взгляды на роман, восхищался Ренаном и его великими мыслями об истории, заслушивался Тэна, дававшего легкие эскизы из своего сочинения о воле, и не раз даже сам, лично, принимал участие в рассуждениях по разным вопросам из области философии, политики, эстетики и т.д. Надо сказать, что эстетические вопросы, и психологические в особенности, часто разбирались в нашем обществе в том случае, когда слабое здоровье не удерживало дома поэта нашего кружка; беседа наша блистала тогда остроумием, оригинальностью и поэтическими формами. В день, о котором я говорю, наш любимый поэт тоже неожиданно явился и положительно всех нас очаровал своими оригинальными и блестящими мыслями. Помню я,

des derniers asiles de la dernière aristocratie : celle de la culture. Mais le maître du lieu n'offre-t-il pas un exemplaire accompli de la noblesse intellectuelle, lui qui est tout ensemble un grand érudit et un grand lettré, après avoir été, à ses heures, un voyageur et un mondain ? Le Monde, qui détruit les hommes de pensée quand il les absorbe, leur donne en revanche, lorsqu'ils ont su y passer, puis s'en passer, une liberté supérieure de jugement, et comme une élégance aisée de leurs facultés. C'est pour cela, sans doute, que la conversation, dans le rare cénacle dont je parle, déborde sans cesse la spécialité professionnelle. Les questions de sentiment y alternent de la manière la plus naturelle avec les questions d'esthétique et de science, de philosophie et de politique, surtout quand une santé trop délicate permet à l'exquis artiste, qui est le poète de ce groupe, d'assister à quelque-une de ces réunions. Il était justement venu ce dimanche-là, un des premiers du mois de mai 1887, et il nous avait enchantés en parlant, comme il parle, de sa voix où tremble comme un écho de la musique étouffée de ses vers. Une théorie, en apparence étrangère à toute application sentimentale, celle d'une école nouvelle sur l'emploi de la comparaison dans la poésie, lui avait servi de prétexte à vanter la divination merveilleuse des vieux Aèdes. Il avait soutenu cette thèse, que les plus subtiles nuances de l'Ame moderne peuvent s'exprimer avec les mêmes images qui ont servi à ces poètes antiques à traduire l'Ame primitive, tant ils ont su saisir et fixer les rapports éternellement vrais du cœur humain et de la nature.

– « ... N'y a-t-il pas, » disait-il, « bien autre chose, par exemple, qu'une analogie arbitraire ec littéraire dans cette intuition par laquelle ces premiers poètes ont tout de suite associé les âges de l'année aux saisons de la vie ? Ne semblent-ils pas avoir deviné d'instinct le mot subtil : le paysage est un état de l'âme ?... Encore aujourd'hui, imaginez-vous d'autres harmonies que celles qu'ils ont célébrées ? Celui qui aime une jeune fille rêve-t-il, autour de ce frais visage, un autre horizon que cet horizon de printemps évoqué par Virgile autour de ses Lycoris et de ses Amaryllis, – Nunc formosissimus annus... C'est maintenant que l'année est en beauté... Et celui qui sent vieillir un être qui lui fut cher, l'homme qui éprouve auprès d'une femme de quarante ans un de ces attendrissements douloureux où la pitié se mélange à la volupté, celui-là n'évoque-t-il pas nécessairement autour de cette beauté finissante les mélancolies de l'année finissante aussi : les ramures jaunies, le vaste silence des bois touchés par l'automne, les agonies du soleil derrière des taillis à demi dénudés ? Pourquoi, sinon pour le même motif qui faisait

речь зашла об употреблении сравнений в поэзии. Он развивал ту мысль, что самые нежные оттенки души современного человека могут быть выражены теми же образами, какими для этой цели пользовались поэты древности; настолько последние верно схватили и выразили отношение между сердцем человеческим и природою.

– Разве в выражении древних поэтов, – продолжал он, – где они сравнивают времена года с возрастом человека, одна лишь только произвольная и случайная аналогия? Не кажется ли нам, что они инстинктивно предвосхитили великолепное выражение одного из лучших наших стилистов, что «пейзаж – это настроение души»? И на самом деле, тот, кто любит молодую девушку, разве не грезит о чудном весеннем пейзаже?

А тому, кто видит, как на глазах его стареет дорогое ему существо, мужчине, который испытывает подле сорокалетней женщины тысячи полных боли волнений, где жалость смешана со страстью, не чудится разве вокруг этой увядающей красоты другая столь же грустная картина: пожелтевшие ветви, тишина лесов, тронутых рукою осени и агония солнца за полуобнаженной рощей? На него действует тот же мотив, под влиянием которого Симонид сказал, что людские поколения похожи на листья деревьев... Вы не измените все это, как не измените таинственное отношение, которое связывает расцвет тридцатилетней жизни с летом и холодную ясность старости с зимою. Если вы имели счастье, будучи ребенком, подложить свою кудрявую головку под морщинистую руку бабушки, то не в зимний ли ясный день всякий раз вызываете вы перед собою эту картину? Так же образ любимой вами тридцатилетней женщины не встает ли перед вами в жаркий полдень июньских или июльских дней?..

– Я его не перебивал, – сказал Дорзенн, когда мы очутились одни на тротуаре, несколько минут спустя после чудной тирады нашего друга, всю прелесть которой я едва ли в силах передать. – Да! Я его не перебивал, – повторил он, – хотя, слушая его, я тихо повторял про себя не совсем поэтический, но полный правды стих одного поэта:

Чье ты, сердце? Из чего ты, сердце?

Я не знаю, быть может, мое сердце сделано из другого материала, чем сердца прочих людей, но я знаю одно лишь очень хорошо, что я испытал нечто совсем противоположное тому, что высказал наш друг по поводу возраста и времен года.

– Почему же раньше не вставил ты своего замечания? Быть может, он тебе кое-что возразил бы, – заметил я Дорзенну. По правде

dire à Simonide après Homère, queles générations humaines ressemblent au feuillage des arbres ?... Vous ne changerez pas plus cela que vous ne changerez le mystérieux rapport qui unit à l'été la trentième année avec ses maturités épanouies, au froid hiver la sérénité glacée de la vieillesse. Si vous avez eu le bonheur, petit enfant, d'avoir une aïeule sous la main de laquelle poser votre tête bouclée, n'est-ce pas dans un jour clair de janvier que vous l'évoquez toujours, et la maîtresse de trente ans qui vous a paru la plus belle, par une après- midi du mois de juin ou de juillet lumineuse comme le plein et chaud souvenir que vous gardez d'elle ?... »

– « Je l'ai laissé parler, » me dit Dorsenne, lorsque nous nous retrouvâmes seuls sur le trottoir de la rue, quelques minutes après avoir écouté ce couplet dont j'ai très imparfaitement rendu la grâce et la tendresse. « Oui, je l'ai laissé parler, » répéta-t-il, « et en l'entendant, je me récitais tout bas ce vers peu poétique, mais singulièrement vrai, d'un de ses prédécesseurs : « Le cœur humain de qui ? Le cœur humain de quoi ? »

Mon cœur, à moi, est-il fait à rebours de celui des autres ? Ce que je sais bien c'est que j'ai précisément éprouvé, depuis que je me connais, des impressions contraires à celles que notre ami nous a développées sur ce qu'il appelle les âges de l'année et les saisons de la nature. »

– « Pourquoi ne t'es-tu pas amusé à sortir ton objection tout à l'heure ?... Ça l'aurait fait te répondre... » lui demandai-je. Ce silence de Julien était assez étonnant, en effet. Il aimait à paradoxa en ces temps-là, avec délices. Il n'avait pas encore traversé le drame cruel que j'ai raconté ailleurs (voir *Cosmopolis*), et qui semble avoir à jamais éteint chez lui le feu follet de la fantaisie, cette flamme de fièvre légère dont il se grisait. Mon Dieu ! est-elle loin déjà, quoiqu'elle soit tout près, cette fin d'une tiède après-midi parisienne ! Sont-elles loin nos paroles d'alors, et mes questions, juste assez pour faire causer mon camarade, et ses réponses m'évoquaient, ligne à ligne, un gracieux fantôme de femme, comme il en avait beaucoup dans son souvenir, cet étrange garçon, ce frôleur d'âmes qui aura tant aimé à sentir sentir. Et nous allions, gagnant un hôtel moderne de la plaine Monceau, où nous étions priés à un thé, parmi des bibelots, des fanfreluches anglaises et des propos de cinq heures. Dorsenne raffolait de ces sautes subites. N'est-ce pas lui qui m'emmena un jour rendre visite au philosophe Adrien Sixte dans le hansome de Casai ?

– « Non, » répliqua-t-il, « je ne pouvais pas citer mon texte, comme on dit volontiers dans la maison d'où nous sortons. Il y avait une anecdote

сказать, я удивлялся, что Дорзенн в этот день молчал, в это время он всегда парадоксировал с таким увлечением и не прошел еще через ту суровую драму, которую я недавно рассказал в Космополисе, драму, что навеки потушила в нем игривый огонь фантазии и то пламя легкой лихорадки, которым он всегда упивался.

– Нет! – ответил он, – я не мог свободно говорить у моего друга, так как позади моей теории кроется история, к несчастью, слишком свежая. Но и не будь этой истории, если мы возьмем один только определенный возраст и одно лишь только время года, например, возраст в сорок лет и осень, то весьма вероятно, что некоторое ослабление любви и юности и на самом деле больше всего соответствует увяданию всего окружающего. Но что, если мы возьмем другие?..

Разве сорокалетняя женщина, которая еще в силах испытать и внушить любовь, не чувствует инстинктивного отвращения к меланхолии, что могла бы обнаружить все истинно в ней осеннее, слишком напоминающее увядающие листья, подернутое тучами небо или солнце, становящее с каждым днем все более и более холодным? Напротив, ей нужно все, что только может приблизить того, кто ее любит. Ей нужна весна, одна из тех весен, которые для нее уж сочтены, так как в прошествии их вся магическая сила ее вдруг исчезнет, и мужчина будет любить ее с болью, если он романтичен, или только по привычке, если он не таков. А между тем в восхитительные апрельские дни ее милый и она чувствуют так сильно течение жизни, чувствуют его, упиваясь уходящей жизнью. Это время – возрождение красоты для нее и любви для него с последним усилием не потерять ни капли из этой драгоценной чаши, что протянута им в последний раз.

– Может быть, ты и прав, – отвечал я ему, – я познакомился как-то с прелестной женщиной, которую встретил однажды в один из последних ясных апрельских дней в темной аллее парка. Я ей поклонился, и мы начали разговаривать. Ей было сорок два или сорок три года, а между тем она была божественно прекрасна. В этот день она снова возродилась и с чудесной прежней улыбкой на устах и в глазах тихо заметила мне: «О, как бы я хотела бежать и покрепче привязать все листья к веткам, чтобы они не отпадали так быстро» ...

– Вот видишь, она думала так же, как и я, – возразил Дорзенн, – а если б ты ее любил, то был бы заодно с нами. Но я перехожу к своей истории. Говорил ли я когда-нибудь тебе кое-что о моей страсти к одной итальянке, в которую я был безумно влюблен в двадцать

derrière la théorie et une anecdote trop récente... Mais sans anecdote, pense à un seul de ces âges et à une seule de ces saisons : la quarantième année et l'automne. Il est possible que certains déclin d'amour et de jeunesse s'accordent mieux à la langueur de toutes choses. Mais pour d'autres ?... Est-ce qu'une femme de quarante ans, qui peut encore éprouver et inspirer l'amour, n'aura pas d'instinct l'horreur d'un décor de mélancolie ? Ne tremblera-t-elle pas qu'il ne fasse trop bien ressortir ce qu'il y a d'automne justement en elle, de trop pareil aux feuilles qui tombent, au ciel qui se voile, au soleil qui se glace ? Ce qu'il lui faut, ce que lui souhaitera celui qui l'aime, n'est-ce pas au contraire la fête du printemps autour d'elle, – d'un de ces printemps qui leur sont comptés, à elle parce que dans deux, dans trois, dans quatre, dans cinq, elle aura perdu ce reste magique de son charme, à lui parce qu'il ne pourra plus alors l'aimer que dans la douleur, s'il est romanesque, ou, s'il ne l'est pas, dans l'habitude, misère pire ! Et, dans cette grâce enivrante d'avril, tous deux sentent trop bien la fuite de la vie, – mais ils la sentent en se grisant de cette vie qui passe. C'est un renouveau de beauté pour elle et d'amour pour lui, avec un effort pour ne pas perdre une goutte de cette coupe de jeunesse qui leur est tendue une fois encore... »

– « Tu peux avoir raison, » lui répondis-je, « j'ai connu une charmante femme de cet âge que je rencontrai un jour, marchant par une radieuse journée de début d'avril dans une des allées du Bois. Je la saluai et nous causâmes. Elle avait près de quarante-deux ou trois ans, et elle avait été divinement jolie. Elle l'était redevenue ce jour-là, et elle me disait avec un sourire où sa grâce d'antan lui souriait sur les lèvres et dans les yeux : « Je voudrais courir, courir, et nouer d'un lien toutes les feuilles de tous les arbres pour les empêcher de pousser si vite... »

– « Tu vois. Elle pensait comme moi, » reprit Dorsenne, « et si tu l'avais aimée, tu aurais pensé de même. – Mais j'arrive à mon anecdote. – T'ai-je parlé autrefois d'une Italienne dont j'ai été si passionnément amoureux à vingt-quatre ans ? Cela date déjà... Une comtesse Andryana... ? Jamais. Alors, je ne dirai pas comment elle s'appelait de son autre nom, celui de son mari et de ses deux enfants, quoique la confidence que j'ai à te faire ne soit pas de celles qui compromettent beaucoup une famille... Mais est-il admirable, ce prénom Vénitien ? Ma comtesse – je l'appelle ma, quoiqu'elle n'ait jamais rien été pour moi qu'une amie – n'était cependant pas Vénitienne. Sa mère l'était, je crois, ou sa grand-mère. Elle était, elle, d'une petite ville du nord de la Lombardie, Bergame ou Brescia, je ne sais plus. Son mari était un Pisan, dont le nom

четыре года? Про маркизу Андриану? Нет? В таком случае, я не назову тебе второго ее имени, имени ее мужа и детей, хотя мое признание и не из тех, которые могут кого-либо компрометировать. Как прекрасно звучит одно это ее венецианское имя! Моя маркиза, – я ее называю моей, хотя никогда она не была для меня никем иным, как только другом, – не была между тем венецианкой. Она родилась в каком-то маленьком городке Ломбардии. Муж ее был кровный пизанец и назывался именем, которое если тебе угодно, упоминается даже в «Божественной комедии». Этот потомок современников Данте исправлял должность секретаря при королевском посольстве во французской республике, и я думаю, что он столь же мало думал о своих предках, как о своей жене, так как это был самый неутомимый и бесстрашный игрок в баккара. Маркиза же была одной из самых восхитительных женщин, каких мне до сих пор не доводилось даже встречать. Впрочем, ты сам, быть может, знаешь эти чудные головки, какие можно видеть только у миланок. Понятно, что это прелестное создание, связанное с мужем – грубым животным, должно было вселять волшебные мечты во многих молодых людей. Мне говорили, что она недоступна и чиста, но этому я не верил и со всем пылом, полный надежды, отдался страстному влечению, которое я почувствовал к ней, лишь только ее узнал. Вскоре мои надежды обратились в уверенность в победе, а мое увлечение в глубокую страсть, когда простой случай свел нас в Турине, у одной из общих наших подруг... Но все кончилось тем, что я преподнес ей самое пылкое признание и наткнулся на простое предложение дружбы с ее стороны. Теперь я знаю, что я тогда очень ей нравился. Тогда она любила, когда за ней ухаживали, потому что была кокетка, но не хотела отдаться, так как была честна. Должен ли я ко всему этому прибавить, что, полный молодого самолюбия, я рассердился, и мы расстались, как будто поссорившись.

До сих пор моя история была столь же мало оригинальна, как и все ближайшие, наступившие вслед за тем события. Муж маркизы получил вскоре место министра и полгода спустя умер, оставив жене значительное состояние. Она же преспокойно переселилась в Пизу для воспитания своих дочерей, как будто до сих пор не была царицей моды в Лондоне и Петербурге. Не правда ли, такое отречение от всего – это героизм?

– Это еще вопрос, – возразил я. – Когда женщина не имеет какой-либо любовной интриги, которая удовлетворила бы ее тщесла-

figure dans la Divine Comédie, s'il te plaît. Mais le descendant de ce contemporain de Dante exerçait la fonction peu tragique de secrétaire à l'ambassade près la République Française. J'ai quelque idée qu'il se souciait de sa femme à peu près autant que de ses ancêtres Dantesques. C'était le joueur de baccarat le plus infatigable et le plus intrépide que j'aie connu, moi qui ai tant fréquenté Lautrec et Casai, et la comtesse, elle, était le plus délicieux des Luinis vivants que j'aie vus aller et venir, parler et sourire. Tu les connais, ces têtes comme on en voit encore dans le Milanais : le front un peu large sous des cheveux un peu ondes, des paupières un peu renflées, le nez coupé droit, une bouche sinueuse avec un sourire qui flotte dans le pli des joues un peu creuses, un ovale fin qu'achève un menton volontaire, et des yeux bruns dans un teint de blonde, des yeux où il y a du velours et du mystère, une caresse presque physique de regard sur votre regard, et un sortilège d'énigme pour votre pensée ?... Tu comprends qu'une telle créature acoquinée à un tel mari – était-il commun, l'animai ! – avait dû faire rêver bien des jeunes gens. On m'avait dit qu'elle était honnête. Je ne le crus pas, et je m'abandonnai au goût qu'elle m'inspira dès que je la connus, avec toutes les espérances de succès. Ces espérances se changèrent en quasi-certitude et ce goût en une véritable passion, quand, cette année-là, un hasard nous fit nous rencontrer dans le château d'une commune et complaisante amie, en Touraine... Bref, j'aventurai auprès d'elle la déclaration la plus en règle dont je me sois jamais rendu coupable, pour échouer devant l'offre d'amitié la plus finement opposée à ma fougue, la plus sincèrement aussi. Je sais aujourd'hui que je lui ai beaucoup plu alors. Elle s'était laissé courtiser parce qu'elle était coquette. Elle ne voulait pas se donner parce qu'elle était pieuse, voire dévote. La réunion de ces deux contrastes est moins rare qu'on ne croit, même ailleurs que chez nos légères Françaises. Ai-je besoin d'ajouter qu'avec l'amour-propre de mes vingt-cinq ans, je me fâchai tout rouge ? Nous nous quittâmes tout à fait brouillés... Jusqu'ici mon histoire n'a rien de très original, et rien d'original non plus les événements qui suivirent, presque aussitôt, ce séjour en Touraine. Son mari fut envoyé comme ministre dans un autre poste, et six mois après il mourut. Leur fortune était probablement très hypothéquée, car sa veuve dut se retirer à Pise avec ses deux filles, aussi bourgeoisement que si elle n'eût pas été une des reines de l'élégance à Londres, à Vienne et à Pétersbourg... Entre parenthèses, en pleine splendeur de beauté, une abdication pareille, quand elle est acceptée, ressemble de bien près à un héroïsme, ne penses-tu pas ?...

вие, жизнь ее является только простым развлечением и похожа на жизнь офицера великой армии. Одна из таких барынь, имени которой я не назову, однажды, поверишь ли, сказала мне: «Я знаю одну лишь только счастливую минуту, – это когда я ложусь спать. Тогда я с любовью поглядываю на свою кровать и говорю: вот единственный мой друг!».

– Маркиза Андриана не такая! – отвечал Дорзенн. – Она из тех физиологически сильных натур, на которых обеды, театры, балы и ужины не производят никакого заметного действия, с которых они соскальзывают как вода с мрамора, ни на минуту не нарушая их могучей жизненности. Но я возвращаюсь к своему рассказу. Итак, мы расстались в ссоре, но как опять сошлись, думаю, что тебе это не очень понравится. Мы начали свои отношения через письма – через одну мою книгу. По поводу выхода в свет какого-то моего сочинения она прислала мне длинное письмо, написанное с таким чувством, умом и душою, что я счел своей обязанностью ей ответить, и между нами завязалась правильная корреспонденция, затянувшаяся и на следующие годы. В нашу переписку не вкрался между тем ни один намек на мою былую страсть. А эта страсть, как и многие другие, оставила волшебный след в моей сентиментальной памяти, но я, боясь прикоснуться к нему, отсрочивал с года на год свидание со своей милой. Для меня же, с моими бродяжническими наклонностями, путешествие в Пизу – это такая же безделица, как для тебя, например, переезд из Парижа в Версаль; но я между тем только недавно решился поехать туда...

– А, понимаю, ты выбрал, должно быть, для этого месяц апрель, чтобы испытать и вместе с тем проверить теорию относительно сорокалетнего возраста и осени? – сказал я не без иронии. – Как счастлив тот, кто со своим сердцем обращается, как с ретортой!

– Ты ошибаешься, – ответил он серьезно. – Я об этом тогда вовсе не думал. Отправляясь в свое путешествие по Италии, я написал к ней письмо, извещаю о своем скором приезде, и с просьбою назначить для моего визита послеобеденный час меланхолического осеннего дня. Я стал готовиться к этому грустному путешествию, полному воспоминаний, которых я должен был бы избегать, а не искать. Но ведь сердце, чтобы чувствовать, должно страдать...

Красавицу, которую я когда-то боготворил, я должен был найти поблекшей, полуразвалившейся в городе, что кажется теперь призраком минувшего величия и славы, во время, когда тяжелое впечат-

– « C’est une question, » interrompis-je. « Quand une femme à la mode n’a pas quelque intrigue d’amour qui étoffe d’émotion les corvées de la vanité, sa vie me paraît valoir en agrément celle des officiers de la Grande Armée. L’une d’elles – que tu serais étonné si je te la nommais ! – me disait un jour : « Je n’ai qu’un bon moment. C’est quand je vais me coucher » et dormir. Il m’arrive alors de regarder mon « lit et de lui dire : Ah ! mon seul, mon seul « ami!... »

– « Ma comtesse Andryana n’était pas de cette race, » reprit Dorsenne; « elle avait, sous des formes frêles, une des physiologies athlétiques sur qui les dîners en ville quotidiens, les parties de théâtre, les bals, les soupers glissent comme de l’eau sur du marbre, sans en altérer une seconde la puissante vitalité... Mais je reprends mon récit. Nous nous étions donc quittés brouillés, et ce qui ne te plaira pas trop, c’est la manière dont nous rentrâmes en relations. Par lettres et à propos d’un de mes livres ! Elle m’envoya à cette occasion une dizaine de pages si joliment pensées, si profondément empreintes de ce doux et subtil esprit féminin qui repose tant des critiques professionnelles et de leur brutalité ; je lui répondis, et une correspondance s’installa entre nous, échelonnée de livre en livre et de jour de l’an en jour de l’an, sans qu’il s’y glissât jamais une allusion à ce qui avait été ma plus folle crise de passion peut-être, une de ces passions de jeunesse aussi ardentes que courtes. Elles font tout de même le vrai trésor de notre mémoire sentimentale, et c’est pour ne pas toucher à ce trésor que j’avais, malgré cette correspondance, reculé d’année en année de la revoir. Pour un vagabond de mon espèce, un voyage à Pise, c’est à peu près comme pour toi une visite à Versailles. Je n’y suis pas allé cependant jusqu’au mois dernier. Tu vois comme c’est récent? J’avais cette idée pour me barrer la route : qui sait comment je la retrouverai ?... »

– « Je comprends, tu as choisi le mois d’avril pour tenter ton expérience et vérifier ta théorie sur la quarantième année et le printemps ?... » dis-je, non sans ironie. « Que l’on est heureux de traiter ainsi son cœur, comme une cornue devant laquelle on se met en observation ! »

– « Tu te trompes, » répondit-il sérieusement. « L’idée n’est pas de moi. J’avais si peu ma théorie à cette époque, qu’en novembre dernier, partant pour un tour d’Italie, je lui écris pour lui annoncer enfin ma visite avec l’intention de demander à ce séjour d’une après-midi dans la morne Pise, précisément le petit frisson de mélancolie automnale, cher à notre poète de tout à l’heure. Je me préparais à un de ces gratuits

ление должно было стать раздирающим душу: осень женщины, осень природы, осень сердца! Ты видишь, здесь целая гамма!.. Но вдруг получаю от нее несколько писем подряд, в которых она просит меня не посещать ее теперь, а отложить свой визит до обратной поездки во Францию, другими словами, до весны. На это она прибавила в конце, что имеет свои причины, которые мне выскажет потом. Сначала я рассердился. Зачем эта игра в прятки. Я надеялся, что буду более желанным гостем. Потом, я не знал, как объяснить это противоречие. Не тем ли, например, что в данную минуту находится в Пизе лицо, которое она желает от меня спрятать, какой-нибудь пошлый любовник, взятый от скуки, которого она теперь стыдится!.. Но мой принцип – всегда повиноваться желаниям женщины, по той простой причине, что если она хочет обмануть, то всегда успеет это сделать; поэтому лучше быть обманутым наиболее приятным образом, так, как ей хочется. Как бы то ни было, поблуждав по Италии, в один чудный весенний день я очутился перед палаццо маркизы Андрианы. Сердце мое сильно билось. С волнением глядел я на протекающую вблизи реку, думая, как постарела, как изменилась та, которая в продолжение десятка лет смотрела на игравшие на солнце волны так же, как и я теперь. Наконец я решился позвонить.

Я подаю свою карточку; меня вводят, но не в дом, а в сад, и не в сад, а, скорее, в целое царство цветов. Масса белых и голубых ирисов, нарциссов, кругом деревья в цвету и прекрасно распустившиеся розы вокруг темных кипарисов!..

Здесь, среди чудной зелени, тысячи цветов, опьяняющего аромата и пения птичек, в этом волшебном саду с колоннадами, вазами и статуями я замечаю вдруг Андриану, столь же прекрасную, как и прежде. Она приближалась ко мне вся озлащенная лучами солнца, как будто в ореоле. В потоках света, окружавшего ее, утонули бесследно все следы, которые могло оставить на ней время. Возрождение природы словно повлияло и на нее, на ее улыбку, на ее прекрасные глаза – все с тою же поволокою, все с той же тайною.

Она была столь похожа на себя прежнюю, что через полчаса я сделался снова сумасшедшим, каким был десять лет тому назад, и уже готовился повторить свое признание, как вдруг с улыбкой она сказала мне: «Вы ничего не знаете? Вот уже два месяца, как я называюсь бабушкой» ...

pèlerinages d'horrible tristesse que l'on devrait fuir et que l'on recherche, comme si notre âme avait besoin de souffrir pour sentir. Cette beauté que j'avais connue, idolâtrée magnifique, j'allais la revoir ruinée dans cette ville, elle-même un fantôme de ville, le spectre de sa gloire d'autrefois et dans la saison la plus faite pour accroître encore cette navrante impression... Automne de femme, automne de ville, automne d'année, automne de cœur, – la gamme entière y était, comme tu vois... Et ce fut elle qui me répondit, courrier par courrier, pour me prier de ne pas venir en novembre, mais seulement à mon retour, quand je rentrerais en France, vers le printemps. Elle ajoutait qu'elle avait pour m'imposer cette petite interversion de ma visite une raison quelle me dirait. J'eus un mouvement de mauvaise humeur, pourquoi te le cacher ? en recevant cette réponse. Je me croyais plus désiré, d'une part, et de l'autre je ne pouvais guère expliquer ce contre-ordre que par la présence à Pise, en ce moment, de quelque personnage qu'elle voulait me cacher, un rustre d'amant, sans doute, pris par ennui, par lassitude, et dont elle avait honte !... Mais j'ai un principe : toujours obéir au désir que m'exprime une femme. Je pars de cette idée que si elle veut me duper sur un point quelconque, elle y réussira toujours. Qu'elle me dupe donc de la façon qui lui est le plus agréable, c'est la plus sûre chance que cette duperie me soit agréable à moi aussi. Tant et si bien que j'exécutai mon voyage à rebours. Je commençai par Païenne et la Sicile, pour continuer par la Grande-Grèce, Naples, Rome, enfin par Pise ; et le 5 avril dernier, par une jolie journée de printemps toscan, si fraîchement bleue et grisante, j'arrivai devant le palais de la comtesse Andryana, sur le quai de l'Arno, à côté de celui qui montre une chaîne au-dessus de son porche avec cette inscription : alla giornata... orgueilleux témoignage qu'un de ses maîtres fut esclave de Barbarie. Le cœur me battait, le croirais-tu ? et je regardais l'eau du fleuve toute jaune sous ce jour si clair, en songeant que mon délicieux Luini d'il y a dix ans avait vieilli à regarder couler ce flot lent, muet, comme lassé, et que la beauté de ce jour serait la plus cruelle des ironies pour ce qui lui restait de sa grâce... Enfin je me décide à frapper. Je donne mon nom, et l'on m'introduit, pas dans la maison, dans un jardin. Non, pas un jardin, mais une fête, une féerie de divines fleurs : des bordures d'iris blancs et violets, des touffes de narcisses dans le gazon, des arbres de mai déjà mauves, des roses épanouies autour des cyprès ... Et là, sous les tendres feuillages nouveaux et parmi cet enchantement de couleurs, de parfums, de chants d'oiseaux, dans ce magique jardin Pisan un peu rococo, avec les colonnes d'un *tempietto*, au fond, des vases de terre cuite et des statues,

– А что сказала она по поводу отсрочки вашего свидания? – спросил я его, когда он замолчал...

– Она ответила, опустив голову, что это последнее ее кокетство, что она молода только весною.

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1893. № 40 (11 апреля). С. 2–3. Перевод «Чернч.» [П.Л. Черневич])

j'aperçois Andryana aussi belle que je l'avais quittée. Elle marchait vers moi dans le soleil, qui lui faisait une auréole. Les lassitudes de l'âge étaient comme noyées par le sortilège de cette lumière. Le renouveau de la nature semblait affluer et sourire aussi dans ses beaux yeux, toujours aussi veloutés, toujours aussi mystérieux. Et elle était vraiment si pareille à elle-même qu'après une demi-heure je me sentis devenir aussi fou qu'il y a dix ans, et j'ai voulu recommencer ma déclaration, qu'elle interrompit avec un sourire, teinté d'un rien de regret : « Vous ne savez pas « que depuis deux mois je suis grand'mère ?... »

– « Et quelle cause t'a-t-elle donnée pour avoir déplacé votre rendez-vous ? » lui demandai-je comme il se taisait.

– « Mais celle que je te disais tout à l'heure. Quand je la questionnai, elle me répondit en hochant la tête: « Une dernière coquetterie: je ne « suis plus jeune qu'au printemps...»

Bourget, P. À quarante ans [La ressource électronique] / P. Bourget // Recommencements. – Paris : Alphonse Lemerre, 1897. – P. 183–197. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <https://archive.org/stream/recommencements00bourgoog#page/n200/mode/1up>

Литература

Родченко Ю.И. Литература «второго ряда» в переводе томских авторов // Французская литература в томской периодике конца XIX – начала XX в.: диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук: 10.01.01. – Томск, 2014. – С. 113–129.

Родченко Ю.И. Особенности критической рецепции французской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX в. (на материале «Сибирского вестника» и «Сибирской жизни») / Ю.И. Родченко // Имагология и компаративистика. – 2015. – № 2 (4) – С. 158–177.



Огюст де Вилъе де Лиль-Адан
(Auguste Comte de Villiers de L'isle-Adam , 1838–1889)

Огюст де Вилье де Лиль-Адан (Auguste Comte de Villiers de L'isle-Adam, 1838–1889) – французский писатель и драматург, признается одним из лучших французских новеллистов XIX столетия. Родился в небольшом городке Сен-Бриёк на севере Франции. Обедневший потомок древнего дворянского рода. Уже в раннем детстве проявил блестящие способности в литературе и музыке. В возрасте 20 лет переехал в Париж, где познакомился с Бодлером и другими представителями литературной элиты Франции. В 1858 г. опубликовал свой первый сборник «Первые стихи» («Deux Essais de Poésie»), в 1867 г. получил должность главного редактора журнала «Обозрение литературы и искусства». Славился авантюрным складом характера и эксцентричностью. Одной из знаменитых выходок Вилье стало заявление им прав на освободившийся престол короля Греции. Провел почти всю жизнь в крайней нищете. Умер в Париже 19 августа 1889 г.

Начало высшего расцвета творчества Вилье знаменует сборник «Жестокие рассказы» («Contes cruels»), за которым последовали другие: «Трибула Бономе» («Tribulat Bonhomet», 1887), «Необычайные истории» («Histoires insolites», 1888) и «Новые жестокие рассказы» («Nouveaux contes cruels», 1888). Объединяющим началом для всех сборников является мотив бессмысленного, немотивированного страдания человека и острая сатира на буржуазную современность. Ряд рассказов отражают увлечение Вилье оккультизмом и строятся по принципу ирреалистической новеллы Эдгара По, влияние которого на творчество писателя было наиболее значительным.

Вилье также известен как автор романов «Isis» и «Ева будущего», драм «Elen», «Бунт», «Моргана» и драматической поэмы «Аксель».

Переводы

В 1896 г. в газете «Сибирский вестник» под названием «Мучения надежды» публикуется один из самых известных рассказов из сборника Вилье «Nouveaux contes cruels», возникший как своеобразный ответ на рассказ Э. По «Колодец и маятник». В России сборник «Новые жестокие рассказы» публиковался в составе собрания сочинений писателя в 3 томах, выпущенного в издательстве «Заря» в 1911 г. В данном издании рассказ носит название «Великий инквизитор» (пер. С. Чериковера).

В 1903 г. в «Сибирской жизни» появляются специально выполненные для газеты переводы двух рассказов из сборника «Contes cruels» – неоконченного рассказа «Дочери Мильтона» и рассказа «Нетерпение толпы». «Жестокие рассказы» впервые вышли на рус-

ском языке в переводе Б. Рунт с предисловием В. Брюсова в 1908 г., затем переиздавались в 1909 и 1912 г.

Публикации

1. Вилье де Лиль Адан О. Мучения надежды / Ч. // Сибирский вестник. – 1896. – № 43 (24 февраля). С. 2. Подпись Ч.

2. Вилье де Лиль Адан О. Дочери Мильтона / А. Баскаков // Сибирская жизнь. – 1903. – № 132 (21 июня). – С. 2.

3. Вилье де Лиль Адан О. Нетерпение толпы / А. Б-в. [А. Баскаков] // Сибирская жизнь. – 1903. – № 136 (26 июня). – С. 2.

IMPATIENCE DE LA FOULE

À Monsieur Victor Hugo.

Passant, va dire à Lacédémone que nous sommes ici,
morts pour obéir à ses saintes lois.

Simonides.

La grande porte de Sparte, au battant ramené contre la muraille comme un bouclier d'airain appuyé à la poitrine d'un guerrier, s'ouvrait devant le Taygète. La poudreuse pente du mont rougeoyait des feux froids d'un couchant aux premiers jours de l'hiver, et l'aride versant renvoyait aux remparts de la ville d'Héraklès l'image d'une hécatombe sacrifiée au fond d'un soir cruel.

Au-dessus du portail civique, le mur se dressait lourdement. Au sommet terrassé se tenait une multitude toute rouge du soir. Les lueurs de fer des armures, les peplos, les chars, les pointes des piques, étincelaient du sang de l'astre. Seuls, les yeux de cette foule étaient sombres ; ils envoyaient, fixement, des regards aigus comme des javelots vers la cime du mont, d'où quelque grande nouvelle était attendue.

La surveillance, les Trois-Cents étaient partis avec le roi. Couronnés de fleurs, ils s'en étaient allés au festin de la Patrie. Ceux qui devaient souper dans les enfers avaient peigné leurs chevelures pour la dernière fois dans le temple de Lycurgue. Puis, levant leurs boucliers et les frappant de leurs épées, les jeunes hommes, aux applaudissements des femmes, avaient disparu dans l'aurore en chantant des vers de Tyrtée. Maintenant, sans doute, les hautes herbes du Défilé frôlaient leurs jambes nues,

НЕТЕРПЕНИЕ ТОЛПЫ

Из «Жестоких сказок» Вилье де-Лиль Адана
(Перевод с французского для «Сиб. Ж.»)

Прохожий, скажи Лакедемону,
что мы полегли здесь смертью,
повинуясь его святым законам.

Симонид

Самые главные ворота Спарты, обращенные прямо на Тайгет, были открыты настежь, и двери их, – будто медные щиты к груди воина, – прислонились к каменной стене. Пыльный склон скалы пылал холодными огнями заката; были первые дни зимы. От бесплодной поверхности скалы отражались эти огни и заревом падали на жилища города Геракла, и казалось, будто в глубине этого ужасного вечера жертвоприносятся богам гекатомба.

Над главным городским входом тяжело стояла стена. На усыпанной землею верхней площадке ее в красных лучах заходящего солнца собралось множество людей. Полированные части доспехов, пеплуны, колесницы, концы копий, – все сверкало кровью лучей заката. И одни только глаза этой толпы были мрачны; пристально они бросали острые, как стрелы, взгляды к вершине горы: оттуда ждали какого-то крайне важного известия.

Позавчера «Триста» ушли с царем во главе. Увенчанные цветами, они уходили во время праздника отечества. Они пообедали дома, но ужин, может быть, дожидался их уже в царстве теней, и, уходя, они в последний раз причесались в храме Ликурга. А потом, подняв кверху щиты и ударяя по ним мечами, – в такт гимнам Тиртея, – молодые воины, напутствуемые рукоплесканиями женщин, исчезли

comme si la terre qu'ils allaient défendre voulait caresser encore ses enfants avant de les reprendre en son sein vénérable.

Le matin, des chocs d'armes, apportés par le vent, et des vociférations triomphales, avaient confirmé les rapports des bergers éperdus. Les Perses avaient reculé deux fois, dans une immense défaite, laissant les dix mille Immortels sans sépulcre. La Locride avait vu ces victoires ! La Thessalie se soulevait. Thèbes, elle-même, s'était réveillée devant l'exemple. Athènes avait envoyé ses légions et s'armait sous les ordres de Miltiade ; sept mille soldats renforçaient la phalange laconienne.

Mais voici qu'au milieu des chants de gloire et des prières dans le temple de Diane, les cinq Éphores, ayant écouté des messagers survenus, s'étaient entre-regardés. Le Sénat avait donné, sur-le-champ, des ordres pour la défense de la Ville. De là ces retranchements creusés en hâte, car Sparte, par orgueil, ne se fortifiait à l'ordinaire que de ses citoyens.

Une ombre avait dissipé toutes les joies. On ne croyait plus aux discours des pasteurs ; les sublimes nouvelles furent oubliées, d'un seul coup, comme des fables ! Les prêtres avaient frissonné gravement. Des bras d'augures, éclairés par la flamme des trépieds, s'étaient levés, vouant aux divinités infernales ! Des paroles brèves avaient été chuchotées, terribles, aussitôt. Et l'on avait fait sortir les vierges, car on allait prononcer le nom d'un traître. Et leurs longs vêtements avaient passé sur les Ilotes, couchés, ivres de vin noir, en travers des degrés des portiques, lorsqu'elles avaient marché sur eux sans les apercevoir.

Alors retentit la nouvelle désespérée.

Un passage désert dans la Phocide avait été découvert aux ennemis. Un pâtre messénien avait vendu la terre d'Hellas. Éphialtès avait livré à Xerxès la mère patrie. Et les cavaleries perses, au front desquelles resplendissaient les armures d'or des satrapes, envahissaient déjà le sol des dieux, foulaient aux pieds la nourrice des héros ! Adieu, temples, demeures des aïeux, plaines sacrées ! Ils allaient venir, avec des chaînes, eux, les efféminés et les pâles, et se choisir des esclaves parmi tes filles, Lacédémone !

La consternation s'accrut de l'aspect de la montagne, lorsque les citoyens se furent rendus sur la muraille.

Le vent se plaignait dans les rocheuses ravines, entre les sapins qui se ployaient et craquaient, confondant leurs branches nues, pareilles aux cheveux d'une tête renversée avec horreur. La Gorgone courait dans les nuées, dont les voiles semblaient mouler sa face. Et la foule, couleur d'incendie, s'entassait dans les embrasures en admirant l'âpre désolation

в розовом сиянии зари. Теперь уж, наверное, высокая трава Дефилэ мягко хлещет по их обнаженным ногам, — как будто та земля, на защиту которой они шли, хочет еще раз приласкать своих детей, прежде чем принять их в свое материнское лоно.

Утром звон оружия и торжествующие крики, принесенные ветром, подтвердили рассказы испуганных пастухов. Персы отступали два раза с большими потерями, оставив десять тысяч бессмертных без погребения. Локрида видела эти победы! Фессалия уже поднималась. Фивы, сами Фивы, пробудились перед таким примером! Афины послали свои легионы и еще вооружались под руководством Мильтиада; семь тысяч солдат должны были усилить спартанские флаги.

Но вот, посреди торжествующих воинственных песен и молитв в храме Дианы, пять эфоров, выслушав только что пришедших гонцов, тревожно переглянулись. Сенат тотчас же отдал приказания о защите города. Вот откуда и эти окопы, кое-как наскоро вырытые, потому что ведь обыкновенно Спарта из гордости признавала единственным своим укреплением одних своих граждан.

Одно облачко развеяло все радости. Уже не верили больше рассказам пастухов; как басни, оставили сразу самые дорогие известия последних дней. Сами жрецы дрогнули и потемнели. Руки авгуров, освещенные пламенем треножников, поднялись кверху, вызывая к богам мрака. Девушек удалили из храма, потому что сейчас должно быть произнесено имя изменника. И они в своих длинных одеждах прошли по телам Илотов, не замечая их, а Илоты, пьяные от черного вина, лежали, пока те шли, на ступенях портика во всю длину прохода.

Тогда громом раздалась потрясающая весть.

Забытый проход в Фокиду был открыт неприятелю. Мессенский пастух продал землю Эллады. Эфиальт предал Ксерксу мать-отчизну. И персидская кавалерия, впереди которой золотом блистали латы сатрапов, наводнила уже землю богов, ногами лошадей попирала кормилицу героев! Простите, храмы, гробницы предков, священные равнины! Они придут сейчас и принесут цепи, — эти изнеженные, желтые люди, — и выберут себе рабынь из твоих дочерей, Лакедемон!

Когда граждане вышли на стену, то их удрученное настроение еще больше понизилось от зрелища горы.

Ветер плакал в скалистых ущельях горы и бился о сосны; сосны гнулись и стонали, путаясь голыми ветвями, подобными волосам на голове, откинувшейся назад в движении ужаса. Горгона бегала в об-

de la terre sous la menace du ciel. Cependant, cette multitude aux bouches sévères se condamnait au silence à cause des vierges. Il ne fallait pas agiter leur sein ni troubler leur sang d'impressions accusatrices envers un homme d'Hellas. On songeait aux enfants futurs.

L'impatience, l'attente déçue, l'incertitude du désastre, alourdissaient l'angoisse. Chacun cherchait à s'aggraver encore l'avenir, et la proximité de la destruction semblait imminente.

Certes, les premiers fronts d'armées allaient apparaître, dans le crépuscule ! Quelques-uns se figuraient voir, dans les cieux et coupant l'horizon, le reflet des cavaleries de Xerxès, son char même. Les prêtres, tendant l'oreille, discernaient des clameurs venues du nord, disaient-ils, – malgré le vent des mers méridionales qui faisait bruire leurs manteaux.

Les balises roulaient, prenant position ; on bandait ses scorpions et les monceaux de dards tombaient auprès des roues. Les jeunes filles disposaient des brasiers pour faire bouillir la poix ; les vétérans, revêtus de leurs armures, supputaient, les bras croisés, le nombre d'ennemis qu'ils abattraient avant de tomber ; on allait murer les portes, car Sparte ne se rendrait pas, même emportée d'assaut ; on calculait les vivres, on prescrivait aux femmes le suicide, on consultait des entrailles abandonnées qui fumaient çà et là.

Comme on devait passer la nuit sur la muraille en cas de surprise des Perses, le nommé Nogaklès, le cuisinier des gardiens, sorte de magistrat, préparait, sur le rempart même, la nourriture publique. Debout contre une vaste cuve, il agitait son lourd pilon de pierre et, tout en écrasant distraitement le grain dans le lait salé, il regardait lui aussi, d'un air soucieux, la montagne.

On attendait. Déjà d'infâmes suggestions s'élevaient au sujet des combattants. Le désespoir de la foule est calomnieux ; et les frères de ceux-là qui devaient bannir Aristide, Thémistocle et Miltiade, n'enduraient pas, sans fureur, leur inquiétude. Mais de très vieilles femmes, alors, secouaient la tête, en tressant leurs grandes chevelures blanches. Elles étaient sûres de leurs enfants et gardaient la farouche tranquillité des louves qui ont sevré.

Une obscurité brusque envahit le ciel ; ce n'était pas les ombres de la nuit. Un vol immense de corbeaux apparut, surgi des profondeurs du sud ; cela passa sur Sparte avec des cris de joie terrible ; ils couvraient l'espace, assombrissant la lumière. Ils allèrent se percher sur toutes les branches des bois sacrés qui entouraient le Taygète. Ils demeurèrent là, vigilants, immobiles, le bec tourné vers le nord et les yeux allumés.

лаках, и из их туманного вещества, казалось, образовывалось ее лицо. А толпа, будто в зареве пожара, струдилась в амбразурах стены, созерцая, как горько рыдала земля под грозой неба. Однако все эти люди, из которых у каждого с языка готовы были сорваться суровые слова гнева, — все они наложили на себя молчание — из-за того, что девушки были здесь. Не следовало волновать их грудь и мутить их кровь впечатлениями обвинения Эллады. Надо подумать о будущем потомстве.

Нетерпение, постоянное ожидание, неопределенность бедствия еще усиливали тоскливое состояние. Каждый старался еще оттянуть будущее, и близость катастрофы казалась неизбежной.

Конечно, вон первые войска уже показались в вечернем сумраке. Некоторые уверяли, что видят на небе около горизонта отблеск лат кавалерии Ксеркса, даже его колесницу. Жрецы, напрягая слух, различали крики, которые шли с севера, говорили они, несмотря на то, что с полу-денных морей дул тот ветер, который играл складками их мантий.

Катились баллисты и становились на местах; приготавливали скорпионов и кучи стрел падали к колесам орудий. Девочки раскладывали костры, чтобы варить смолу; ветераны, снова одетые в свои старые доспехи, скрестив руки на груди, высчитывали, сколько неприятелей они убьют прежде, чем сами падут; готовились замуровывать ворота, — потому что Спарта не сдастся никогда, — даже если ее возьмут приступом; приводили в известность количество съестных припасов; женщинам приказывали убивать себя в известных случаях.

Так как ночь предстояло провести на стене, — на случай внезапного появления персов, то один из граждан по имени Ногаклес, военный повар, — нечто вроде чиновника, — стал приготавливать тут же, на валу, общественную пищу. Стоя перед громадным котлом, он, не переставая, помешивал в нем своей тяжелой каменной ложкой, и, машинально растирая зерна похлебки в самом молоке, все время с озабоченным видом посматривал на гору.

Все ждали. Уже позорные насмешки начинали вырываться по адресу тех, кто теперь сражался. Отчаяние толпы идет рядом с клеветой; и братья тех, кто должны были изгнать впоследствии Аристида, Фемистокла и Мильтиада, не могли теперь без гнева превозмочь своего беспокойства. Но очень старые женщины тогда показывали своими головами, поправляя свои большие седые прически. Они были уверены в своих детях и сохранили напряженное спокойствие волчиц, которые только что вырастили хороших волков.

Une clameur de malédiction s'éleva, tonnante, et les poursuivit. Les catapultes ronflèrent, envoyant des volées de cailloux dont les chocs sonnèrent après mille sifflements et crépitèrent en pénétrant les arbres.

Les poings tendus, les bras levés au ciel, on voulut les effrayer. Ils demeurèrent impassibles comme si une odeur divine de héros étendus les eût fascinés, et ils ne quittèrent point les branches noires, ployantes sous leur fardeau.

Les mères frémirent, en silence, devant cette apparition.

Maintenant les vierges s'inquiétaient. On leur avait distribué les lames saintes, suspendues, depuis des siècles, dans les temples. – « Pour qui ces épées ! » demandaient-elles. Et leurs regards, doux encore, allaient du miroitement des glaives nus aux yeux plus froids de ceux qui les avaient engendrées. On leur souriait par respect, – on les laissait dans l'incertitude des victimes, on leur apprendrait, au dernier instant, que ces épées étaient pour elles.

Tout à coup, les enfants poussèrent un cri. Leurs yeux avaient distingué quelque chose au loin. Là-bas, à la cime déjà bleue du mont désert, un homme, emporté par le vent d'une fuite antérieure, descendait vers la Ville.

Tous les regards se fixèrent sur cet homme.

Il venait, tête baissée, le bras étendu sur une sorte de bâton rameux, – coupé au hasard de la détresse, sans doute, – et qui soutenait sa course vers la porte spartiate.

Déjà, comme il touchait à la zone où le soleil jetait ses derniers rayons sur le centre de la montagne, on distinguait son grand manteau enroulé autour de son corps ; l'homme était tombé en route, car son manteau était tout souillé de fange, ainsi que son bâton. Ce ne pouvait être un soldat : il n'avait pas de bouclier.

Un morne silence accueillit cette vision.

De quel lieu d'horreur s'enfuyait-il ainsi ? – Mauvais présage !

– Cette course n'était pas digne d'un homme. Que voulait-il ?

– Un abri ?... On le poursuivait donc ? – L'ennemi, sans doute ? – Déjà ! – déjà !...

Au moment où l'oblique lumière de l'astre mourant l'atteignit des pieds à la tête, on aperçut les cnémides.

Un vent de fureur et de honte bouleversa les pensées. On oublia la présence des vierges, qui devinrent sinistres et plus blanches que de véritables lis.

Un nom, vomi par l'épouvante et la stupeur générales, retentit. C'était un Spartiate ! un des Trois-Cents ! On le reconnaissait. – Lui ! c'était lui !

И вдруг тьма заволокла небо; но это не была тьма ночи. Громадная стая ворон показалась, поднимаясь из глубины юга; она покрывала все видимое пространство, затемняя свет. Вороны сели на всех ветвях священных деревьев, которые окружали Тайгет. И остались там, зоркие, неподвижные, обернув клювы к северу и с горящими глазами.

Крик проклятия поднялся, гремя, навстречу им. Катапульти харкнули, изрыгая кучи камней, которые, пролетев со свистом, звонко ударились о стволы деревьев и с треском расщепили некоторые из них.

Сжимая кулаки поднятых к небу рук, толпа хотела своим движением прогнать их. Они бесстрастно продолжали сидеть, как будто божественный запах убитых героев ослепил и парализовал их, и не улетали с черных ветвей, гнувшихся под их тяжестью.

Матери вздрогнули молча при их появлении.

Теперь девушки стали беспокоиться. Им раздали священные лезвия, веками висевшие в храмах. «Для кого эти мечи?» – спрашивали они. И их взгляд, еще кроткий, переходил с блеска голой стали на еще более холодный взгляд тех, кто их родил. Им улыбались – из уважения – их оставляли в неведении жертв, им скажут потом, в последний момент, что эти мечи – для них.

Вдруг дети закричали. Их глаза заметили что-то вдали. Там, далеко, на посиневшей уже вершине пустынной горы, человек, подгоняемый ветром какого-то бегства вне его, бежал и спускался по направлению к городу.

Все взгляды остановились на нем.

Он шел, опустив голову, опираясь руками на какую-то суковатую палку, сломленную где попало в страхе и торопливости, – бегства, конечно, – которая поддерживала его путь к спартанским воротам.

Уже, так как он касался той зоны на середине горы, где солнце бросало свои последние лучи, можно было различить длинный плащ, обернутый около его туловища; человек падал в дороге, так как плащ его был испачкан грязью; палка – тоже. Но это не мог быть воин: при нем не было щита.

С тяжелым молчанием было принято это появление.

Из какого ужасного места бежал он так торопливо? – Дурное предзнаменование!

Такое бегство недостойно человека. Чего нужно ему?

Un soldat de la ville avait jeté son bouclier ! On fuyait ! Et les autres ? Avaient-ils lâché pied, eux aussi, les intrépides ? – Et l'anxiété crispait les faces. – La vue de cet homme équivalait à la vue de la défaite. Ah ! pourquoi se voiler plus longtemps le vaste malheur ! Ils avaient fui ! Tous !... Ils le suivaient ! Ils allaient apparaître d'un instant à l'autre !... Poursuivis par les cavaliers perses ! – Et, mettant la main sur ses yeux, le cuisinier s'écria qu'il les apercevait dans la brume !...

Un cri domina toutes les rumeurs. Il venait d'être poussé par un vieillard et une grande femme. Tous deux, cachant leurs visages interdits, avaient prononcé ces paroles horribles : « Mon fils ! »

Alors, un ouragan de clameurs s'éleva. Les poings se tendirent vers le fuyard.

– Tu te trompes. Ce n'est pas ici le champ de bataille.

– Ne cours pas si vite. Ménage-toi.

– Les Perses achètent-ils bien les boucliers et les épées ?

– Éphialtès est riche.

– Prends garde à ta droite ! Les os de Pélopes, d'Héraklès et de Pollux sont sous tes pieds. – Imprécations ! Tu vas réveiller les mânes de l'Aïeul, – mais il sera fier de toi.

– Mercure t'a prêté les ailes de ses talons ! Par le Styx, tu gagneras le prix, aux Olympiades !

Le soldat semblait ne pas entendre et courait toujours vers la Ville.

Et, comme il ne répondait ni ne s'arrêtait, cela exaspéra. Les injures devinrent effroyables. Les jeunes filles regardaient avec stupeur.

Et les prêtres :

– Lâche ! Tu es souillé de boue ! Tu n'as pas embrassé la terre natale ; tu l'as mordue !

– Il vient vers la porte ! – Ah ! par les dieux infernaux ! – Tu n'entreras pas !

Des milliers de bras s'élevèrent.

– Arrière ! C'est le barathre qui t'attend ! – ou plutôt... – Arrière ! Nous ne voulons pas de ton sang dans nos gouffres !

– Au combat ! Retourne !

– Crains les ombres des héros, autour de toi.

– Les Perses te donneront des couronnes ! Et des lyres ! Va distraire leurs festins, esclave !

À cette parole, on vit les jeunes filles de Lacédémone incliner le front sur leurs poitrines, et, serrant dans leurs bras les épées portées par les rois libres dans les âges reculés, elles versèrent des larmes en silence.

Защиты?.. Значит, его преследуют! – Конечно, неприятель? – Уже! уже!..

В момент, когда косой свет умирающего светила охватил его с ног до головы, заметили на нем кнемиды.

Вихрь ярости и стыда перемешал все мысли. Забыли и про присутствие девушек, которые сразу точно оцепенели и стали блее живых лилий.

Одно слово, выгнанное из чьих-то уст страхом и всеобщим ужасом, прозвенело в воздухе. Это Спартиат! Один их Трехсот! Его уже узнали. – Он! это он! Один из воинов города бросил свой щит! Бежал! – А остальные? Может быть, и они нетвердо стоят на ногах, бестрепетный? – На всех лицах выразились эти мучительные вопросы. – Вид этого человека был равносителен виду поражения. Что же делать! Зачем скрывать от себя дольше всю глубину несчастья? – Они бежали! Все!.. Их преследуют! С минуты на минуту они появятся... А за ними будут гнаться персидские всадники! – И, приложив руку к глазам, повар кричал, что он видит их в туманной дали!..

Над общим гулом толпы один крик послышался и покрыв все своим смыслом: пряча свои искаженные горем лица, старик и женщина произнесли в этом крике два ужасных слова: «Мой сын!».

Тогда целый ураган возгласов поднялся. Кулаки протянулись к бежавшему.

– Ты ошибаешься: здесь не поле битвы.

– Не беги так скоро. Успокойся, пожалуйста!

– Что, дешево персы покупают мечи и щиты?

– Эй поосторожнее там, направо! Кости Пелопса, Геракла и Поллукса под твоими ногами! – Проклятие! Смотри, ты потревожишь прах великого Предка, – но он будет гордиться, конечно, тобой!

– Меркурий что ли дал тебе крылья со своих пяток! Клянусь Стиксом, ты возьмешь приз во время Олимпиад!

Воин, казалось, ничего не слышал и бежал все время к городу.

И, так как он ничего не отвечал и ни на минуту не останавливался, то это еще больше раздражало всех. Ругательства стали невыносимыми. Девушки смотрели в остолбенении.

А жрецы кричали:

– Негодяй! Ты весь в грязи! Ты не поцеловал родной земли: ты укусил ее!

– Он подходит к воротам! – Ах, именем подземных богов! – Нет, ты не войдешь!

Elles enrichissaient, de ces pleurs héroïques, la rude poignée des glaives. Elles comprenaient et se vouaient à la mort, pour la patrie.

Soudain, l'une d'entre elles s'approcha, svelte et pâle, du rempart : on s'écarta pour lui livrer passage. C'était celle qui devait être un jour l'épouse du fuyard.

– Ne regarde pas, Séméis !... lui crièrent ses compagnes.

Mais elle considéra cet homme et, ramassant une pierre, elle la lança contre lui.

La pierre atteignit le malheureux : il leva les yeux et s'arrêta. Et alors un frémissement parut l'agiter. Sa tête, un moment relevée, retomba sur sa poitrine.

Il parut songer. À quoi donc ?

Les enfants le contemplaient ; les mères leur parlaient bas, en l'indiquant.

L'énorme et belliqueux cuisinier interrompit son labeur et quitta son pilon. Une sorte de colère sacrée lui fit oublier ses devoirs. Il s'éloigna de la cuve et vint se pencher sur une embrasure de la muraille. Puis, rassemblant toutes ses forces et gonflant ses joues, le vétéran cracha vers le transfuge. Et le vent qui passait emporta, complice de cette sainte indignation, l'infâme écume sur le front du misérable.

Une acclamation retentit, approbatrice de cette énergique marque de courroux.

On était vengé.

Pensif, appuyé sur son bâton, le soldat regardait fixement l'entrée ouverte de la Ville.

Sur le signe d'un chef, la lourde porte roula entre lui et l'intérieur des murailles et vint s'enchâsser entre les deux montants de granit.

Alors, devant cette porte fermée qui le proscrivait pour toujours, le fuyard tomba en arrière, tout droit, étendu sur la montagne.

À l'instant même, avec le crépuscule et le pâlissement du soleil, les corbeaux, eux, se précipitèrent sur cet homme ; ils furent applaudis, cette fois, et leur voile meurtrier le déroba subitement aux outrages de la foule humaine.

Puis vint la rosée du soir qui détrempa la poussière autour de lui.

À l'aube, il ne resta de l'homme que des os dispersés.

Ainsi mourut, l'âme éperdue de cette seule gloire que jalourent les dieux et fermant pieusement les paupières pour que l'aspect de la réalité ne troublât d'aucune vaine tristesse la conception sublime qu'il gardait de la Patrie, ainsi mourut, sans parole, serrant dans sa main la palme funèbre

Тысячи рук поднялись:

– Назад!.. Здесь ждет тебя позорная смерть, – а не то... – Назад!
Мы не хотим видеть твоей крови в наших ущельях Тайгета!

– В сражение! Вернись!

– Побойся теней героев вокруг тебя!

– Персы увенчают тебя! И дадут лиру! Иди, увеселяй их праздники, раб!

И можно было заметить, как при этом слове девушки Лакедемона склонили лица на грудь и, сжимая в руках мечи, которые носили свободные цари в давние века, молча пролили слезы.

Они украсили этими героическими слезами простые рукоятки мечей. Они уже понимали и отдавали себя на смерть – за отечество.

Вдруг одна из них приблизилась, стройная и бледная, к краю стены: все посторонились, чтобы дать ей дорогу. Это была та, которая должна была стать со временем женой беглеца.

– Не смотри, Семерис, – закричали ей подруги.

Но она посмотрела на этого человека, подняв камень, бросила в него.

Камень попал: он поднял глаза и остановился. Узнал и содрогнулся. Потом голова его, приподнявшись лишь на мгновение, опять упала на грудь.

Кажется, он думал. О чем?

Дети на него смотрели: им матери говорили что-то на ухо, указывая на него.

Повар прервал свое дело, оставил ложку. Нечто вроде священного гнева заставило его забыть свои обязанности. Он отошел от котла и нагнулся через амбразуру стены. Потом, собрав все свои силы и надув щеки, ветеран плюнул по направлению к беглецу. И ветер, который дул в это время, будто сообщник этого святого негодования подхватил и донес до лба несчастного воина позорную пену слюны.

Громкий возглас раздался, ободряя это энергичное клеймо гнева. Отомстили.

Задумчиво, опершись на свою палку, воин пристально смотрел на открытый вход в город.

По знаку одного из начальников тяжелая дверь повернулась на петлях между ним и внутренностью города и стала перед ним, упираясь боками в гранитные стены.

et triomphale et à peine isolé de la boue natale par la pourpre de son sang, l'auguste guerrier élu messager de la Victoire par les Trois-Cents, pour ses mortelles blessures, alors que, jetant aux torrents des Thermopyles son bouclier et son épée, ils le poussèrent vers Sparte, hors du Défilé, le persuadant que ses dernières forces devaient être utilisées en vue du salut de la République ; – ainsi disparut dans la mort, acclamé ou non de ceux pour lesquels il périssait, l'ENVOYÉ DE LÉONIDAS.

Villiers de L'Isle-Adam, A. compte de. Impatience de la foule [La ressource électronique] / A. compte de Villiers de L'Isle-Adam // Contes cruels – Paris : Calmann Lévy, 1883. – P. 137–147. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k824900/f142.image.r=.langFR>

Тогда, перед этой запертой дверью, которая осуждала его на вечное изгнание, воин, не сгибаясь, упал на спину и во весь рост вытянулся на горе.

В этот самый момент, вместе с сумраком надвигавшейся ночи вслед уходящему солнцу вороны тоже набросились на этого человека; им рукоплескали на этот раз, и их смертоносная стая сразу освободила несчастного от оскорблений людской толпы.

Потом пала вечерняя роса, которая увлажнила пыль около него.

А к утренней заре от человека остались только в беспорядке разбросанные кости.

Так умер, всю душу отдав одной только этой славе – которой завидуют боги – с недоумением почтительно закрыв глаза, чтобы картина действительности ни одним печально-пустым намеком не смутила того идеально-высокого представления об отечестве, которое он хранил в своей душе, – без единого слова, сжимая в руках печальную пальму победы и едва-едва – только пурпуром своей крови – отделенный от родной земли – так умер благородный воин, за свои смертельные раны избранный Тремястами быть вестником победы: бросив в струи Фермопил его щит и меч, они послали его к Спарте через Дефилэ, убедив его, что его последние силы должны быть отданы на благо всей республики; – так погиб в смерти, не признанный теми, за кого он погибал, посланный Леонида.

(Опубликовано в «Сибирской жизни». 1903. № 136 (26 июня). С. 2.

Перевод «А. Б-в» [А. Баскаков])



Альфонс Доде
(Alphonse Daudet, 1840–1897)

Альфонс Доде (Alphonse Daudet, 1840–1897) – французский романист и драматург. Начал литературную карьеру как журналист и театральный критик, работая в нескольких парижских газетах. Обратил на себя внимание читателей публикацией автобиографического романа «Малыш» («Le Petit Chose», 1868), а также сборника лирических новелл в духе провансальских преданий «Письма с моей мельницы» («Lettres de mon moulin», 1869). Эти два произведения принесли писателю славу и деньги. Однако прежде всего Доде известен как создатель литературного образа провансальского героя, фантазера и хвастуна Тартарена из Тараскона из одноименного романа-трилогии. Ее первая часть «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» («Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon», 1872) принесла писателю всемирную славу. К середине 1880-х гг. у Доде наблюдается все более явный интерес к психологическому анализу – изображению не столько социальных, сколько внутренних побуждений, толкающих человека на те или иные поступки (романы «Сафо» («Sapho», 1884), «Роза и Нинетта» («Rose et Ninette», 1892), «Маленький приход» («La Petite Paroisse», 1895) и др.). Из пьес Доде самая известная – драматургическая переделка его собственного рассказа «Арлезианка» («L'Arlesienne», 1872), успехом немало обязанная музыке Ж. Бизе. Романы Доде не раз переводились на русский язык, с 1870-х гг. публиковались в российских «толстых» журналах, а в 1894 г. были собраны в «Собрание сочинений» в 12 томах (СПб.: Изд. типографии бр. Пантелеевых, 1894–1895).

Критика

Впервые имя Доде упоминается томским критиком, скрывшим своё имя за криптонимом «К. В-ков» в «Сибирском вестнике» за 1893 г. Описывая состояние современной французской литературы, журналист утверждает, что Доде, наряду с Г. де Мопассаном и Э. Золя, стоит во главе современного французского романа.

В 1897 г. на пятый день после смерти Доде на страницах «Сибирской жизни» появляется подробный некролог писателю. Анонимный критик рассказывает читателям о самых ярких эпизодах из жизни писателя – тяжелом, полном лишений детстве, отсутствии возможности получить высшее образование, о переезде в Париж

в возрасте семнадцати лет в поисках средств к существованию и, наконец, о характере его литературной деятельности.

Переводы

В томской периодике новеллистика Доде оказалась на редкость востребованной. Всего на страницах местных газет вышел перевод девяти новелл Доде. В период с 1890 г. по 1894 г. в «Сибирском вестнике» публикуются пять новелл о франко-прусской войне из сборника Доде «Рассказы по понедельникам» («Contes du lundi», 1873): «Партия на бильярде» («La Partie de billard»), «Знаменосец» («Le Porte-drapeau»), «Пирожки» («Les Petits Pâtés»), «Плохой зуав» («Le Mauvais Zouave»), «Прусак Велизария» («Le Prussien de Bélisaire»). Переводчиком всех пяти произведений был А.О. Станиславский. «Сибирская жизнь» также обращается к новеллам из этого сборника: в 1897 г. на страницах газеты появляется анонимный перевод «Партии на бильярде», а в 1905 г. перепечатка новеллы «Смерть Шовена» («La Mort de Chauvin») из «Харьковского листка». Популярность этой тематики, думается, связана с геокультурной ситуацией на международной арене 1890-х–1910-х гг., периодом активного сближения России и Франции в рамках военного союза.

В 1905 г. «Сибирская жизнь» обращается к сборнику писателя «Жены артистов» («Les Femmes d'artistes», 1874), публикуя перевод двух новелл: «Семья певцов» («Un Ménage de chanteurs») и «Недоразумение» («Un Malentendu») в переводе «А.Р. Сак». В отличие от «Рассказов по понедельникам» этот сборник посвящен проблемам семьи, брака, любви.

Публикации

Критика

1. К. В-ков. Фельетон «Сибирского вестника» // Сибирский вестник. – 1893. – № 44 (21 апреля). – С. 3.
2. Альфонс Доде // Сибирская жизнь. – 1897. – № 264 (10 декабря). – С. 3.

Переводы

1. Доде А. Партия на бильярде / А. С-кий [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1890. – № 105 (11 сентября). – С. 2.
2. Доде А. Знаменосец / А. С-кий [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1890. – № 119 (17 октября). – С. 2–3.

3. Доде А. Пирожки / А. С-кий [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1890. – № 128 (7 ноября). – С. 2–3.
4. Доде А. Плохой солдат / А. С-кий [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1891. – № 106 (14 сентября). – С. 3.
5. Доде А. Рассказ Велизария / А. С-кий [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1894. – № 43 (13 апреля). – С. 2.
6. Доде А. Партия на бильярде // Сибирская жизнь. – 1897. – № 278 (28 декабря). – С. 2.
7. Доде А. Роковая ошибка / А.Р. Сак // Сибирская жизнь. – 1905. – № 9 (13 января). – С. 3.
8. Доде А. Смерть Шовена // Сибирская жизнь. – 1905. – № 220 (2 ноября). – С. 2.

LA PARTIE DE BILLARD

Comme on se bat depuis deux jours et qu'ils ont passé la nuit sac au dos sous une pluie torrentielle, les soldats sont exténués. Pourtant voilà trois mortelles heures qu'on les laisse se morfondre, l'arme au pied, dans les flaques des grandes routes, dans la boue des champs détrempés.

Alourdis par la fatigue, les nuits passées, les uniformes pleins d'eau, ils se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer, pour se soutenir. Il y en a qui dorment tout debout, appuyés au sac d'un voisin, et la lassitude, les privations se voient mieux sur ces visages détendus, abandonnés dans le sommeil. La pluie, la boue, pas de feu, pas de soupe, un ciel bas et noir, l'ennemi qu'on sent tout autour. C'est lugubre...

Qu'est-ce qu'on fait là. Qu'est-ce qui se passe ?

Les canons, la gueule tournée vers le bois, ont l'air de guetter quelque chose. Les mitrailleuses embusquées regardent fixement l'horizon. Tout semble prêt pour une attaque. Pourquoi n'attaque-t-on pas ? Qu'est-ce qu'on attend ?...

On attend des ordres, et le quartier général n'en envoie pas.

Il n'est pas loin cependant le quartier général.

C'est ce beau château Louis XIII dont les briques rouges, lavées par la pluie, luisent à mi-côte entre les massifs. Vraie demeure princière, bien digne de porter le fanion d'un maréchal de France.

Derrière un grand fossé et une rampe de pierre qui les séparent de la route, les pelouses montent tout droit jusqu'au perron, unies et vertes, bordées de vases fleuris. De l'autre côté, du côté intime de la maison, les charmilles font des trouées lumineuses, la pièce d'eau où nagent des cygnes s'étale comme un miroir, et sous le toit en pagode d'une immense volière, lançant des cris aigus dans le feuillage, des paons, des faisans dorés battent des ailes et font la roue. Quoique les maîtres soient partis, on ne sent pas là l'abandon, le grand lâchez-tout de la guerre. L'oriflamme du chef de l'armée a préservé jusqu'aux moindres fleurettes

ПАРТИЯ НА БИЛЬЯРДЕ

Сражаются уже двое суток, и солдаты измучены до крайности. Тем более что последнюю ночь провели под ружьем, с ранцами на спинах и под проливным дождем. Однако же они стоят в бездействии уже целых три часа, в больших лужах и глубокой грязи.

Отяжелевшие от усталости и бессонных ночей, промокшие, они жмутся друг к другу, чтобы разогреться и взаимно поддерживаться. Некоторые спят стоя, склонив головы на ранцы своих соседей, страшная усталость и лишения запечатлены на лицах спящих. Дождь, грязь, нет огня, нет горячей пищи, небо с нависшими черными облаками, присутствие неприятеля кругом чувствуется. Все это грустно, ужасно...

Что же они делают? Что там творится?

Пушки повернули к лесу свои пасти и как будто поджидают кого-то, митральезы в засаде неподвижно смотрят в горизонт. Все кажется вполне готовым к наступлению, но почему не наступают? Чего же ждут еще?

Ждут приказаний, а их все нет из главной квартиры.

Главная квартира, однако, недалеко. Это красивый замок в стиле Людовика XIII; красные кирпичи его стен, обмытые под дождем, блестят между большими окружающими их деревьями. Настоящая княжеская резиденция, вполне заслуживающая, чтоб на ней красовался значок маршала Франции. Позади широкой канавы и невысокой каменной стены, отделяющей замок от дороги, зеленые газоны, окруженные букетами цветов, поднимаются до самого крыльца. С другой стороны, в передней части парка, видны беседки, красивый пруд, по которому плавают лебеди, а под крышей огромного птичника, построенного в форме пагоды, резко кричат и токуют золотистые фазаны. Хотя хозяева уехали, но не видно еще запустения и неряшливости – обыкновенных последствий войны. Почет, ок-

des pelouses, et c'est quelque chose de saisissant de trouver, si près du champ de bataille, ce calme opulent qui vient de l'ordre des choses, de l'alignement correct des massifs, de la profondeur silencieuse des avenues.

La pluie, qui tasse là-bas de si vilaine boue sur les chemins et creuse des ornières si profondes, n'est plus ici qu'une ondée élégante, aristocratique, avivant la rougeur des briques, le vert des pelouses, lustrant les feuilles des orangers, les plumes blanches des cygnes. Tout reluit, tout est paisible. Vraiment, sans le drapeau qui flotte à la crête du toit, sans les deux soldats en faction devant la grille, jamais on ne se croirait au quartier général. Les chevaux reposent dans les écuries. Ça et là on rencontre des brosseurs, des ordonnances en petite tenue flânant aux abords des cuisines, ou quelque jardinier en pantalon rouge promenant tranquillement son râteau dans le sable des grandes cours.

La salle à manger, dont les fenêtres donnent sur le perron, laisse voir une table à moitié desservie, des bouteilles débouchées, des verres ternis et vides, blafards, sur la nappe froissée, toute une fin de repas, les convives partis. Dans la pièce à côté, on entend des éclats de voix, des rires, des billes qui roulent, des verres qui se choquent. Le maréchal est en train de faire sa partie, et voilà pourquoi l'armée attend des ordres. Quand le maréchal a commencé sa partie, le ciel peut bien crouler, rien au monde ne saurait l'empêcher de la finir.

Le billard !

C'est sa faiblesse à ce grand homme de guerre.

Il est là, sérieux comme à la bataille, en grande tenue, la poitrine couverte de plaques, l'œil brillant, les pommettes enflammées, dans l'animation du repas, du jeu, des grogs. Ses aides de camp l'entourent, empressés, respectueux, se pâmant d'admiration à chacun de ses coups.

Quand le maréchal fait un point, tous se précipitent vers la marque ; quand le maréchal a soif, tous veulent lui préparer son grog. C'est un froissement d'épaulettes et de panaches, un cliquetis de croix et d'aiguillettes, et de voir tous ces jolis sourires, ces fines révérences de courtisans, tant de broderies et d'uniformes neufs, dans cette haute salle à boiseries de chêne, ouverte sur des parcs, sur des cours d'honneur, cela rappelle les automnes de Compiègne et repose un peu des capotes souillées qui se morfondent là-bas, au long des routes, et font des groupes si sombres sous la pluie.

Le partenaire du maréchal est un petit capitaine d'état-major, sanglé, frisé, ganté de clair, qui est de première force au billard et capable de

ружающий начальника целой армии, защитил здесь все, — каждый цветок остался еще на своем месте, и невольно удивляешься, видя так близко от поля сражения это богатое, роскошное барское жилище.

Дождь, наделавший столько отвратительной грязи по дорогам, размывший их во многих местах, здесь, как приятное купанье, обмыл кирпичные стены, придал блеск листве деревьев и белым перьям плавающих лебедей. Все блестит, кругом все спокойно. Если бы не зная, развевающееся на верхушке крыши, если бы не два солдата на карауле у решетчатых ворот, — никто бы не подумал, что здесь помещается главная квартира. Лошади отдыхают в конюшнях, кое-где видны конюхи и денщики, шляющиеся возле кухни, или садовники, спокойно скребущие дорожки в парке и во дворе.

В столовой, с окнами, обращенными на крыльцо, виден наполовину убранный стол, раскупоренные бутылки, тусклые порожние стаканы на измятой скатерти. Видно, что гости только что отобедали и ушли отсюда. В соседней комнате слышен громкий говор, смех, звон стаканов. Маршал играет на бильярде, и вот почему армия ждет приказаний. Когда маршал начал свою партию, небо может обрушиться, — ничто в мире не заставит его бросить партию неоконченной.

Бильярд — это слабая сторона этого знаменитого боевого генерала. Возле него он серьезен, как и во время сражения, в парадной форме, с грудью, покрытой орденами и звездами, с блестящими глазами и лицом, раскрасневшимся после обеда, игры и пунша. Адьютанты окружают его, улыбающиеся, почтительные, готовые исполнить всякое его желание, и восхищаются каждым его ударом. Записывают на доске его очки; когда маршал хочет пить, всякий старается приготовить и подать ему стакан пунша. Приятно смотреть на эти милые улыбки, подобострастные поклоны, на массу блестящих эполет, аксельбантов и золотого шитья на новеньких, как с иголочки, мундирах, собравшихся в этой высокой зале со стенами резного дуба, открывающей свои окна на парк и передний двор. Это напоминает осень в Компьене, когда там пребывал весь двор, и позволяет глазу отдохнуть после грустного вида этих грязных шинелей, целая масса которых столько времени тоскливо ждет чего-то среди дороги, в глубокой грязи и под дождем.

Маршал играет с напoмаженным молодым капитаном, блестящим молодым капитаном генерального штаба. Он так играет на бильярде, что мог бы свободно обыграть всех маршалов целого ми-

rouler tous les maréchaux de la terre, mais il sait se tenir à une distance respectueuse de son chef, et s'applique à ne pas gagner, à ne pas perdre non plus trop facilement. C'est ce qu'on appelle un officier d'avenir...

Attention, jeune homme, tenons-nous bien. Le maréchal en a quinze et vous dix. Il s'agit de mener la partie jusqu'au bout comme cela, et vous aurez fait plus pour votre avancement que si vous étiez dehors avec les autres, sous ces torrents d'eau qui noient l'horizon, à salir votre bel uniforme, à ternir l'or de vos aiguillettes, attendant des ordres qui ne viennent pas.

C'est une partie vraiment intéressante. Les billes courent, se frôlent, croisent leurs couleurs.

Les bandes rendent bien, le tapis s'échauffe...

Soudain la flamme d'un coup de canon passe dans le ciel. Un bruit sourd fait trembler les vitres. Tout le monde tressaille ; on se regarde avec inquiétude. Seul le maréchal n'a rien vu, rien entendu : penché sur le billard, il est en train de combiner un magnifique effet de recul ; c'est son fort, à lui, les effets de recul !...

Mais voilà un nouvel éclair, puis un autre. Les coups de canon se succèdent, se précipitent. Les aides de camp courent aux fenêtres. Est-ce que les Prussiens attaquaient ?

« Eh bien, qu'ils attaquent ! dit le maréchal en mettant du blanc... À vous de jouer, capitaine. »

L'état-major frémit d'admiration. Turenne endormi sur un affût n'est rien auprès de ce maréchal, si calme devant son billard au moment de l'action... Pendant ce temps, le vacarme redouble. Aux secousses du canon se mêlent les déchirements des mitrailleuses, les roulements des feux de peloton. Une buée rouge, noire sur les bords, monte au bout des pelouses. Tout le fond du parc est embrasé. Les paons, les faisans effarés clament dans la volière ; les chevaux arabes, sentant la poudre, se cabrent au fond des écuries. Le quartier général commence à s'émouvoir. Dépêches sur dépêches. Les estafettes arrivent à bride abattue. On demande le maréchal.

Le maréchal est inabordable. Quand je vous disais que rien ne pourrait l'empêcher d'achever sa partie.

« À vous de jouer, capitaine. »

Mais le capitaine a des distractions. Ce que c'est pourtant que d'être jeune ! Le voilà qui perd la tête, oublie son jeu et fait coup sur coup deux séries, qui lui donnent presque partie gagnée.

ра, но он умеет держаться на приличном расстоянии от своего начальника, старается не выиграть, но, вместе с тем, не позволяет себя легко победить. Перед этим офицером блестящий путь.

Берегитесь, молодой человек у маршала уже 15 очков, а у вас только 10. Держите себя умненько, так именно следует довести партию до конца, и тогда гораздо больше сделаете в пользу своего производства в следующий чин, чем если бы вы стояли вместе с другими, там — под потоками дождя, если бы вы марали в грязи свой новенький мундир и блестящие аксельбанты, ожидая распоряжений, которых никто не думает делать.

Партия очень интересная. Шары бегают, сталкиваются, скрещаются, борта отлично отдают, сукно хорошее. ... Вдруг, молния пушечного выстрела мелькнула по темному горизонту, стекла задрожали от глухого удара. Все вздрогнули, беспокойно посмотрели друг на друга. Один лишь маршал ничего не видел, нечего не слышал: наклонившись над бильярдом, он рассчитывает сделать оттяжку: ох! Он большой мастер делать оттяжки! ...

Но вот опять молния, другая — пушечные выстрелы все чаще следуют один за другим.

Адъютанты бегут к окнам. Разве прусаки наступают?

— Так что же, пусть наступают! — говорит маршал, намазывая кий мелом...

— Вам играть, капитан!

Весь штаб затрепетал от восхищения. Тюрен, заснувший на лафете, ничего не стоит против этого маршала, столь спокойного и непоколебимого у бильярда в минуты начинающегося сражения... Шум увеличивается. К пушечному грому присоединилась трескотня митральез и переливы батальонного огня. Красноватые облака дыма с черной каймой поднимаются над парком; в глубине его начался уже бой. Павлины и фазаны, перепуганные, кричат в птичнике, в конюшнях арабские лошади почуяли уже пороховой дым, ржут и встают на дыбы. Главная квартира начинает беспокоиться. Одна за другою летят депеши, ординарцы на полном скаку. Спрашивают маршала.

Но маршал неумолим. Я вам говорил, что ничто не заставит его бросить неоконченную партию.

— Вам играть, капитан!

Капитан уже немного смутился. Вот что значит молодость! Он потерял голову и в два удара сделал столько очков, что партия у него почти выиграна. На этот раз маршал уже серьезно сердится; удивле-

Cette fois le maréchal devient furieux. La surprise, l'indignation éclatent sur son visage.

Juste à ce moment, un cheval lancé ventre à terre s'abat dans la cour. Un aide de camp couvert de boue force la consigne, franchit le perron d'un saut : « Maréchal ! maréchal !... » Il faut voir comme il est reçu... Tout bouffant de colère et rouge comme un coq, le maréchal paraît à la fenêtre, sa queue de billard à la main :

« Qu'est-ce qu'il y a ?... Qu'est-ce que c'est ?... Il n'y a donc pas de factionnaire par ici ?

– Mais, maréchal...

– C'est bon... Tout à l'heure... Qu'on attende mes ordres, nom d... D... ! »

Et la fenêtre se referme avec violence.

Qu'on attende ses ordres !

C'est bien ce qu'ils font, les pauvres gens. Le vent leur chasse la pluie et la mitraille en pleine figure. Des bataillons entiers sont écrasés, pendant que d'autres restent inutiles, l'arme au bras, sans pouvoir se rendre compte de leur inaction. Rien à faire. On attend des ordres... Par exemple, comme on n'a pas besoin d'ordres pour mourir, les hommes tombent par centaines derrière les buissons, dans les fossés, en face du grand château silencieux. Même tombés, la mitraille les déchire encore, et par leurs blessures ouvertes coule sans bruit le sang généreux de la France... Là-haut, dans la salle de billard, cela chauffe terriblement : le maréchal a repris son avance ; mais le petit capitaine se défend comme un lion...

Dix-sept ! dix-huit ! dix-neuf !...

À peine a-t-on le temps de marquer les points.

Le bruit de la bataille se rapproche. Le maréchal ne joue plus que pour un. Déjà des obus arrivent dans le parc. En voilà un qui éclate au-dessus de la pièce d'eau. Le miroir s'éraille ; un cygne nage, épeuré, dans un tourbillon de plumes sanglantes. C'est le dernier coup...

Maintenant, un grand silence. Rien que la pluie qui tombe sur les charmilles, un roulement confus au bas du coteau, et, par les chemins détrempés, quelque chose comme le piétinement d'un troupeau qui se hâte... L'armée est en pleine déroute. Le maréchal a gagné sa partie.

Daudet, A. La Partie de billard [La ressource électronique] / A. Daudet // Les Contes du lundi – Paris : Bibliothèque-Charpentier, 1892. – P. 13–19. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k66328v/f21.image>

ние, даже возмущение, видно на его лице. В это мгновение во двор влетает всадник, и его лошадь падает среди двора. Адьютант, весь покрытый грязью, несмотря на запрещение, одним прыжком вскакивает на ступеньки крыльца и кричит: «Маршал, маршал!» ... Следует посмотреть, как его принимает... Страшно разгневанный, весь красный как петух, маршал с кием в руке показывается у открытого окна.

– Чего нужно?.. Что это такое?.. Разве здесь нет караула?

– Маршал, позвольте...

– Ладно ... сейчас... Пусть ждут моих приказаний, черт возьми! ... и окно закрывается с треском.

Пусть ждут приказаний!

Они ведь только это и делают, несчастные! Ветер прямо в лицо несет им дождь и град картечи. Целые полки раздавлены, тогда как другие праздно стоят, не понимая, что заставляет их бездействовать. Что тут сделаешь – ждут приказаний... Правда, что никаких приказаний не требуется для того, чтобы умирать, и люди целыми сотнями падают за кустами, во рвы и на дороге перед молчаливым замком. Даже тогда, когда они уже пали, картечь рвет их на клочья, из открытых ран льется благородная французская кровь. ... А там наверху, в бильярдной, дело тоже загорелось: маршал опять впереди, но капитан защищается как лев...

– Семнадцать! Восемнадцать! Девятнадцать!..

Едва успевают записывать очки. Гром сражения все приближается. Маршалу недостает лишь одного очка.

Гранаты начинают залетать в парк. Одна из них разорвалась над прудом, зеркальная его поверхности взволновалась, перепуганный лебедь плавает в облаке окровавленных перьев. Последний удар сделан...

Теперь уже царит тишина. Слышен шум дождя между кустами и деревьями и под горою какой-то невнятный гул да по размокшим дорогам шлепанье многих ног, будто большого стада, быстро возвращающегося с полей.... Армия разбита и отступает в беспорядке. Маршал выиграл партию.

*(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1890. № 105 (11 сентября).
С. 2. Перевод: «А. С-кий» [А.О. Станиславский])*

LE PRUSSIEN DE BELISAIRE

Voici quelque chose que j'ai entendu raconter cette semaine, dans un cabaret de Montmartre. Il me faudrait, pour bien vous dire cela, le vocabulaire faubourien de maître Bélisaire, son grand tablier de menuisier, et deux ou trois coups de ce joli vin blanc de Montmartre, capable de donner l'accent de Paris, même à un Marseillais.

Je serais sûr alors de vous faire passer dans les veines le frisson que j'ai eu en écoutant Bélisaire raconter, sur une table de compagnons, cette lugubre et véridique histoire :

« ... C'était le lendemain de l'amnistie (Bélisaire voulait dire l'armistice). Ma femme nous avait envoyés, nous deux l'enfant, faire un tour du côté de Villeneuve-la-Garenne, rapport à une petite baraque que nous avions là-bas au bord de l'eau et dont nous étions sans nouvelles depuis le siège. Moi, ça me chiffonnait d'emmener le gamin. Je savais que nous allions nous trouver avec les Prussiens, et comme je n'en avais pas encore vu en face, j'avais peur de me faire arriver quelque histoire. Mais la mère en tenait pour son idée : « Va donc ! va donc ! ça lui fera prendre l'air à cet enfant. »

« Le fait est qu'il en avait besoin, le pauvre petit, après ses cinq mois de siège et de moisissure !

« Nous voilà donc partis tous les deux à travers champs. Je ne sais pas s'il était content, le mioche, de voir qu'il y avait encore des arbres, des oiseaux, et de s'en donner de barboter dans les terres labourées. Moi, je n'y allais pas d'aussi bon cœur ; il y avait trop de casque pointus sur les routes. Depuis le canal jusqu'à l'île on ne rencontrait que ça. Et insolents ! Il fallait se tenir à quatre pour ne pas taper dessus. Mais où je sentis la colère me monter, là, vrai ! c'est en entrant dans Villeneuve, quand je vis nos pauvres jardins tout en déroute, les maisons ouvertes, saccagées, et tous ces bandits installés chez nous, s'appelant d'une fenêtre à l'autre et faisant sécher leurs tricots de laine sur nos persiennes, nos

РАССКАЗ ВЕЛИЗАРИЯ

(Перевод с французского)

Вот что я слышал на прошлой неделе в одном кабачке на Монмартре. Для того, чтобы хорошо передать вам все это, мне бы нужен особый жаргон, употребляемый в предместьях, большой передник столяра Велизария и два-три стаканчика того белого винца, какое даже жителю Марсели может дать чистый парижский акцент. Тогда и по вашим жилам пробежал бы тот трепет, который я чувствовал, слыша, как за общим столом Велизарий рассказывал эту мрачную правдивую историю.

Это было на другой день после заключения перемирия. Жена послала меня с ребенком прогуляться в Вильнев, чтобы справиться там насчет нашегодомишки над рекой, о котором мы ничего не знали с самого начала осады. Мне не хотелось брать с собою мальчугана. Я знал, что там везде будем встречать пруссаков, а так как до этих пор я их в глаза не видел, то и боялся, чтобы со мной не случилась какая-либо история. Но старуха крепко держалась на своем: – Ступай! Ступай! пусть и ребенок подышит свежим воздухом.

По правде сказать, он, действительно, нуждался в этом после пятимесячной осады!

Итак, мы отправились вдвоем прямо через поля. Уж и не сказать вам, как малец был рад, когда увидел, что есть еще деревья, птицы и что он опять может пачкаться на свежеизрытой земле. Мне-то не слишком было весело; на пути больно часто попадались острокопечные каски. Только их и было видно, – да какие нахалы! Так и нужно было всеми силами сдерживаться, чтобы не наделать скандала. Но пуще всего я злился, когда мы вошли в Вильнев, когда я увидел наши разоренные садики, отпертые и ограбленные дома и всех этих разбойников, расположившихся у нас, перекликавшихся из окон и сушивших свои шерстяные чулки на наших окнах и ставнях. Хорошо, что мальчик был возле меня, и всякий раз, когда рука слишком у меня чесалась, глядя на него, я говорил себе: – Смотри,

treillages. Heureusement que l'enfant marchait près de moi, et chaque fois que la main me démangeait trop, je me pensais en le regardant :

« Chaud là, Bélisaire !... Prenons garde qu'il n'arrive pas malheur au moutard. » Rien que ça m'empêchait de faire des bêtises. Alors je compris pourquoi la mère avait voulu que je l'emmène avec moi.

« La baraque est au bout du pays, la dernière à main droite, sur le quai. Je la trouvai vidée du haut en bas, comme les autres. Plus un meuble, plus une vitre. Rien que quelques bottes de paille et le dernier pied du grand fauteuil qui grésillait dans la cheminée. Ça sentait le Prussien partout, mais on n'en voyait nulle part... Pourtant il me semblait que quelque chose remuait dans le sous-sol. J'avais là un petit établi où je m'amusais à faire des bricoles le dimanche. Je dis à l'enfant de m'attendre, et je descendis voir.

« Pas plus tôt la porte ouverte, voilà un grand cheulard de soldat à Guillaume qui se lève en grognant de dessus les copeaux et vient vers moi, les yeux hors de la tête, avec un tas de jurements que je ne comprends pas. Faut croire qu'il avait le réveil bien méchant, cet animal-là ; car, au premier mot que j'essayai de lui dire, il se mit à tirer son sabre...

« Pour le coup, mon sang ne fit qu'un tour.

Toute la bile que j'amassais depuis une heure me sauta à la figure... J'agrippe le valet de l'établi et je cogne... Vous savez, compagnons, si Bélisaire a le poignet solide à l'ordinaire ; mais il paraît que ce jour-là j'avais le tonnerre de Dieu au bout de mon bras... Au premier coup, mon Prussien fait bonhomme et s'étale de tout son long. Je ne le croyais qu'étourdi. Ah ! ben, oui... Nettoyé, mes enfants, tout ce qu'il y a de mieux, comme nettoyage. Débarbouillé à la potasse, quoi !

« Moi, qui n'avais jamais rien tué dans ma vie, pas même une alouette, ça me fit tout de même drôle de voir ce grand corps devant moi... Un joli blond, ma foi, avec une petite barbe follette qui frisait comme des copeaux de frêne. J'en avais les deux jambes qui me tremblaient en le regardant. Pendant ce temps-là, le gamin s'ennuyait là-haut, et je l'entendais crier de toutes ses forces : « Papa ! papa ! »

« Des Prussiens passaient sur la route, on voyait leurs sabres et leurs grandes jambes par le soupirail du sous-sol. Cette idée me vint tout d'un coup : « S'ils entrent, l'enfant est perdu... ils vont tout massacrer. » Ce fut vite fini, je ne tremblai plus. Vite, je fourrai le Prussien sous l'établi. Je lui mis dessus tout ce que je pus trouver de planches, de copeaux, de sciure, et je remontai chercher le petit.

« – Arrive...

Велизарий, берегись, чтобы несчастье не случилось с мальчуганом. — Это удерживало меня от всяких глупостей, и тогда я понял, почему мать навязала мне ребенка.

Домишко стоит на конце деревни, на набережной, последним на правой руке. Я нашел его, как и другие, сверху до низу пустым. Не было ни мебели, ни хотя бы одного целого стекла, в комнате осталось только несколько вязанок соломы, и последняя нога больших кресел догорала в камине. Везде слышен был запах пруссаков, но нигде их не было видно.... Однако ж мне показалось, что что-то шевелится в подполье. У меня там была маленькая мастерская, где я по праздникам от нечего делать мастерил разные безделушки. Сказав мальчику, чтобы он подождал, я сошел вниз посмотреть, что там делается.

Едва я отворил двери, как с кучи стружек поднялся большущий вильгельмовский солдат и начал подходить ко мне, свирепо ворочая глазами и ругаясь непонятными для меня словами. Должно быть, он проснулся не в духе, потому что — животное! — с первого слова, которое я ему сказал, начал вынимать из ножен свою саблю...

Тогда уже кровь во мне заиграла. Вся желчь и злоба, накопившаяся в течение последних двух часов, подступила к горлу... Я сгреб с верстака большой фуганок и стукнул солдата по башке. Знаете, братцы, что у Велизария кулак всегда здоровый, но, кажется, что в этот день молния была в моей руке. С первого удара мой пруссак сделал — пай! и раскинулся во всю длину. Я сначала думал, что только оглушил его, но — нет! готов... Совсем готов и отделан... под орех! Вот тебе на!

В жизни своей я никогда никого не убивал, — даже воробья, так что совсем мне неловко стало, когда я увидел перед собой это большое тело.... А право, красивый был блондинчик, с бородкой, вьющейся, как мелкая стружка. Поджилки тряслись у меня, когда я глядел на него. В это время мальчуган начал скучать наверху, и я услышал, как он во все горло орет: — Папа! Папа!

Пруссак проходили по улице; через окошки подполья видны были их сабли и большие ноги. Тогда мне, вдруг, пришло в голову: — «Если они сюда взойдут, ребенок пропал... все разнесут». Тут и конец, я перестал дрожать. Поскорее я запихал пруссака под верстак, сбросал на него все попавшиеся под руку доски, стружки и опилки и пошел наверх за мальчиком.

— Пойдем!

— Что с тобой папа? Какой ты бледный!

— Иди, иди...

« – Qu'est-ce qu'il y a donc, papa ? Comme tu es pâle !...

« – Marche, marche. »

« Et je vous réponds que les Cosaques pouvaient me bousculer, me regarder de travers, je ne réclamais pas. Il me semblait toujours qu'on courait, qu'on criait derrière nous. Une fois j'entendis un cheval nous arriver dessus à grande volée ; je crus que j'allais tomber de saisissement. Pourtant, après les ponts, je commençai à me reconnaître. Saint-Denis était plein de monde. Il n'y avait pas de risque qu'on nous repêche dans le tas. Alors seulement je pensai à notre pauvre baraque. Les Prussiens, pour se venger, étaient dans le cas d'y mettre le feu, quand ils retrouveraient leur camarade, sans compter que mon voisin Jacquot, le garde-pêche, était seul de Français dans le pays et que ça pouvait lui faire arriver de la peine, ce soldat tué près de chez lui. Vraiment ce n'était guère crâne de se sauver de cette façon-là.

« J'aurais dû m'arranger au moins pour le faire disparaître... À mesure que nous arrivions vers Paris, cette idée me tracassait davantage. Il n'y a pas, ça me gênait de laisser ce Prussien dans ma cave. Aussi, au rempart, je n'y tins plus :

« – Va devant, que je dis au mioche. J'ai encore une pratique à voir à Saint-Denis. »

« Là-dessus je l'embrasse et je m'en retourne.

Le cœur me battait bien un peu ; mais, c'est égal, je me sentais à l'aise de n'avoir plus l'enfant avec moi.

« Quand je rentrai dans Villeneuve, il commençait à faire nuit. J'ouvrais l'œil, vous pensez, et je n'avançais qu'une patte après l'autre. Pourtant le pays avait l'air assez tranquille. Je voyais la baraque toujours à sa place, là-bas, dans le brouillard. Au bord du quai, une longue palissade noire ; c'étaient les

Prussiens qui faisaient l'appel. Bonne occasion pour trouver la maison vide. En filant le long des clôtures, j'aperçus le père Jacquot dans la cour en train d'étendre ses éperviers. Décidément on ne savait rien encore... J'entre chez nous. Je descends, je tâte. Le Prussien était toujours sous ses coteaux ; il y avait même deux gros rats en train de lui travailler son casque, et ça me fit une fière souleur de sentir cette mentonnière remuer.

Un moment, je crus que le mort allait revenir...

Mais non ! sa tête était lourde, froide. Je m'accouvai dans un coin, et j'attendis ; j'avais mon idée de le jeter à la Seine, quand les autres seraient couchés...

Мы и пошли, но даю вам слово, что тогда всякий мог бы меня толкнуть или обругать, и я ничего бы ему не сказал. Мне все казалось, что кто-то бежит и кричит позади нас. Когда я услышал, что кто-то на полном скаку верхом нагоняет нас, я чуть было не упал с перепугу. Однако ж, пройдя мост, я начал приходить в себя. В Сен-Дени было полно народа; тут уже ни за что не поймали бы меня в толпе, но тогда я начал думать о нашем бедном домике. Пруссак, найдя мертвым одного из своих товарищей, наверное, сожгли бы дом; кроме того, наш сосед Яков, речной сторож, единственный француз, оставшийся в деревне, мог бы иметь большие неприятности по случаю так близко убитого солдата. При таких обстоятельствах совсем не хорошо было уходить втихомолку.

Надо было устроить так, чтобы он исчез. ... По мере того, как мы приближались к Парижу, эта мысль все больше беспокоила меня. Никак невозможно было оставить пруссак в погребке, и когда мы подошли к окопам, я не выдержал:

— Ступай домой, — сказал я мальцу. — Мне еще нужно повидаться с одним знакомым в С.-Дени. Поцеловав его, я вернулся обратно. Правда, сердце крепко у меня стучало, но все равно, — я рад был, что ребенок уже не со мной.

Начинало смеркаться, когда я вернулся в Вильнев. Понимаете, что я держал ухо востро и шаг за шагом подвигался вперед. Однако ж деревня казалась совсем спокойной. Домишко, как в тумане, все стоял на своем месте. На набережной виднелся какой-то длинный черный — не то заплот, я и сам не знал, что такое; но оказалось, что это пруссаки выстроились на вечернюю переключку. И то ладно, — в доме никого не будет. Скользя вдоль забора, я увидел соседа Якова, спокойно развешивающего во дворе свои сети. Стало быть, ничего еще не знают... Прихожу домой, спускаюсь в подполье и щупаю. Мой пруссак все лежит на своем месте, под стружками; даже две небольшие крысы залезли в его каску, а меня в пот бросило — когда они там зашевелились. Было мгновение, когда я думал, что он придет в себя... но нет! Голова была тяжелая и холодная. Я присел в уголке и ждал; я задумал спроводить его в Сену, когда все улягутся...

Не знаю было ли это вследствие близкого соседства с покойником, но прусская вечерняя зоря показалась мне тогда особенно гру-

« Je ne sais pas si c'est le voisinage du mort, mais elle m'a paru joliment triste, ce soir-là, la retraite des Prussiens. De grands coups de trompette qui sonnaient trois par trois : Ta ! ta ! ta ! Une vraie musique de crapaud. Ce n'est pas sur cet air-là que nos lignards voudraient se coucher, eux...

« Pendant cinq minutes, j'entendis traîner des sabres, taper des portes ; puis des soldats entrèrent dans la cour, et ils se mirent à appeler :

« Hofmann ! Hofmann ! »

« Le pauvre Hofmann se tenait sous ses copeaux, bien tranquille... Mais c'est moi qui me faisais vieux !... À chaque instant je m'attendais à les voir entrer dans le sous-sol. J'avais ramassé le sabre du mort, et j'étais là, sans bouger, à me dire dans moi-même : « Si tu en réchappes, mon petit père,.. tu devras un fameux cierge à saint Jean-

Baptiste de Belleville !... »

« Tout de même, quand ils eurent assez appelé Hofmann, mes locataires se décidèrent à rentrer.

J'entendis leurs grosses bottes dans l'escalier et, au bout d'un moment, toute la baraque ronflait comme une horloge de campagne. Je n'attendais que cela pour sortir.

« La berge était déserte, toutes les maisons éteintes. Bonne affaire. Je redescends vivement, je tire mon Hofmann de dessous l'établi, je le mets debout, et le hisse sur mon dos, comme un crochet de commissionnaire... C'est qu'il était lourd, le brigand !... Avec ça la peur, rien dans le battant depuis le matin... Je croyais que je n'aurais jamais la force d'arriver. Puis, voilà qu'au milieu du quai je sens quelqu'un qui marche derrière moi. Je me retourne. Personne...

C'était la lune qui se levait... Je me dis : « Gare, tout à l'heure... les factionnaires vont tirer. »

« Pour comble d'agrément, la Seine était basse. Si je l'avais jeté là sur le bord, il y serait resté comme dans une cuvette... J'entre, j'avance... Toujours pas d'eau... Je n'en pouvais plus : j'avais les articulations grippées...

Finalement, quand je me crois assez avant, je lâche mon bonhomme... Va te promener, le voilà qui s'envase. Plus moyen de le faire bouger. Je pousse, je pousse... hue donc !... Par bonheur, il arrive un coup de vent d'est. La Seine se soulève, et je sens le macchabée qui démarre tout doucement. Bon voyage ! j'avale une potée d'eau et je remonte vite sur la berge.

стной. Большие трубы в три темпа ревели: – Та, та, та! Черт знает, что за музыка. Под этот мотив наши линейцы не захотели бы ложиться спать...

Жду пять минут, слышу, как брякают сабли, стучат двери; затем солдаты входят во двор и начинают звать:

– Гофман! Гофман!

Бедный Гофман смирехонько лежит под стружками... но у меня душа совсем в пятки ушла. ... Каждую секунду я ждал, что они покажутся в подполье. Я поднял саблю покойного и сидел не шевелясь, мысленно говоря себе: – «Ну, батенька, если выкрутишься на этот раз, то должен поставить большую свечу св. Иоанну...».

Однако ж, когда мои квартиранты вволю накричались, зовя своего Гофмана, они наконец решились идти спать. Я слышал, как они стучали на лестнице своими сапогами, и скоро по всему дому раздался громкий храп. Этого-то я и ждал, чтобы отправиться в путь, но сначала я пошел посмотреть, что делается кругом дома.

На набережной никого не было, во всех домах потушили огни. Дело хорошее. Скорее спускаюсь в подполье. Вытаскиваю моего Гофмана из-под верстака, кое-как ставлю на ноги и нагружаю себе на спину, как носилки рассыльного...

Тяжел же был разбойник! При этом страхе; в желудке с самого утра ничего не было... Я думал, что никогда не дотащусь. Вдруг, посередине набережной мне показалось, что кто-то идет за мной. Я оглянулся, – никого нет... Новая беда! Луна начинает всходить... говорю себе: – теперь берегись, часовые сейчас начнут палить.

В довершение всего вода в Сене очень малая. Если бы я его бросил тут же возле берега, то он бы там и остался... Спускаюсь вниз и иду вперед, воды все нет. Я страшно утомился и почти околел... Наконец, когда мне показалось, что я уже отошел довольно далеко от берега, бросаю моего солдатику... ступай, – но он завяз в тине. Никак не сдвинуть его с места. Пихаю, толкаю... ничего не могу поделать... К счастью подул западный ветер и погнал воду к берегу, я почувствовал, что мой пруссак снялся с якоря и тихонько отчаливает

Счастливого пути. Я почерпнул рукой воды, выпил и поскорее выбрался на набережную.

« Quand je repassai le pont de Villeneuve, on voyait quelque chose de noir au milieu de la

Seine. De loin, ça avait l'air d'un bachot. C'était mon Prussien qui descendait du côté d'Argenteuil, en suivant le fil de l'eau. »

Daudet, A. Le Prussien de Bélisaire [La ressource électronique] / A. Daudet // Les Contes du lundi – Paris : Bibliothèque-Charpentier, 1892. – P. 85–92. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k66328v/f93.item>

Когда я возле деревни проходил по мосту, посередине реки чернелось что-то похожее на маленькую лодку. Это был мой пруссак, медленно уносимый течением Сены.

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1894. №43 (13 апреля). С. 2. Перевод «А. С-кий» [А.О. Станиславский])

Литература

Родченко Ю.И. Новеллистика А. Доде в томских переводах // Французская литература в томской периодике конца XIX – начала XX в.: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. – Томск, 2014. – С. 87–100.

Родченко Ю.И. Особенности критической рецепции французской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX в. (на материале «Сибирского вестника» и «Сибирской жизни») / Ю.И. Родченко // Имагология и компаративистика. – 2015. – № 2 (4) – С. 158–177.



Франсуа Коппе
(François Coppée, 1842–1908)

Франсуа Коппе (François Coppée, 1842–1908) – французский поэт, драматург и прозаик, с 1885 г. член Французской академии. Создал жанр социально-филантропического рассказа в стихах. Поэзия Коппе, отмеченная назидательным патриотизмом и интересом к чувствам простых людей, сделала его одним из самых популярных поэтов в эпоху Третьей республики. Ему также принадлежит несколько пьес, имевших шумный успех у зрителей. Произведения Коппе многократно издавались в России в конце XIX в. (переводы избранных стихотворений под редакцией П.И. Вейнберга, пьес – О.Н. Чюминой и др.). Менее известная новеллистика Коппе, запечатлевшая идеализированный образ обывательского мирка и воспевающая достоинства мещанской морали, отчетливо перекликается с прозаическим творчеством А. Доде. В конце жизни Коппе становится ревностным католиком, выступает в деле Дрейфуса на стороне антисемитов и в течение ряда лет состоит почетным президентом черносотенной «Лиги французского отечества».

Переводы

В томской периодике появилось пять переводов новелл Коппе, четыре из которых объединены общей тематикой, повествующих о тяготах жизни простых людей из народа. В центре новеллы «Прощаю!» (в оригинале «Le pardon») находится бедный ремесленник Тони Робе. Героем новеллы «Кусок хлеба» («Le morceau de pain») из сборника «Двадцать новых рассказов» («Vingt contes nouveaux», 1883) является вечно голодный сирота Жан-Виктор. В новелле «Ревность» («Jalousie») из сборника «Быстрые рассказы» («Contes rapides», 1888) речь идет о небогатом кассире, укравшем деньги из собственного магазина, чтобы купить подарок своей возлюбленной. Главный герой новеллы «Рождественский подарок» (в оригинале «Les fiancés de Noël») из сборника «Рассказы на праздничные дни» («Contes pour les jours de fête», 1903) – бедный художник Дезире Мюге, вынужденный отказаться от творческой карьеры, чтобы содержать свою больную мать. Лишь содержание еще одной новеллы «Воспоминания сына» («Souvenir filial») разительно отличается от остальных, опубликованных в Томске, и представляет собой воспоминания юноши о своей умершей матери, которую он считает святой и сравнивает с Божией Матерью. В надежде встретиться с

ней в вечной жизни герой обращается с молитвой к Богу. Эта новелла стала частью сборника «Благодатное страдание» («La Bonne Souffrance», 1898), отразившего религиозные взгляды писателя. В целом сентиментально-бытовые новеллы Коппе так же как и новелла о любви героя к умершей матери, были близки и понятны среднестатистическому томскому читателю, поэтому и были выбраны для публикаций в местных газетах.

JALOUSIE (Manuscrit d'un prisonnier)

Demain matin, j'aurai fait les six mois de détention auxquels j'ai été condamné pour avoir volé deux mille francs dans la caisse de mon patron ; demain matin, j'aurai expié ma faute, subi toute ma peine.

A huit heures, le gardien entrera dans ma cellule. Il m'apportera les vêtements que j'ai dû échanger, en entrant ici, contre le costume des détenus ; ils étaient neufs, je m'en souviens, et, quand je les aurai mis, je reprendrai l'apparence d'un jeune homme comme un autre, assez élégant même. Je n'aurai plus qu'à descendre au greffe, où on lèvera mon écrou, et à rejoindre Marguerite, qui m'a promis de m'attendre dans un fiacre à la sortie de la prison. Je serai libre !

Je serai libre, et je pourrai encore être heureux ; car Marguerite, pour qui j'ai commis ce vol, me jure dans sa lettre d'hier qu'elle m'aime toujours et que nous vivrons ensemble comme mari et femme, ainsi qu'autrefois. Dans ce grand Paris où l'on peut cacher facilement son passé, un garçon comme moi, énergique, payant de mine et ayant l'instinct du commerce, – avant mon malheur, mon patron songeait à me prendre pour associé, – un garçon comme moi, dis-je, finira bien par trouver une place. Je me sens plein d'un indomptable courage, et je suis prêt à travailler comme un cheval d'omnibus pour gagner ma vie et celle de Marguerite.

Публикации

1. Коппе Ф. Прощаю! / А. Михайлович // Сибирский вестник. – 1894. – № 47 (27 апреля). – С. 1–3.
2. Коппе Ф. Кусок хлеба / И.М. О-вич // Сибирский вестник. – 1898. – № 209 (29 сентября). – С. 2.
3. Коппе Ф. Ревность / А. Ф-ман // Сибирский вестник. – 1900. – № 54 (9 марта). – С. 2; № 58 (14 марта). – С. 2.
4. Коппе Ф. Воспоминания сына / В. Я-ва // Сибирский вестник. – 1900. – № 117 (1 июня). – С. 2.
5. Коппе Ф. Ревность // Сибирская жизнь. – 1900. – № 212 (1 октября). – С. 2; № 214 (4 октября). – С. 2.
6. Коппе Ф. Рождественский подарок / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1900. – № 237 (2 ноября). – С. 2–3.

РЕВНОСТЬ (Записки заключенного)

Завтра утром оканчивается шестимесячный срок заключения, к которому я был приговорен за кражу двух тысяч франков из кассы моего патрона. Завтра утром мое преступление будет считаться искупленным, наказание отбытым.

В восемь часов тюремный страж войдет в мою камеру. Он принесет мне платье, которое я должен был переменить на арестантский костюм, войдя сюда.

Я помню, оно было совсем новое, и когда я надену его, я буду таким же, как и все другие, и даже буду иметь вид довольно элегантный. Мне останется только пройти в тюремную канцелярию, где возьмут мою подпись, и затем отправиться к Маргарите, которая обещала ждать меня в фиакре у тюремных ворот. Я буду свободен!

Я буду свободен и могу быть еще счастливым, потому что Маргарита, для которой я совершил воровство, клянется мне в своем вчерашнем письме, что она все еще любит меня, и что мы будем жить по-прежнему, как супруги. В этом огромном Париже, где легко можно скрыть свое прошлое, человеку, как я, обладающему энергией, довольно представительной наружностью и врожденной способностью к коммерции, – до случившегося несчастья мой патрон хотел

D'ailleurs, à plus tard les affaires sérieuses. Ne pensons qu'à demain, à demain dont je suis sûr et qui sera délicieux. Dès que j'aurai franchi la porte de la prison, j'apercevrai dans l'ombre de la voiture le joli visage de Marguerite, pâle d'émotion sous la voilette. Je jetterai l'adresse au cocher en lui donnant cent sous pour qu'il aille bon train, je sauterai dans le fiacre, qui partira au grand trot, et la pauvre fille tombera en pleurant sur ma poitrine. Quel baiser !

Nous rentrerons chez nous, dans notre chambre haute de la rue Madame, d'où l'on voit tout le jardin du Luxembourg. Par cette belle fin de Septembre, si sereine et si pure, les arbres doivent être admirables avec leurs feuilles flétries. Nous dresserons le couvert auprès de la fenêtre ouverte ; un doux rayon de soleil caressera la nappe blanche et fera étinceler la vaisselle, et nous déjeunerons gaiement, sans pouvoir nous quitter des yeux, nous taisant, attendris, ou bavardant et faisant mille projets. Après m'avoir versé mon café, Marguerite viendra s'asseoir auprès de moi, comme jadis ; elle joindra sur mon épaule ses deux mains, et posera dessus son gentil menton, en me regardant de tout près. Je respirerai sa fine odeur de blonde, ses cheveux chatouilleront mes lèvres, je lui montrerai le lit du doigt, son clignement d'yeux consentira ; et alors, vite, vite, je fermerai les volets, la fenêtre, les rideaux, elle allumera les bougies, j'arracherai mes vêtements, et, tandis qu'elle se déshabillera, plus lente, je l'attendrai, frémissant, le coude dans l'oreiller, et tant mieux si mon cœur éclate et si je meurs de joie, quand je verrai sa nuque et ses épaules émergeant de son corset de satin noir et son voluptueux sourire reflété dans l'armoire à glace !

Oui ! voilà ce que je puis avoir demain, après ces six mois de solitude, d'horrible solitude. Voilà ce que je puis avoir demain, si je veux. La liberté, le bonheur, l'amour !...

Eh bien, cela ne sera pas. Je me tuerai tout à l'heure, quand j'aurai noirci ces quelques feuillets où j'essaie de m'expliquer à moi-même la cause de mon impérieux besoin de mourir. Ah ! le gardien, qui, malgré le règlement, a bien voulu me vendre le rat de cave à la lueur duquel j'écris ces lignes, et qui, demain, quand il viendra pour me délivrer, me trouvera pendu à l'un de ces barreaux, raide, déjà froid, la face noire et la langue tirée, sera bien surpris, n'est-ce pas ? Les choses se passeront ainsi, pourtant. Je me pendrai à minuit.

Réfléchissons, tâchons de voir clair dans les sentiments qui m'agitent.

D'abord, il faut bien l'avouer, je n'ai aucun remords de ma mauvaise action. J'ai cependant commis un indigne abus de confiance, j'ai volé un

даже взять меня в компаньоны, — такому человеку нетрудно найти какое-нибудь подходящее место. Я чувствую в себе смелость и мужество и готов работать, как омнибусная лошадь, чтобы обеспечить свою жизнь и жизнь Маргариты.

Но отложим эти серьезные вопросы. Будем думать только о завтрашнем дне, в котором я уверен. Как только переступлю я порог тюрьмы, я увижу в глубине экипажа хорошенькое личико Маргариты, бледное от волнения под своею вуалью. Я скажу кучеру адрес, дам ему сто су, чтобы он ехал поскорее; вскочу в фиакр, который быстро помчит нас. Бедная Маргарита вся в слезах упадет ко мне на грудь. Каким поцелуем обменяемся мы!

Мы войдем к себе, в нашу комнату верхнего этажа, из окна которой виден весь Люксембургский сад. В этот чудный конец сентября, ясный и чистый, деревья должны быть восхитительны со своими пожелтевшими листьями. Мы накроем стол подле открытого окна. Нежный солнечный луч будет скользить по белой скатерти, освещать посуду, и мы будем весело обедать, не отрывая друг от друга глаз, будем молчать, умиленные, растроганные, или же болтать без умолку и строить тысячу проектов. Налив мне кофе, Маргарита присядет возле меня, как делала это раньше. Она положит обе руки на мое плечо, обопрется своим хорошеньким подбородком и будет смотреть мне в глаза. Я буду слышать ее дыхание, буду чувствовать аромат ее белокурых волос, которые будут щекотать мои губы ... и я нежно и горячо заключу ее в свои объятия.

Да! Вот что будет завтра, после шести месяцев одиночества, ужасного одиночества! Вот что я могу иметь завтра, если захочу. Свобода, счастье и любовь!

Ну, так ничего же этого не будет.

Я лишу себя жизни сейчас же, как только испишу эти несколько листков, на которых я попытаюсь объяснить самому себе причину моей непреодолимой потребности умереть. О, страж, который, вопреки правилам, охотно продал мне свечу, при свете которой я пишу эти строки, будет очень удивлен, когда придет ко мне завтра, чтобы вывести меня на свободу, и увидит меня висящим на одной из этих перекладин, холодного уже, почерневшим, с высунутым языком... И все это именно так и случится. Я повешусь в двенадцать часов ночи.

Постараемся разобраться в чувствах, волнующих меня.

Прежде всего, должен в этом сознаться, мое преступление не вызывает во мне укоров совести. А между тем я низко злоупотребил

homme qui était juste et bienveillant pour moi, qui rétribuait honorablement mon travail, se souciait de mon avenir, m'estimait assez pour vouloir m'associer à ses affaires. Mais, il n'y a pas à me le dissimuler, je n'éprouve point de repentir. Ce serait à refaire ?... Oui ! si je sentais encore le bras de Marguerite frémir sur le mien, devant la vitrine de ce joaillier, si je voyais encore ses yeux avides de désir en regardant ce petit bracelet orné de brillants, eh bien, je volerais encore les cent louis dans ma caisse et je lui donnerais le bijou. Suis-je un scélérat, ou un aliéné ? Je n'en sais rien, mais je recommencerais.

Oh ! cette femme ! Comme je l'ai aimée, tout de suite, au premier choc de nos regards !

Je me rappelle. Deux camarades m'avaient offert de les accompagner dans ce bal public, du côté de Montmartre. J'avais refusé d'abord, j'étais un peu las. Je voulais me coucher de bonne heure. Ils insistèrent, et je les suivis.

L'orchestre jouait une polka dont le motif vulgaire était durement dessiné par le cornet à piston, et autour de l'espace bitumé où sautaient quelques couples, la foule tournait sans cesse, stupidement, sous les maigres arbustes dont le feuillage, éclairé en dessous par le gaz, avait des tons de papier peint. Deux femmes vinrent à notre rencontre. La plus grande, une brune très maquillée, – le type de la fille de restaurant nocturne, – connaissait un de mes compagnons ; elle nous demanda effrontément de lui payer à boire. On s'attabla, et je m'assis auprès de l'autre femme, de la blonde, déjà séduit par son délicat et gracieux visage, par son maintien réservé, presque timide. Il était facile de voir qu'elle ne courait les bals que depuis très peu de temps. Point de bijoux et une pauvre robe noire déjà usée, une robe d'honnête fille.

Son chapeau seul, un feutre tapageur à plume rose, autorisait le premier venu à lui dire : « Viens-tu souper ? » Ce chapeau était une enseigne.

Nous causâmes : sa voix était douce comme ses yeux. Aucun cynisme. Un de mes camarades lui ayant adressé un compliment brutal, elle ne lui répondit que par un sourire gêné, où il y avait de la politesse, de la résignation et du dégoût. Elle charmait en inspirant la pitié, et elle me fit songer – je n'ai pourtant rien d'un poète – au reflet d'une étoile dans le ruisseau. Dans le premier baiser que je lui donnai, lorsque nous fûmes montés tous deux en voiture, à la sortie du bal, il y avait déjà de la tendresse.

La nuit que nous passâmes ensemble, – oh ! je crois encore sentir la chaleur de ses larmes, quand elle pleurait sur mon épaule en me racontant

доверием, я обокрал человека, который был всегда справедлив и добр по отношению ко мне, который щедро оплачивал мою работу, заботился о моем будущем, уважал меня настолько, что хотел сделать меня компаньоном в своем деле. И тем не менее, к чему мне это скрывать, я не чувствую раскаяния. Возможно ли повторение этого?.. Да, если бы я чувствовал руку Маргариты, дрожащую в моей руке в то время, когда мы стояли перед витриной ювелира, если бы я видел ее глаза, жадно устремленные на маленький браслет с бриллиантами, я бы еще раз украл из кассы эти сто луидоров и купил бы ей этот браслет. Преступник я или сумасшедший? Но я повторил бы то, что сделал уже раз.

О, эта женщина! Как быстро вспыхнула моя любовь к ней, при первом взгляде!

Я помню все. Два моих приятеля предложили мне отправиться на бал, бывший в одном из салонов Монматра. Сначала я было отказался, чувствовал себя усталым, и мне хотелось лечь пораньше. Но они настаивали, и я уступил им.

Оркестр играл польку, вульгарный мотив которой резко подчеркивался *cornet a piston*. Несколько пар танцевало, толпа ходила взад и вперед между тощими деревьями, казавшимися при свете газа декоративными. Навстречу нам шли две женщины. Более высокая из них, брюнетка с нарумяненным лицом – типичная посетительница садовых балов – знала одного из моих товарищей и потребовала, чтобы он угостил ее вином. Мы уселись за стол, причем я занял место подле другой женщины, блондинки, покоренный уже ее нежным, грациозным лицом, ее сдержанной, почти застенчивой манерой держаться. Было видно, что она только недавно стала посещать подобные сборища. Никаких украшений – простенькое черное платье, уже поношенное, платье честной девушки.

Только одна шляпа, оригинально изогнутый фетр с розовым пером, давала [повод] подойти к ней первому встречному и сказать: «Хочешь ужинать?». Шляпа эта была своего рода вывеской.

Мы разговорились: голос ее был так же нежен, как и глаза. Ни малейшего цинизма. Один из моих товарищей обратился к ней с каким-то грубым комплиментом, она ответила на него лишь смущенной улыбкой, в которой выразились в одно время и вежливость, и решимость, и отвращение. Она производила всей своей особой чарующее впечатление и в то же время возбуждала жалость; мне невольно пришло в голову сравнение, хотя я совсем не поэт, с отраже-

son enfance vagabonde sur les trottoirs de Paris, sa jeunesse de misère, sa chute piteuse et inévitable, – cette nuit-là fut telle que, peu de jours après, j'arrachais Marguerite à sa honteuse misère et qu'elle venait vivre avec moi.

C'était une folie. Je n'avais pour toutes ressources que mes appointements de caissier au « Petit-Saint-Germain ». Pourtant, si Marguerite avait eu un peu d'économie, quelques instincts de femme de ménage, on aurait pu s'en tirer tout de même. Mais il n'en était rien. Naturellement douce, le cœur froid et la chair ardente, tombée dans la débauche plutôt par faiblesse que par goût, Marguerite était la vraie gamine de Paris, paresseuse et ivre de chiffons, qui s'attarde au lit jusqu'à midi, le nez dans un roman, et qui se nourrit de salade pendant huit jours pour s'acheter une paire de bas de soie.

Bientôt mon petit ménage fut dans un complet désordre. Le soir, quand je revenais du magasin, je trouvais Marguerite encore en peignoir du matin, en train de faire des « réussites » ; elle n'avait même pas songé au souper, et il fallait envoyer la concierge acheter des charcuteries.

Quand j'essayais de faire quelques remontrances à ma maîtresse, elle me disait simplement, sans se fâcher : « Je sais bien que je ne suis pas la femme qu'il te faut... Qu'est-ce que tu veux y faire ?... Quitte-moi. Je n'aurai pas le droit de me plaindre. »

Et je ne savais que répondre, furieux de penser qu'elle ne tenait guère à moi et que je ne pouvais plus me passer d'elle.

La quitter ? J'y avais bien songé quelquefois, dans les premiers temps. Mais l'idée qu'elle me dirait assez froidement adieu, qu'elle retournerait le soir même dans l'horrible bal où je l'avais ramassée et qu'un passant l'emmènerait chez lui pour une ou deux pièces de vingt francs... oh ! cette idée-là m'était insupportable. La quitter ! Mais, rien qu'en me disant que je me réveillerais le lendemain sans sentir la chaleur de son corps auprès de moi, j'éprouvais comme une défaillance. En quelques semaines, le besoin que j'avais de cette femme avait pris l'ardeur d'une passion et la force d'une habitude.

Je l'aimais ! je l'aimais !... Elle me possédait, quoi !

Quand j'avais fait connaissance avec Marguerite, elle habitait une sordide chambre d'hôtel garni et ne possédait qu'un peu de linge, la pauvre robe qu'elle avait sur le corps, et cet horrible chapeau à plume rose qui l'affichait dans les bals publics. Pour l'habiller plus décemment, pour lui faire un petit trousseau, j'avais sacrifié toutes mes économies et je m'étais même endetté. Son désordre, son manque de soins, les nouvelles dépenses que je fis pour la distraire, pour la mener au spectacle, au café-

нием звезд в ручье. И в первом поцелуе, которым мы обменялись, очутившись вдвоем в экипаже в тот вечер, с моей стороны была уже нежность.

Я чувствую до сих пор ее горячие слезы, которые она пролила, склонившись ко мне на плечо и рассказывая о своем ужасном детстве, протекшем на тротуарах Парижа, о своей молодости, полной лишений, о своем неизбежном, надрывающем душу падении. После этой ночи я вырвал Маргариту из постыдной нищеты и поселил ее у себя.

Это было безумие. Единственными моими средствами было жалование кассира в магазине «Petit Saint-Germain». Тем не менее, если бы Маргарита была несколько экономна, можно было как-нибудь устроиться жить. Но ничего подобного не было.

Кроткая и нежная по натуре, с холодным сердцем и горячей кровью, опустившаяся до разврата скорее по слабости, чем по склонности, Маргарита была истинной парижской гризеткой, ленивой и обожающей наряды, валяющейся на кровати, уткнувшись носом в роман, готовой целую неделю питаться одним салатом, чтобы купить себе шелковую пару чулок.

Вскоре мое маленькое хозяйство пришло в полнейшее расстройство. Вечером, когда я возвращался из магазина, я заставал Маргариту в утреннем капоте, еще только предполагающую заняться своим туалетом. Об ужине она и не думала, и приходилось посылать консьержа за колбасой или ветчиной. Когда я пытался дать ей некоторые советы, упрекнуть ее в нерадении, она говорила мне совсем просто, не сердясь: «Я отлично знаю, что я не такая женщина, какую тебе надо... Что ж делать? Оставь меня. Я не буду иметь права жаловаться».

И я не знал, что ответить, злясь при мысли, что она совсем не дорожит мною, тогда как я не могу обойтись без нее.

Оставить ее? Я думал об этом иногда в первое время. Но мысль, что она холодно простится со мной, что она в тот же вечер отправится на этот ужасный бал, откуда я извлек ее, и что кто-нибудь увезет ее к себе за одну или две двадцатифранковые монеты... О! эта мысль была для меня невыносимой. Оставить ее! Да когда я подумаю, что я могу не видеть ее, не ощущать возле себя, я готов прийти в отчаяние. За несколько недель, проведенных мною с этой женщиной, мое чувство к ней приобрело горячность страсти, силу привычки.

Я любил ее! Любил! Она владела мною безраздельно.

concert, – j’avais peur qu’elle ne me quittât par ennui, – achevèrent rapidement ma ruine. J’étais en retard avec tous les fournisseurs ; je devais des sommes assez rondes à plusieurs de mes camarades. Mais je ne confiais pas mes soucis à Marguerite.

A quoi cela m’eût-il avancé ? Elle m’aurait dit encore, je le prévoyais, de sa voix douce et résignée : « Que veux-tu que j’y fasse ?... Séparons-nous. » Je m’efforçais donc de ne pas penser à la catastrophe certaine, feignant l’insouciance auprès de ma maîtresse, faisant avec elle une partie de plaisir dès que j’avais quelque argent ; mais, au fond du cœur, j’étais épouvanté de l’avenir.

Tous les hommes dans une position désespérée sont tentés de demander des ressources au jeu. Je le fus d’autant plus facilement que les commis du « Petit-Saint-Germain » parlaient constamment devant moi de leurs gains et de leurs pertes aux courses de chevaux qu’ils suivaient avec passion. Un jour, le chef du rayon des soieries, dont jusque-là les paris avaient été très heureux, affirma qu’il avait sur le résultat des prochaines courses d’Auteuil un renseignement excellent, donné par un jockey, un « bon tuyau », comme on dit dans l’argot spécial des bookmakers. D’après ce « tuyau », *Grain-de-Sel*, un cheval inconnu, remporterait le prix principal, et ceux qui parieraient pour lui gagneraient dix fois leur mise. Vainement le second vendeur des lainages vantait-il les *performances* du cheval favori, *Sept-de-Pique*, l’autre n’en voulait pas démordre et racontait, avec des airs mystérieux, une assez sale intrigue d’écurie où des sportsmen fameux étaient mêlés et qui devait donner la victoire à *Grain-de-Sel*.

Tant d’assurance me troubla.

– « Si j’avais encore, – me dis-je, – le billet de cinq cents francs qui était dans mon secrétaire quand Marguerite est venue habiter avec moi, je le risquerais certainement... Dix fois la mise ! Cinq mille francs !... Ce seraient toutes mes dettes payées, et la tranquillité, l’aisance, la paisible possession de Marguerite pour de longs mois. »

Mais il n’y avait que deux louis dans mon porte-monnaie. Je chassai donc ce rêve absurde en haussant les épaules.

J’avais promis à Marguerite, malgré ma pauvreté, de la conduire ce soir-là aux Folies-Bergère, où de très étranges clowns faisaient fureur. Nous y allâmes à pied, bras dessus bras dessous, pour épargner le prix d’un fiacre, et nous passâmes sous les galeries du Palais-Royal. Marguerite n’eût pas été femme si elle n’avait point fait deux ou trois haltes devant les vitrines des bijoutiers. Elle me montra un mince porte-bonheur orné de diamants qui excitait sa convoitise.

Когда я познакомился с Маргаритой, она жила в крошечном номере меблированных комнат и имела самое небольшое количество белья, простенькое, заношенное платье, надетое на ней, и эту ужасную шляпу с розовым пером, служившую для нее вывеской на публичных балах. Чтобы одеть ее более прилично, чтобы сделать ей маленькое приданое, я истратил все мои маленькие сбережения и даже несколько задолжал. Ее беспорядочность, отсутствие всякой заботливости, новые издержки, которые приходилось делать, чтобы рассеяться, поехать на спектакль, в кафе-концерт, я боялся, что она покинет меня с тоски, быстро завершили мое разорение. Я должен был довольно большие суммы моим товарищам. Но я не поверял моих забот и опасений Маргарите.

Чему бы это помогло? Она еще раз сказала бы мне, я это предвидел, своим кротким, безропотным голосом: «Чего же ты хочешь от меня? Ну, расстанемся». Я силился не думать о грозящей катастрофе, старался казаться беззаботным, находясь подле Маргариты, устраивал с нею *parties de plaisir*, как только у меня имелось хоть немного денег. Но в глубине души я страшился будущего.

Обыкновенно, находясь в моем отчаянном положении, испытывают счастье в игре. Я мог сделать это тем более легко, что служащие «*Petit-Saint-Germain*» постоянно говорили при мне о своих выигрышах и проигрышах на бегах и скачках, за которыми они следили с увлечением. Однажды заведующий шелковым отделением, который всегда был очень счастлив в своих пари, утверждал, что он имеет относительно исхода предстоящих скачек очень ценные указания от одного из жокеев. По словам этого жокея, приз возьмет совсем неизвестная лошадь, *Grain-de-Sel*, и те, которые будут держать за нее, выиграют в десять раз больше, чем их ставка.

Тщетно приказчик из отделения белья перечислял достоинства своей любимой лошади *Sept-de-Pique*, заведующий шелковым отделением утверждал, что победа будет за *Grain-de-Sel*, и рассказывал при этом с таинственным видом какую-то грязную конюшенную интригу, которая собственно и обеспечивала победу за названной им лошадью.

Такая уверенность взволновала меня.

Если бы у меня еще сохранился мой билет в 500 франков, находившийся в моей конторке в то время, как Маргарита переселилась ко мне, я бы непременно рискнул им. Увеличение ставки в десять раз! Пять тысяч франков!.. Уплата всех долгов, спокойствие, довольство, спокойное обладание Маргаритой в продолжение долгих

- « Dis donc, combien ça peut-il coûter, ce petit bracelet ?
– Eh ! eh ! – répondis-je, – une cinquantaine de louis... Pas moins. »
Elle s'éloigna de la vitrine, lentement, avec un long regard de regret.
– « Allons ! — dit-elle, — ces joujoux-là, c'est bon pour les autres ! »

A ce moment précis, par un de ces coups de pensée où l'on voit l'avenir prochain dans une lueur d'éclair, je me rappelai dans tous ses détails l'intrigue d'écurie racontée par mon camarade ; je conçus une confiance absolue dans le succès de *Grain-de-Sel* ; j'eus le cœur étreint par la tentation de prendre deux mille francs dans ma caisse, d'acheter le bracelet pour Marguerite et de jouer le reste ; j'imaginai un moyen de dissimuler le vol pendant quelques jours, afin de pouvoir restituer secrètement la somme, si je gagnais aux courses ; je me vis enfin libéré de tout souci, les poches pleines d'or, venant de faire un dîner fin avec ma maîtresse, assis derrière elle dans l'ombre d'une baignoire de petit théâtre, et mordillant de temps en temps entre mes lèvres les frisons de cheveux qu'elle a dans le cou.

Je pensai à toutes ces choses à la fois, en une seconde, avant que Marguerite eût détourné ses yeux de la vitrine éblouissante.

Je l'entraînai, lui serrant le bras, hâtant le pas, le cœur gonflé et battant à coups profonds. Puis, soudain, j'eus la sensation que je venais d'être frappé douloureusement dans l'intérieur de mon cerveau et je me dis :

« Si je ne gagnais pas ?... »

Je lançai un regard oblique à celle qui m'accompagnait. Heureusement, elle avait la tête tournée de l'autre côté, du côté des boutiques, et elle ne vit pas mes yeux. Dans la glace d'un magasin, j'aperçus avec terreur un visage de fou qui me ressemblait.

Mais, d'un effort de volonté, je redevins maître de moi.

Eh bien, quoi ? Si je ne gagnais pas ?... J'irais m'asseoir, le dos rond et la tête basse, sur le banc des accusés ; je tâterais de la prison, du bagne peut-être... On n'a rien sans risque ; et, en cas de malheur, j'aurais donné du moins à cette femme qui m'avait fait son esclave par les sens, mais dont je n'avais jamais échauffé le cœur glacé, j'aurais donné à Marguerite une effrayante preuve d'amour, et elle m'aimerait peut-être enfin, elle souffrirait peut-être à son tour, la fille qu'elle était, quand elle saurait que j'avais volé pour elle !...

Mais l'heure passe... A quoi bon raconter la tempête morale dans laquelle a sombré mon honnêteté ? A quoi bon dire le vol commis et mon horrible angoisse, devant le poteau des courses, en voyant accourir les deux chevaux furieusement fouettés par leurs jockeys, et en entendant la

месяцев. Но в моем портмоне было только два луидора. Я отогнал от себя движением плеч эти мечты.

Я дал обещание Маргарите пойти с нею в этот вечер в Folies Berge, где производили фурор какие-то странные клоуны. Мы пошли туда пешком, под руку, чтобы не издерживаться на фиакр, и проходили мимо витрин Пале-Рояля. Маргарита не была бы женщиной, если бы она не остановилась два-три раза около ювелирных витрин. Она указала мне на тоненький porte Bonheur, украшенный бриллиантами, который возбуждал ее восторг.

– Скажи, пожалуйста, сколько может стоить этот маленький браслет?

– Пятьдесят луидоров, не меньше, – отвечал я. Она медленно отошла от витрины с грустным выражением лица.

– Пойдем, – сказала она, – эти безделушки не для нас.

Как раз в эту самую минуту, точно прозревая будущее, я вспомнил вдруг об интриге, рассказанной моим товарищем. Я верил беспрельдно в успех Grain-de-Sel, и у меня мгновенно явилось искушение взять из кассы две тысячи франков, купить браслет Маргарите, а остальное употребить на ставку.

Я придумывал средства, чтобы замаскировать на несколько дней совершенную кражу, пока я не возвращу обратно денег, выиграв их на скачках. Я воображал себя свободным от всех забот, с карманами, набитыми золотом, сидящим с моей возлюбленной в ложе театра или обедающим с нею в лучшем ресторане.

Все это промелькнуло в моей голове в одну минуту, раньше, чем Маргарита отошла от ослепительной витрины.

Я увлек ее, сжимая ее руку, ускоряя шаги, с сердцем, усиленно бившимся. Вдруг я почувствовал, точно какой-то удар в голову и в то же время у меня вырвались слова:

«А что, если я не выиграю?»

Я взглянул на Маргариту. К счастью, она смотрела в другую сторону, в сторону ослепительных витрин, и ничего не заметила. Но в зеркале магазина я с ужасом увидел лицо безумца, похожее на меня.

Сильным усилием воли мне удалось овладеть собой.

Ну что ж? Если я не выиграю?.. Я отправлюсь с поникшей головой на скамью подсудимых. Я буду приговорен к аресту, к ссылке, может быть... Но без риска ничто не дается. А в случае несчастья этот мой поступок будет служить для этой женщины, сделавшей меня своим рабом, но холодного сердца которой я не сумел воспламе-

foule acclamer *Sept-de-Pique*, qui venait de battre *Grain-de-Sel* d'une longueur de tête ? On découvrit mon crime. Je fus arrêté, jugé, condamné, mis enfin dans cette prison où j'ai subi les pires tortures et d'où je ne sortirai que mort.

Oh ! oui, les pires tortures ! Pas celles du remords, je le répète, ni de la privation de la liberté, ni de la vie en commun avec des bandits. Oh ! de bien pires, de bien pires, celles de la jalousie !...

Je n'avais jamais souffert encore de ce cruel sentiment, et Marguerite, pendant les cinq mois que nous avons vécu ensemble, n'avait rien fait pour me l'inspirer. Apathique et casanière, elle restait seule au logis pendant toute la journée, – j'en avais des preuves, – et, le soir, quand nous sortions ensemble, pas une seule fois je n'avais surpris chez elle un de ces regards de complaisance que la plus honnête femme, même au bras de son mari, jette au premier passant venu qui a l'air de la trouver à son gré. Marguerite n'était nullement coquette.

De plus, ce que j'avais prévu au moment où je méditais mon coup était arrivé. Marguerite avait été profondément touchée par ma coupable action ; elle y avait vu une preuve d'amour. A l'audience, elle avait pleuré des larmes sincères, s'accusant de m'avoir perdu, et, dès qu'il lui fut permis de me visiter dans ma prison, – elle se faisait passer pour ma sœur, – elle me montra, derrière la grille du préau, un visage pâli par le chagrin. Elle m'aimait enfin ! J'en étais sûr.

Je me souviens de notre première entrevue. Nous nous regardions tristement à travers le grillage en fer.

- « Alors, tu m'aimes un peu ? – lui dis-je. – C'est bien vrai ?
- Plus et mieux qu'autrefois, tu le vois bien.
- Naguère, tu étais si froide pour moi, cependant !
- Ce que tu as fait m'a bien changée, va !... Est-ce que je pouvais croire que tu m'aimais à ce point-là ?... Mets-moi à l'épreuve.
- Il n'y en a qu'une qui me convaincrait.
- Laquelle ?
- Si tu étais capable d'attendre ma libération et de me rester fidèle ?...
- Je te le promets... je te le jure !
- Bah ! comment vivras-tu ?
- Je travaillerai.
- Toi, ma pauvre Marguerite ?
- J'ai appris pour être couturière... Tu verras »

Elle revint huit jours après, ôta ses gants et me montra ses doigts marqués de piqûres d'aiguilles. Elle avait trouvé, me dit-elle, des « con-

нить, будет служить ужасающим доказательством моей любви к ней, и, может быть, она полюбит меня, наконец, может быть, и она в свою очередь будет страдать, когда узнает, что я совершил воровство для нее!..

Но время уходит... К чему передавать нравственную борьбу и душевную бурю, в которой потерпела крушение моя прежняя честность? К чему рассказывать подробности моего преступления? К чему говорить об ужасном волнении, которое испытывал я, смотря на бег двух лошадей, яростно стегаемых их жокеями, и слыша, как аплодирует толпа *Sept-de-Pique*, которая пришла раньше *Grain-de-Sel* на целую голову? Преступление мое было раскрыто. Я был арестован, предан суду, приговорен и заключен, наконец, в эту тюрьму, где я испытал самые ужасные мучения и откуда я выйду только мертвым.

О, да! Самые ужасные мучения. Не от угрызений совести, не от раскаяния, повторяю это, не от потери свободы, не от сообщества с преступниками. О! нет, мучения большие, гораздо большие, мучения ревности!..

Я никогда еще не испытывал мучений этого ужаснейшего чувства, ревности. Маргарита за пять месяцев, которые провели с ней вместе, ни разу не пробудила его во мне. Апатичная и ленивая, она проводила дома целый день, я имел на это доказательство, и вечером, когда мы выходили вместе на улицу, я ни разу не уловил у нее ни одного из тех приветливых взглядов, которые самая порядочная женщина, идя даже под руку с мужем, бросает первому встречному, который, ей кажется, нашел ее интересной. Маргарита не была ни капли кокеткой.

Более того, то, что я предвидел в ту минуту, как решался на преступление, случилось в действительности. Маргарита была глубоко тронута совершенным мною: она увидела в этом доказательство моей любви к ней. Прощаясь со мною, она проливала искренние слезы, обвиняя себя в том, что она погубила меня, и как только ей позволили навещать меня в тюрьме, — она назвалась моей сестрой, — я видел за решеткой в приемной побледневшее от горя лицо. Она наконец любила меня! Я был уверен в этом. Помню я наше первое свидание. Мы грустно смотрели друг на друга через железную решетку.

— Так ты меня любишь немного? — сказал я ей. — Это правда?

— Больше и лучше, чем прежде, ты видишь это.

— Ты прежде была так холодна со мной!

fections » à faire pour un magasin de nouveautés. Elle gagnait déjà quarante sous par jour, mais bientôt elle deviendrait plus habile, arriverait à trois francs.

– « On peut vivre avec ça, – ajouta-t-elle en souriant. Oh ! sans faire la noce, bien sûr... Mais je n’y pense guère, va !... Je ne tiens plus qu’à une chose, à présent... Faire plaisir à mon chéri. »

Ce nom « mon chéri », qu’elle me donnait autrefois avec tant d’indifférence, si banalement, comme elle l’avait donné, hélas ! à tous ses amants, fut prononcé par elle, ce jour-là, avec l’intonation la plus tendrement émue ; et les larmes m’en vinrent aux yeux.

Que m’importaient alors la captivité, la livrée d’infamie, l’ignoble soupe mangée à la même gamelle que les scélérats, les éternelles nuits d’insomnie sans lumière ! Marguerite m’aimait ; elle gagnait son pain pour rester sage et pour m’attendre. Était-ce donc possible ? Misérable homme ! j’avais commis un vol pour une femme, et j’allais avoir la consolation, une fois ma faute expiée, de me réfugier dans les bras de cette même femme, mais devenue tout autre, régénérée par l’amour et par le travail, et qui serait maintenant la première à m’empêcher de faillir, si j’en étais tenté. Ah ! j’étais plein de courage, prêt à subir sans une plainte la peine que j’avais méritée. Aux plus durs moments de ma vie de prisonnier, je pensais à Marguerite, et l’espérance m’inondait en me réchauffant, comme un puissant cordial, et mes affreux compagnons me demandaient pourquoi j’avais l’air si heureux et ce qui me faisait sourire.

Cet état d’âme délicieux, – oui ! moi, le condamné vêtu d’une souquenille de forçat, moi à qui les gardiens disaient : « Ici ! » comme à un chien, j’ai vécu alors des heures délicieuses, – cet état d’âme, cette période d’espoir et de résignation, dura environ deux mois. Pendant ce temps, Marguerite vint me voir exactement une heure par semaine, et, à chacune de ses visites, je regardais, avec une enivrante pitié, ses yeux cernés par les veilles, ses joues que la misère amaigrissait, ses pauvres doigts meurtris et sa robe qui se fanait de plus en plus.

Un jour, – c’est alors que mon supplice a commencé, – elle vint avec une robe neuve.

Tout de suite, j’eus le cœur mordu par un soupçon. Mais elle me regarda en face et me dit en souriant :

« Ah ! oui, tu regardes ma robe !... C’est Clotilde qui me l’a donnée... Tu sais, Clotilde, l’amie avec qui j’étais la première fois que nous nous sommes rencontrés... Elle a maintenant un amant qui fait des folies pour

– То, что ты сделал, очень изменило меня... Могла ли я думать, что ты до такой степени любишь меня?.. Испытай и ты меня.

– Я хочу от тебя только одного...

– Чего же?

– Чтобы ты ждала моего освобождения и оставалась верной мне...

– Обещаю тебе это... клянусь тебе в этом!..

– Но как же ты будешь жить?

– Я буду работать.

– Ты, моя бедная Маргарита?

– Я училась шить... Ты увидишь.

Она пришла после этого через неделю, сняла перчатки и показала мне свои пальцы, исколотые иглой. Она достала, как сказала она мне, работу в одном из модных магазинов. Она уже зарабатывала по сорок су в день, но скоро еще более наловчится и дойдет до трех франков.

– С этим можно жить, – добавила она, улыбаясь. – О, конечно, очень скромно, но я и не думаю ни о каких развлечениях... Теперь для меня важно одно... доставить удовольствие моему милому.

Эти слова «моему милому», которые она прежде произносила с таким равнодушием, так пошло, как говорила она, увы! всем своим любовникам, теперь были сказаны ею с самой нежною, трогательной интонацией. Слезы навернулись у меня на глаза.

Что значило для меня заключение, что значил отвратительный суп из одной посуды с преступниками, бесконечные, бессонные ночи... Маргарита любила меня; она зарабатывала свой хлеб, чтобы остаться верной мне, и ждала моего возвращения. Возможно ли это? Жалкий человек, я совершил воровство ради женщины, и потом, отбыв наказание, я найду уважение и защиту в объятиях этой самой женщины, но ставшей уже совершенно другой, перерожденной любовью и трудом, и которая теперь первая помешает мне пасть, подержит меня, если бы снова явилось искушение. О, я мужественно и бодро, без малейшей жалобы сносил свое заслуженное наказание. В самые тяжелые минуты моего заключения я думал о Маргарите, и надежда на счастье и блаженство наполняла мою душу и согревала меня, и мои ужасные компаньоны спрашивали, почему у меня такой счастливый вид и что вызывает на лице моем улыбку.

Это отрадное состояние души, – да! Одетый в арестантский костюм, осужденный, выслушивающий грубые понукания тюремных сторожей, я переживал в то время отрадные часы – это состояние

elle. En me voyant si pauvrement vêtue, elle m'a fait cadeau de cette robe qu'elle n'avait mise que cinq ou six fois. Je n'ai eu qu'à l'arranger un peu... Elle est comme neuve, n'est-ce pas ? »

Ce n'était pas vrai ! Jamais, depuis que nous vivions ensemble, Marguerite ne m'avait parlé de cette Clotilde comme d'une amie. Naguère, les deux femmes demeuraient dans le même hôtel meublé, voisinaient, allaient de compagnie dans les bals publics, voilà tout. Je me rappelais Clotilde comme une fille sans jeunesse et sans beauté, tombée dans la misère, pouvant faire tout au plus illusion, sous le fard, à quelque soupeur pris de vin. Une pareille créature n'avait pu trouver un amant assez riche pour faire de telles largesses. Ce n'était pas vrai, et, si j'en avais douté, j'en aurais vu éclater la preuve dans les yeux que Marguerite s'efforçait de tenir fixes sur les miens, dans ses yeux où le regard semblait trembler et dont les paupières palpitaient à coups rapides, dans ses yeux de menteuse !

Je fus sur le point de lui dire toute ma pensée, d'éclater en reproches, de lui faire une scène. Mais j'eus peur qu'elle ne revînt plus, et je me contins.

Elle continua de me parler affectueusement, me disant qu'elle gagnait à présent trois francs cinquante et jusqu'à quatre francs par jour, qu'elle avait trop d'ouvrage et n'y pouvait suffire, qu'elle songeait à prendre une apprentie. Elle accumulait les mensonges, j'en avais la certitude.

Bien que je sentisse gronder en moi un orage de douleur et de colère, j'eus la force d'être calme jusqu'au bout ; je ne répondis que par des mots insignifiants à tout ce bavardage. Elle attribua sans doute cet accès de taciturnité à ma triste situation et me quitta presque joyeuse, s'imaginant que j'étais sa dupe.

Ainsi, Marguerite me trompait. Pendant que je subissais, à cause d'elle, le châtement des voleurs, elle avait pris un amant, – que dis-je ? elle se louait peut-être à la nuit, comme autrefois, et pour des chiffons ! Je venais de lui voir une robe nouvelle, mais, la prochaine fois, – j'en aurais parié ma main droite, – elle aurait des gants neufs et un chapeau frais ; et toutes les menteries qu'elle venait de me débiter n'avaient d'autre but que de me préparer à l'apparition de ses futures toilettes. Et elle n'avait pas eu l'idée de remettre, pour venir me voir, ses pauvres vêtements, ou, si elle y avait pensé, elle n'avait pas voulu se montrer dans la rue avec une robe usée ! Non ! elle avait mieux aimé inventer d'imbéciles impostures ; elle avait probablement haussé les épaules en se disant : « Tant pis pour lui, s'il ne me croit pas ! » Oh ! la stupide, la vulgaire fille ! Et c'était pour « ça » que je faisais de la prison et que je m'étais déshonoré !

души моей, этот период надежды продолжался целых два месяца. В продолжение этого времени Маргарита аккуратно являлась, чтобы видиться со мною раз в неделю, и при каждом ее посещении, длившемся не более часу, я с чувством невыразимой жалости смотрел на ее покрасневшие от поздней работы глаза, на похудевшие щеки, на бедные исколотые пальцы и на ее платье, приходившее все в большую ветхость.

Однажды, – с этого времени и началось мое мучение, – она явилась в новом платье.

Сердце мое дрогнуло от подозрения. Но она посмотрела мне прямо в глаза и сказала, улыбаясь:

– Ах, ты смотришь на мое платье! Мне дала его Клотильда... Ты знаешь, Клотильда... приятельница, с которой я была, когда в первый раз встретилась с тобой. У нее теперь любовник, который делает для нее разные безумства. Увидя меня так бедно одетой, она подарила мне это платье, которое сама она надевала не более пяти-шести раз. Я только переделала его немного... Оно совсем как новое, не правда ли?

Это была ложь! Никогда с тех пор, как мы жили вместе, Маргарита не говорила мне о Клотильде, как о своей приятельнице. Раньше обе эти женщины жили в одном доме по соседству, ходили вместе на балы, и только. Я помню Клотильду немолодой и некрасивой девушкой, находившейся в бедности, которая могла бы произвести некоторую иллюзию разве только под румянами и за ужином с вином. Подобная особа не могла бы найти богатого любовника, доставлявшего бы ей довольство и роскошь. Это была ложь, и если бы я в этом сомневался, я увидел бы доказательство этому в глазах Маргариты, которыми она нарочно глядела мне прямо в лицо и взгляд которых трепетал, а ресницы нервно дрожали... я узнал бы все в глазах этой обманщицы!..

Я готов был высказать ей все, что думал, готов был разразиться упреками, сделать сцену. Но я побоялся, что она не возвратится, и ничего не сказал.

Она продолжала нежно говорить со мной, рассказывала мне, что она зарабатывает теперь ежедневно по три франка пятьдесят, до четырех франков, что у нее много заботы, но что ей все-таки не хватает на жизнь, и она думает взять место. Она продолжала обманывать, я был уверен в этом.

Mais, puisqu'elle était capable de cette infamie, puisqu'elle ne m'aimait pas, pourquoi revenait-elle me voir ? Eh ! parbleu, par niaise sensiblerie, par bêtise charitable, comme elle serait allée porter des oranges à sa portière malade à l'hôpital.

Quelle honte ! Elle avait pitié de moi !

Je passai huit jours horribles, en roulant sans cesse toutes ces pensées dans mon esprit. Puis une terreur me saisit : « Si elle ne revenait pas, au prochain jour de visite ? » Et seulement alors, par la détresse où cette crainte me jeta, je compris combien, malgré tout, Marguerite m'était encore chère. Je me fis donc le serment, que j'ai tenu, de lui dissimuler ma jalousie, de ne rien faire ni dire qui pût trahir mes souffrances et mes soupçons.

Elle revint, – oh ! je l'avais parié ! – elle revint avec un joli chapeau de printemps. Elle avait complété sa toilette ; son visage était reposé, son teint plus frais. Certes ! non, cette femme-là n'était plus dans la misère et ne gagnait plus son pain à coudre des « confections » jour et nuit.

Elle eut cependant l'audace... ou la bonté – qui sait ? elle croyait peut-être bien faire – de me dire qu'elle était très contente, qu'elle employait deux ouvrières ; cent nouveaux mensonges. Je feignis de m'en réjouir avec elle, et, donnant à ma voix l'accent le plus caressant, je la priai d'ôter son gant et d'appuyer sa main sur le grillage qui nous séparait, afin que je pusse la toucher de mes lèvres. Elle m'obéit, et en baisant sa main je vis qu'il n'y avait plus de piqûres d'aiguilles au bout de ses doigts...

Mais la demie d'après onze heures vient de sonner à l'horloge de la prison.

Mon bout de cire sera bientôt consumé.

Hâtons-nous.

Si le temps ne me manquait pas, j'aurais eu pourtant une atroce satisfaction à analyser ici toutes les angoisses que j'ai souffertes et qui se peuvent résumer dans ces deux mots dont l'accouplement fait frémir : un prisonnier jaloux ! Oui ! j'aurais une joie de damné à décrire par le menu les supplices que m'infligea Marguerite, à chaque nouvelle visite. Il en est un, surtout... Oh ! celui-là, je veux le dire, car il fut le plus cruel de tous.

Ce jour-là, en attendant l'arrivée de ma maîtresse, j'avais essayé de me persuader que j'étais trop incrédule, qu'il n'était pas impossible, après tout, qu'une femme gagnât assez largement sa vie pour s'acheter quelques nippes. Un détail, même, qui m'était subitement revenu à la mémoire, m'avait presque rassuré. Jamais Marguerite, qui ne craignait pas de se montrer à moi en toilette neuve, – en y réfléchissant, c'était peut-être une

Хотя внутри меня и клокотал гнев и отчаяние, но я нашел в себе силу остаться до конца спокойным. На всю ее болтовню я отвечал незначительными фразами. Она приписала, вероятно, мою молчаливость моему несчастному положению и рассталась со мною довольная, воображая, что провела меня.

Итак, Маргарита обманывала меня. В то время, когда я отбывал из-за нее наказание за воровство, она взяла себе любовника, что я говорю? она, может быть, продавала себя, как прежде, за тряпки! Теперь на ней новое платье, а на следующий раз, – готов руку отдать на отсечение, – у нее будут новые перчатки и свежая шляпа, и все ее лживые рассказы имеют целью подготовить меня к появлению новых туалетов. И она даже не подумала о том, чтобы, идя ко мне, надеть свой прежний костюм, или, может быть, и думала, но не захотела появляться на улице в поношенном платье! Нет! для нее приятнее сочинить тысячу нелепостей. Вероятно, она пожалала плечами и сказала сама себе: «Тем хуже для него, если он мне не верит!». О, глупая, бесстыжая девушка! И из-за нее я сидел в заключении, и из-за нее я обесчестил себя!

Но если она способна на подобную низость, если она не любит меня, то зачем же видится со мною? А, черт возьми, из-за глупого милосердия, из-за чувствительности; она точно носила бы апельсины в больницу больной привратнице.

Какой стыд! Она жалела меня!

Я провел ужасную неделю, непрерывно думая все об одном и том же. Затем меня вдруг охватил ужас: «Что, если она не придет в обычное время?». И тогда только по тому отчаянию, которое охватило меня при этом страхе, я понял, как, несмотря на все, дорога для меня Маргарита. Я дал себе клятву, которую и сдержал, скрыть от нее мою ревность, ничего не делать, не говорить такого, что могло бы выдать мои страдания и мои подозрения.

Она пришла, – о, я предсказывал это, – в хорошенькой весенней шляпе. Туалет ее был изящен; вид не усталый, цвет лица свежий. Нет, эта женщина не испытывала нужды и не снискивала себе пропитания работой днем и ночью в магазине.

Между тем она имела смелость... или доброту, – как знать? она, может быть, считает, что поступала хорошо, – сказать мне, что она очень довольна тем, как устроилась, и что у нее есть две помощницы.

Тысяча новых обманов. Я радовался вместе с ней и, сообщив своему голосу самое ласковое выражение, я просил ее снять перчат-

preuve de son innocence, – jamais Marguerite ne portait le moindre bijou. Le bracelet jadis acheté par moi avec l'argent du vol, et qu'elle avait tenu à restituer honnêtement au moment du procès, était le seul joyau qu'elle eût jamais possédé. Jusque-là, très pauvre fille, mais ayant horreur du faux, du « toc », comme elle disait avec un dégoût singulier, elle ne s'était jamais parée de la plus modeste bijouterie, et ses oreilles n'étaient même pas percées. Le souvenir de cette dernière particularité me touchait profondément.

Parbleu ! je me rappelais quand même que, si je ne voyais point de bagues à ses doigts, je n'y retrouvais pas non plus, depuis quelque temps, les traces du travail. Je me disais bien aussi qu'elle pouvait avoir accepté des parures et ne pas les mettre pour venir me voir. Mais, ce jour-là, j'étais disposé à la bienveillance, je voulais me convaincre d'injustice, et, dans les mille suppositions qui me traversaient l'esprit, je ne m'arrêtais qu'à celles qui pouvaient être favorables à Marguerite.

Elle arriva à l'heure exacte, selon son habitude, et moi, en l'apercevant de loin, à travers le grillage, je sentis pour la première fois se dissiper mes soupçons. Mais quand je fus plus près d'elle, – oh ! l'ironie méchante des pressentiments ! – tout de suite, au premier regard, je vis à ses oreilles deux petites cicatrices encore fraîches !... Elle avait des bijoux, à présent, cette femme qui n'en voulait porter que de vrais et à qui je n'avais pu en payer qu'avec de l'argent volé ! Elle se mettait aux oreilles des perles fines ou des diamants, et, certainement, elle croyait faire preuve de délicatesse en m'en épargnant la vue !...

C'est depuis ce jour-là, c'est depuis qu'il ne m'est plus permis de conserver le moindre doute sur la trahison de Marguerite, que je songe à me tuer. Il y a de longs jours que ce devrait être fait. Mais quoi ! on est lâche, on a peur de la mort, et puis... et puis, il faut bien le dire, j'aime toujours cette femme, et, la nuit, sur mon grabat de détresse, je me tords dans des rêves qu'elle hante. Oh ! j'ai eu toutes les faiblesses ! J'ai songé à la reprendre quand même, telle qu'elle est redevenue ; j'ai songé à accepter tous les partages, toutes les abjections. Je me suis moqué de moi-même, j'ai raillé ma jalousie : « Tu es bien scrupuleux, dis donc, pour un voleur ! » Mais c'est plus fort que moi. La pensée qu'elle m'a trompé, qu'elle s'est vendue à un homme ou à plusieurs pendant tout le temps que je suis resté en prison, en prison à cause d'elle, me rend furieux... me fait voir rouge !...

Oui ! comme je le disais en commençant cet écrit, je pourrais, demain matin, déjeuner avec elle dans notre petite chambre, auprès de la fenêtre

ку и положить на решетку, разделявшую нас, свою руку, чтобы я мог прикоснуться к ней губами. Она послушалась меня и, целуя ее руку, я увидел, что на пальцах ее уже не было следов иглы...

Но на тюремных часах бьет половина одиннадцатого. Мой ога-рок скоро догорит.

Поспешим.

Если бы у меня было достаточно времени, я бы с наслаждением проанализировал здесь все мучения, которые я испытал и которые можно резюмировать в этих двух словах, сочетание которых не-вольно заставит содрогнуться; ревнующий заключенный! Да! я бы с радостью описал все подробности страданий, которые доставлял мне каждый визит Маргариты. Один из них в особенности. О, об этом я напишу, потому что это был самый жестокий, самый ужасный.

В этот день, поджидая Маргариту, я старался уверить себя, что я был слишком подозрителен по отношению к ней, что ничего нет невозможного в том, чтобы женщина зарабатывала настолько, чтобы купить себе новенькое платье и другие принадлежности туалета. Одна подробность, которая внезапно припомнилась мне, почти даже успокоила меня. Никогда на Маргарите, которая не скрывала от меня своих новых туалетов, — подумав хорошенько, я нашел, что и это даже может служить доказательством ее невинности, — никогда я не видел на Маргарите ни малейшего драгоценного украшения. Купленный мной на краденые деньги браслет был единственною драгоценностью, которою она когда-либо обладала. До тех же пор, имея какую-то инстинктивную антипатию ко всему фальшивому, бедная девушка ни разу не украсила своего туалета даже самой скромной безделушкой, и уши ее не были даже проколоты. Воспоминания об этой последней подробности меня глубоко трогало.

Да, но вспоминая о том, что пальцы не были украшены кольцами, я вспоминал также, что с некоторого времени они не носили на себе следов работы. Я говорил также себе, что она могла принимать драгоценные вещи и не надевать их, идя ко мне. Но в тот день я был склонен видеть и думать все хорошее, я хотел убедить себя в своей несправедливости и среди тысяч предположений, пробегающих в моей голове, я останавливался только на таких, которые служили к оправданию Маргариты.

Она пришла в обычный час, и я, увидя ее издали, почувствовал, что все мои подозрения разлетаются. Но когда я очутился подле нее, — о! злая ирония предчувствий, — сейчас же, при первом взгляде, я

d'où l'on voit le grand jardin d'automne et les beaux arbres dorés. Oui ! ce serait délicieux... Mais si j'apercevais alors, dans les cendres du foyer, le bout de cigare de son « monsieur » de la veille, je serais capable de prendre un couteau sur la nappe et de le lui planter dans le cœur.

Je ne veux pas devenir un meurtrier. C'est bien assez d'être un voleur. Il vaut mieux mourir...

Mourir sans rancune contre elle, en me disant que ce qui est arrivé était inévitable, et qu'elle a été sincère, en somme, qu'elle m'a même peut-être un peu aimé, le jour où elle me fit cette promesse qu'elle n'a pas eu la force de tenir.

Adieu, Marguerite ! Tu n'es pas mauvaise au fond, et en lisant ceci, tu pleureras un instant, je le crois. Mais tout s'oublie, et plus tard, quand un de tes amants de rencontre s'amusera à te faire raconter ta vie, tu seras vaniteuse comme toutes tes pareilles, va ! Tu sauteras, pieds nus, hors du lit, pour aller chercher ces feuillets dans le tiroir du haut de ta commode où tu serres ton jeu de cartes et tes reconnaissances du Mont-de-Piété, et, après t'être recouchée, tu feras lire ma confession à ton hôte d'une nuit, toute fière de lui prouver qu'un malheureux homme s'est tué pour toi.

Ah ! ah ! Minuit sonne... Mon rat de cave va s'éteindre. J'ai déjà roulé en corde le drap de mon lit, et le barreau de la lucarne est solide... Du courage, et finissons-en !

Coppée, F. Jalousie [La ressource électronique] / F. Coppée // Contes rapides. – Paris : Alphonse Lemerre, 1888. – P. 193–220. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k91279w/f201.image>

увидел у нее в ушах два маленьких отверстия, совсем свежие! У этой женщины, не носившей других камней, как настоящие, за которые я мог заплатить только украденными деньгами, теперь были драгоценности. Она носила в ушах жемчуг и бриллианты, и то, что она не надела их теперь, было только доказательством ее деликатности по отношению ко мне.

С этого-то дня, когда у меня не осталось ни малейшего сомнения относительно измены Маргариты, с этого дня я решил покончить с собою.

Проходили длинные дни, в которые я мог совершить это, но, что поделаешь! Человек труслив, боится смерти и притом... притом, я должен признаться в этом, я все еще люблю эту женщину... О! я испытал приступ слабости! я думал о том, чтобы примириться со всем. Я смеялся надо собою, над своею ревностью: «Ты слишком шепетилен для вора», – говорил я сам себе. Но это сильнее меня. Мысль, что она обманула меня, что она продавалась кому-то или многим в продолжение всего этого времени, как я находился в тюрьме, в тюрьме из-за нее, приводит меня в бешенство...

Да! я мог бы, как говорил в начале этой рукописи, я мог бы завтра утром завтракать с нею в нашей маленькой комнате, возле окна, откуда виден огромный осенний сад с прекрасными пожелтевшими деревьями. О! это было бы восхитительно... но, если бы я увидел вдруг в пепле камина окурок сигары ее любовника, бывшего накануне, я был бы способен схватить со стола нож и всадить ей в сердце.

Я не хочу стать убийцей. Достаточно быть вором. Лучше умереть.

Прощай, Маргарита! ты не злая, и, читая эти строки, ты, я уверен, заплачешь на минуту, но все забывается, и позже, когда один из твоих случайных любовников попросит тебя ради забавы рассказать свою жизнь, ты с гордостью передашь этот эпизод, потому что ты так же тщеславна, как и все женщины. Ты соскочишь босыми ногами с постели, вынешь эти листки из ящика комода, где они будут лежать вместе с твоими картами, станешь читать их своему гостю, гордая тем, что можешь доказать ему, что действительно один несчастный человек лишил себя жизни из-за тебя.

Ах! бьет полночь... Моя свеча догорает. Я уже скрутил, как веревку, простыню, а деревянная перекладина крепка. Смелее, и конец!

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1900. № 54 (9 марта). С. 2; № 58 (14 марта) С. 2. Перевод «А. Ф-ман»)

РЕВНОСТЬ

(Записки арестанта)
(Перев. для «Сиб. Жиз.»)

Завтра утром конец шестимесячному тюремному заключению, к которому я был приговорен за кражу двух тысяч франков из кассы моего хозяина, завтра утром я искуплю свою вину, претерпев назначенное за нее наказание.

В мою камеру войдет надзиратель и принесет мое платье, которое при поступлении сюда я должен был сменить на арестантскую одежду. Платье мое было совсем новое, и, надев его, я буду иметь вид обыкновенного молодого человека, даже довольно изящного. Мне останется только зайти в канцелярию, где мне вручат статейный список, а затем присоединиться к Маргарите, обещавшей ждать меня на извозчике у тюремных ворот – я буду свободен!

Я буду свободен и могу еще быть счастливым. В своем вчерашнем письме Маргарита клянется, что любит меня по-прежнему, и мы по-старому заживем вместе, как муж и жена. В этом огромном Париже, где так легко скрыть свое прошлое, такому человеку, как я – представительному, энергичному и с коммерческими способностями (до моего несчастья хозяин хотел меня сделать компаньоном), – такому человеку легко найти место. Я чувствую несокрушимое мужество и готов работать, как лошадь, чтобы зарабатывать средства существования для меня и Маргариты.

К тому же серьезные дела отложим на после. Будем думать только о завтрашнем дне, в котором я уверен и который будет восхитителен.

Едва ступив за ворота тюрьмы, я увижу в тени кареты красивое и бледное от волнения лицо Маргариты. Я крикну кучеру адрес, обещаю ему одно су, чтобы он хорошенько вез нас, вскочу в карету, которая помчится, и бедная девушка, рыдая, упадет ко мне на грудь... Какие поцелуи!..

Мы войдем в нашу комнату в верхнем этаже, на улице Madame, откуда виден весь Люксембургский сад. В эту прекрасную погоду, в конце сентября деревья должны быть удивительно красивы со своими пожелтевшими листьями... Мы поставим стол у открытого окна, кроткие лучи солнца заиграют на посуде, и мы весело позавтракаем, не спуская глаз друг с друга, то замолкая, охваченные нежностью, то болтая и строя тысячи планов.

Наливши мне кофе, Маргарита подойдет ко мне, положит обе руки ко мне на плечо и на них свой хорошенький подбородок и ста-

нет смотреть на меня. Я почувствую аромат ее тела, ее волосы будут щекотать мои губы...

Да, вот что может быть завтра, после шести месяцев одиночества, страшного одиночества! Вот что может быть завтра, если я захочу! свобода, счастье, любовь...

Но ничего этого не будет. Я умру, как только кончу писать на этих листках, где я стараюсь объяснить самому себе мое непреодолимое желание умереть. Как удивится надзиратель, продавший мне, вопреки правилам, восковую свечу, при свете которой я пишу эти строки, как удивится он, когда войдет завтра в мою камеру, чтобы освободить меня, и найдет меня повесившимся на одном из этих брусьев, уже окоченевшим, с синим лицом и высунувшимся языком! А между тем все будет именно так — я повешусь в полночь.

Поразмислим же и постараемся выяснить волнующие меня чувства.

Прежде всего, надо признаться, я не чувствую ни малейшего укора совести за мой проступок. А между тем я виноват в недостойном злоупотреблении доверием, я обокрал человека, который всегда был справедлив и благосклонен ко мне, честно вознаграждал мой труд, заботился о моем будущем, относился ко мне с таким уважением, что хотел сделать своим компаньоном... Но, зачем скрывать? я не чувствую раскаяния... А если бы снова случилось то же?.. Да, если б я снова почувствовал, как дрожала рука Маргариты в моей перед этой витриной, снова увидал, какой жадностью горели ее глаза при виде этого украшенного бриллиантами браслета, — ну да, я опять украл бы сто луидоров из кассы и подарил бы ей браслет. Не знаю, может быть, я злодей или сумасшедший, но я сделал бы то же.

Ах, эта женщина! Как я полюбил ее сразу, лишь только наши взгляды встретились!

Помню, ко мне пришли два товарища и предложили пойти с ними на публичный бал. Я сначала отказывался, так как устал и хотел пораньше лечь спать. Но они настаивали, и я отправился с ними.

Оркестр играл польку, вульгарный мотив которой резко наигрывался на корнет-а-пистоне. Вокруг асфальтового помоста, на котором прыгало несколько пар, под жалкими деревьями, имевшими вид картонных при газовом освещении, ходила толпа.

К нам подошли две женщины. Одна из них, высокая брюнетка с развязными манерами, типичная уличная женщина, знала одного из моих товарищей и нахально потребовала, чтобы он купил вина.

Мы сели за стол, я рядом с другой женщиной, блондинкой, уже очарованный ее нежным, изящным лицом и сдержанными, почти

робкими манерами. Было легко угадать, что она лишь очень недавно стала посещать публичные балы: никаких драгоценностей и скромное, поношенное черное платье, платье честной девушки. Только ее огромная фетровая шляпа с розовым пером давала право первому встречному пригласить ее на ужин. Эта шляпа была вывеской.

Мы болтали. Ее голос был кроток, как и глаза. Никакого цинизма. Когда один из товарищей обратился к ней с грубым комплиментом, она ответила ему только смущенной улыбкой, в которой была видна вежливость, смирение и отвращение. Она очаровывала, внушая жалость, и напоминала мне отражение звезды в речке. В первом поцелуе, который я ей дал, садясь с нею на извозчика по выходе с бала, была уже нежность.

Ночь мы провели вместе. О! мне кажется, я и сейчас еще чую на своем плече горячие слезы, когда она плакала, рассказывая мне про свое детство, проведенное на парижских тротуарах, свою нищенскую юность, свое падение, жалкое и неизбежное! Эта ночь сделала то, что через несколько дней я вырвал Маргариту из ее позорной жизни, и она стала жить со мной.

Это было безумием, так как все мои средства заключались в жалованье, которое я получал в качестве кассира в Petit Saint Germain. Однако на него могли бы жить, если бы Маргарита была хоть немного экономна и занималась хозяйством. Но ничего подобного не было, мягкая по природе, с холодным сердцем и горячим темпераментом, павшая скорее по слабости, чем по влечению к разврату, она была настоящей парижской уличной девчонкой, ленивой, обожающей наряды, остающейся в постели до полудня, уткнув нос в роман, и готовой целую неделю питаться одним салатом, чтобы иметь возможность купить себе пару шелковых чулок.

Когда я пробовал делать замечание моей любовнице, она отвечала мне совершенно просто, не сердясь: «Я знаю, что я не такая женщина, какую тебе нужно... Что ж с этим сделаешь?.. Брось меня... Я не имею права жаловаться...»

А я не знал, что отвечать на это, и бесился при мысли, что для нее я ничего не значил, тогда как я не мог жить без нее. Бросить ее? В первое время я иногда думал об этом. Но мысль, что она хладнокровно простится со мной и в тот же вечер отправится на ужасный бал, где я нашел ее, а оттуда кто-нибудь из гостей уведет ее к себе за одну-две двадцатифранковые монеты, — эта мысль была невыносима. Бросить ее! Но при одном представлении, что на другой день, проснувшись, я не почувствую подле себя теплоты ее тела, силы оставляли меня. За несколь-

ко недель влечение к этой женщине превратилось в страсть и приобрело силу привычки... Я полюбил ее, она владела мной всецело.

Когда я познакомился с Маргаритой, она жила в скверной меблированной комнате, и все ее имущество заключалось в небольшом количестве белья да одном платье, которое было на ней, и афишировавшей ее ужасной шляпе с розовым пером. Чтобы одеть ее приличнее и сделать ей маленькое приданое, я пожертвовал всеми своими сбережениями и даже вошел в долги. Ее беспорядочность и небрежность, а также издержки на ее развлечения – я боялся, что она, соскучившись, уйдет от меня – быстро довершили мое разорение. Я задержал платежи всем поставщикам и был должен многим товарищам довольно крупные суммы.

Но я не говорил с Маргаритой о своих затруднениях. К чему бы это привело? Я знал, что она опять сказала бы мне своим кротким и покорным голосом: «Чего же ты от меня хочешь?.. Разойдемся...» Поэтому я старался не думать о неизбежной катастрофе и притворялся беззаботным перед Маргаритой, устраивая с ней какую-нибудь *partie de plaisir*, как только у меня было хоть немного денег, но в глубине души я дрожал перед будущим.

В отчаянном положении все прибегают к игре. Я сделал это тем легче, что приказчики в *Petit Saint Germain* постоянно говорили при мне о своих выигрышах и проигрышах на лошадиных скачках, за которыми они следили со страстью. Однажды заведующий отделением шелковых материй, пари которого до сих пор были удачны, заявил, что ему прекрасно известен результат предстоящих скачек в Отейле, так как он получил сведения опытного жокея, по словам которого главный приз возьмет неизвестная лошадь Грэн-де Сель, и, кто будет держать за нее, тот выиграет в десять раз больше своей ставки. Несмотря на возражения, он стоял на своем и с таинственным видом рассказал довольно грязную интригу, в которой были замешаны известные спортсмены и которая должна была обеспечить победу Грэн-де-Селя. Такая уверенность меня смутила.

– Если бы у меня был еще, – подумал я, – билет в пятьсот франков, бывший у меня до переезда Маргариты ко мне, я бы рискнул, конечно! В десять раз больше ставки! Пять тысяч франков!.. Мои долги были бы уплачены, спокойствие, довольство, мирное обладание Маргаритой в течение долгих месяцев...

Но в моем портмоне было всего два луидора, и я отогнал от себя несбыточную мечту, пожав плечами.

Я обещал Маргарите, несмотря на безденежье, пойти с нею в тот день в *Folies bergeres*, где производили фурор новые клоуны. Чтобы не платить за извозчика, мы отправились туда пешком через галереи

Пале-Рояля. Маргарита не была бы женщиной, если бы не останавливалась несколько раз перед витринами ювелиров.

– Скажи, сколько может стоить этот маленький браслет? – спросила она, указывая на понравившийся браслет, осыпанный бриллиантами.

– По крайней мере, пятьдесят луидоров, – ответил я.

Она медленно отошла от витрины, продолжая глядеть на нее с сожалением.

– Пойдем! – сказала она. – Эти игрушки не для нас.

Именно в эту минуту у меня молнией мелькнула мысль, я во всех подробностях вспомнил конюшенную интригу, про которую рассказывал товарищ, и почувствовал безусловную веру в успех Грэн-де-Селя. У меня появилось намерение взять из кассы две тысячи франков, купить Маргарите браслет, а на остальные играть. Я придумал, как скрыть на несколько дней кражу, чтобы после выигрыша пополнить кассу. Я видел себя освобожденным, наконец, от тревоги, с карманами, полными золота, заказывающим тонкий обед для нас, сидящим в театральной ложе позади своей любовницы...

Обо всем этом я думал зараз, в течение какой-нибудь секунды, пока Маргарита не отвела глаз от соблазнявшей ее витрины. Тогда я повлек ее вперед, сжимая ее руку, ускоряя шаг, с сильно бьющимся сердцем. Вдруг мой мозг пронизала внезапно мысль:

– А вдруг я проиграю?

Я искоса взглянул на свою спутницу, но, к счастью, она не могла видеть моих глаз, так как продолжала рассматривать витрины. В зеркале одного из магазинов я с ужасом заметил лицо сумасшедшего, походившее на мое...

Но усилием воли я овладел собою... Ну, так что, если я проиграю?.. Мне придется сесть на скамью подсудимых, попасть в тюрьму, может быть, в каторгу... Ничего нельзя сделать, не рискуя, и в случае неудачи я дам, по крайней мере, страшное доказательство своей любви этой женщине, которая поработила меня, но ледяное сердце которой я никогда не мог затронуть, и, может быть, она полюбит меня и будет страдать, узнавши, что я совершил кражу для нее!

Но время идет... К чему рассказывать, как душевная буря сломила мою честность? Зачем говорить, как была сделана кража, какую страшную муку пережил я на скачках, видя, как Се-де-пик на целую голову опередил Грен-де-Сель, и слыша аплодисменты толпы? Мое преступление было открыто, меня арестовали, отдали под суд и осудили, и я попал, наконец, в эту тюрьму, где я испытываю более страшные муки и откуда я выйду только мертвым.

Да, более страшные муки! Не муку раскаяния, повторяю, не муку лишения свободы, совместной жизни со злодеями, а гораздо более страшные муки ревности!

До сих пор я не знал этого чувства, в течение пяти месяцев, прожитых вместе, Маргарита ни разу не дала мне повода испытать его. Ленивая и апатичная, она целый день сидела дома одна – у меня были доказательства этого, и вечером, когда мы выходили вместе, я ни разу не подметил у нее того удовлетворенного взгляда, которым даже честная женщина, идя под руку с мужем, смотрит на проходящего, выразившего тоже взглядом свое восхищение ею. Маргарита совсем не была кокеткой.

Даже более, случилось то, что я предполагал, когда обдумывал свой план. Маргарита была глубоко тронута моим поступком, в котором она видела доказательство моей любви к ней. На суде она искренне плакала, обвиняя себя в том, что погубила меня, и как только ей разрешили, она сейчас же явилась ко мне в тюрьму с побледневшим от горя лицом. Наконец-то она любила меня, я в этом уверен.

Помню наше первое свидание, мы печально смотрели друг на друга через железную решетку.

– Так ты меня любишь немножко? – спросил я ее. – Правда это?

– Больше и лучше, чем прежде, – ты сам это видишь.

– Однако еще недавно ты была так холодна ко мне.

– То, что ты сделал, очень переменяло меня. Разве я могла думать, что ты так сильно меня любишь? Подвергни меня какому-нибудь испытанию...

– Только одно могло бы убедить меня.

– Что же именно?

– Если бы ты была свободна, в ожидании моего освобождения, остаться мне верной?

– Обещаю тебе это... Клянусь!

– Ба, чем же ты будешь жить?

– Я буду работать.

– Ты, моя бедная Маргарита?

– Я училась шить... Увидишь!

Через неделю она пришла опять, сняла перчатки и показала мне свои пальцы, на которых были следы от уколов иглой! Она нашла работу, рассказывала она, в одном из магазинов новостей² и зарабатывала уже сорок су в день, и скоро, привыкши к работе, дойдет и до трех франков.

² Так в тексте. Очевидно, имеются в виду модные новинки.

– С этим можно жить, – прибавила она, улыбаясь. – О, конечно, не роскошно, но я об этом и не думаю! У меня теперь одна забота: сделать удовольствие своему любимому...

Это выражение «мой любимый», которое она так равнодушно употребляла прежде в отношении ко мне и к другим любовникам, конечно, теперь было произнесено таким нежным, взволнованным тоном, что у меня навернулись слезы на глазах.

Что же после этого значил для меня арест, позорный костюм, отвратительный обед в обществе преступников, бесконечные бессонные ночи впотьмах?! Маргарита любила меня; она жила своим трудом, желая быть честной и верной мне. Итак, это оказалось возможным? И я, презренный человек, укравший из-за женщины, я буду иметь утешение, раз кончится мое наказание, в обществе этой самой женщины, но перерожденной любовью и трудом, и она первая помешает мне пасть, если у меня снова явится искушение. О! я был полон мужества и без малейшей жалобы переносил заслуженное мною наказание. В самые тяжелые минуты моей тюремной жизни я думал о Маргарите, и надежда ободряла меня и согревала, а мои ужасные товарищи спрашивали, отчего у меня такой счастливый вид и чему я улыбаюсь.

Это блаженное душевное состояние продолжалось около двух месяцев. Да, я – преступник, в арестантской одежде, я, которому тюремщики кричали, как собаке: «Сюда!» – я пережил тогда счастливые часы. Маргарита приходила на свидание со мной аккуратно раз в неделю, и при каждом ее посещении я со страстной жалостью смотрел на ее ввалившиеся от бессонницы глаза, похудевшее лицо, исколотые пальцы и изношенное платье. Однажды – с тех пор началась моя мука – она явилась в новом платье. У меня тотчас же сердце сжалось от подозрения. Но она, взглянув на мое лицо, сказала, улыбаясь:

– А, да! Ты удивляешься моему платью... Мне его подарила Клотильда... Знаешь, подруга, с которой я была на балу, когда мы в первый раз встретились... У ней теперь любовник, который безумствует для нее... Увидев меня так бедно одетую, она подарила мне это платье, надеванное не больше пяти-шести раз... Оно совсем как новое, не правда ли?

Это была неправда! За все время нашей совместной жизни Маргарита никогда не говорила о Клотильде, как о подруге. Они обе жили рядом в меблированных комнатах и ходили вместе на публичные балы – вот и все. Я помнил эту Клотильду, уже немолодую и некрасивую, могущую даже под белилами и румянами понравиться разве какому-нибудь пьяному гуляке. Такая женщина не могла иметь богатого и щедрого любовника. Все это ложь, и если б я сомневался,

мне достаточно было бы взглянуть в глаза Маргариты с бегающим взглядом и трепещущими веками – глаза лгуньи!

Я уже хотел сказать ей это, разразиться упреками, сделать ей сцену, но испугался, что она может не прийти больше, и сдержался.

Она продолжала рассказывать, что теперь зарабатывает три с половиной и даже четыре франка в день, что она не успевает делать всю работу и хочет взять помощницу, – словом, загромождала одну ложь другой.

Во мне кипела буря негодования и горя, но у меня хватило силы остаться спокойным до конца, и на всю ее болтовню я отвечал лишь несколькими незначащими словами. Этот припадок молчаливости она приписала, без сомнения, моему печальному положению и удалилась почти веселая, воображая, что ей удалось обмануть меня.

Итак, Маргарита меня обманывала. В то время как я из-за нее сидел в тюрьме, она взяла любовника, может быть, просто продавала себя на одну ночь, как раньше, – и ради нарядов? Я только что видел на ней новое платье, а в следующий раз, я готов был прозакладывать голову, она явится в новых перчатках и свежей шляпе, и все те небылицы, которые она мне наговорила, имели целью только подготовить меня к появлению новых туалетов. Ей не пришло в голову, идя ко мне, надеть старое платье, а если и пришло, то она не захотела выйти в нем на улицу! Нет, она предпочла выдумать глупейшие небылицы и, вероятно, пожимая плечами, говорила себе: «Тем хуже для него, если он не поверит!..». О, глупая, вульгарная женщина! И из-за нее-то я попал в тюрьму и опозорил себя.

Но зачем же она приходила на свидание со мной, раз она была способна на такую глупость и не любила меня? Да просто по глупой сентиментальности, по своей животной доброте, как она понесла бы апельсины своей привратнице, если бы та была в больнице. О, позор! она жалела меня.

Я провел ужасную неделю, постоянно думая об этом. Потом вдруг меня охватил ужас: «Что, если она не придет больше?» Только тут по той боли, которую я почувствовал при этой мысли, только тут я понял, как я люблю ее, несмотря ни на что, и я дал себе клятву, которую и сдержал, скрыть от нее свою ревность, ничего не говорить и не делать такого, что могло бы выдать мучившие меня сомнения.

Она пришла, как я угадал, в новой весенней шляпе. Она принарядилась, цвет лица был свеж, и худоба исчезла. О, конечно, эта женщина не бедствует и не проводит дни и ночи за работой!

У нее, однако, хватило смелости, а может быть, доброты – заявить мне, что она очень довольна своим положением, что она дер-

жит двух работниц, вообще кучу новых выдумок. Я притворялся, что тоже доволен, и самым нежным голосом попросил ее снять перчатки и протянуть руку через разделявшую нас решетку, чтобы я мог поцеловать ее. Она исполнила просьбу, и, целуя ее руку, я увидел, что на пальцах уже нет следов от уколов.

Пробило половина двенадцатого, огарок мой скоро догорит. Надо спешить. Если бы у меня было время, я позволил бы себе жестокое наслаждение описать во всех подробностях те муки, которые доставляло мне каждое свидание с Маргаритой, особенно одно из них... О, это я хочу описать, как самое жестокое мучение!

В этот день, ожидая свою любовницу, я старался уверить себя, что я слишком недоверчив, что женщина может все-таки зарабатывать достаточно и купить себе кое-что из нарядов, мысль, внезапно вспомнившаяся мне, почти совсем успокоила меня. Маргарита, не боявшаяся являться ко мне в новом платье, что также могло служить доказательством ее невинности, никогда не надевала никакой драгоценности. Единственной драгоценностью, которая была у нее когда-либо, был браслет, купленный мною на украденные деньги, честно возвращенный ею полиции, когда началось дело. Ранее же она не имела никаких украшений, потому что была слишком бедна, чтобы покупать настоящие бриллианты и золото, а к подделкам она чувствовала отвращение; даже уши ее не были проколоты, и воспоминание об этом меня глубоко растрогало.

Вспоминая, что я никогда не видел колец у нее на руках, я вспоминал в то же время и о том, что с некоторого времени я не замечал и следов работы на пальцах, и говорил себе, что она могла иметь драгоценности, но снимала их, идя на свидание со мною. Но в этот день я был склонен видеть все в лучшем свете, я хотел убедиться в своей несправедливости и останавливался только на тех предположениях, которые были благоприятны Маргарите.

Она явилась, как обыкновенно, аккуратно к назначенному часу, и, увидев ее издали через решетку, я в первый раз почувствовал, что мои подозрения рассеялись. Но она подошла ближе, и я с первого взгляда заметил – о, злая ирония предчувствий! – свежие ранки на ее маленьких ушах!.. У нее были драгоценности, у этой женщины, которая желала иметь только настоящие. Она носила в ушах жемчуг или бриллианты и, конечно, считала большой деликатностью со своей стороны, что не показывала их мне!

С этого дня, с тех пор, как исчезло всякое сомнение относительно поведения Маргариты, я решил убить себя. Давно уже следовало сделать это, но... человек слаб, смерть страшна, и потом, надо соз-

наться, я все еще люблю эту женщину и по ночам вижу ее во сне... О, я готов был на всякое унижение! Я мечтал ее взять опять себе, готов был согласиться делить ее с первым встречным, терпеть все... Я насмехался над самим собою, над своей ревностью: «Ты слишком шепетилен для вора!». Но это было сильнее меня. Мысль, что Маргарита обманывала меня, что она продавалась одному или нескольким в то время, как я сидел из-за нее в тюрьме, эта мысль доводила меня до бешенства, до потери сознания!

Да, как я сказал вначале, я мог бы завтра утром завтракать в нашей комнате, у окна, из которого виден большой сад с великолепными деревьями. Да, это было бы восхитительно!.. Но если бы в это время я увидел в печке камина окурки сигары, брошенный туда ее вчерашним «кавалером», я способен был бы схватить нож и всадить ей в сердце... Я не хочу быть убийцей – довольно и того, что я сделался вором! Лучше умереть...

Умереть без ненависти к ней, сказавши себе, что все случившееся было неизбежно, что, в общем, она была искренна, даже немножко любила меня, когда дала обещание, которое у нее не хватило сил сдержать.

Прощай, Маргарита! В глубине души ты не злой человек и, прочтя это, думаю, всплакнешь минутку. Но все забывается, и потом, когда кто-нибудь из твоих случайных любовников попросит тебя рассказать твою жизнь, ты будешь даже тщеславиться, как все тебе подобные! Босиком вскочишь ты с кровати, чтобы достать эти листки из верхнего ящика комода, где они у тебя хранятся вместе с квитанциями из ломбарда и колодой карт. Улегшись снова, ты заставишь своего гостя читать мою исповедь и будешь гордиться, имея возможность доказать ему, что из-за тебя убил себя какой-то несчастный...

А! бьет уже полночь! Моя свеча сейчас догорит. Я уже скрутил жгутом простыню, брус у окна прочен... Смелей, пора кончить с этим!..

(Опубликовано в «Сибирской жизни». 1900. № 212 (1 октября). С. 2; № 214 (4 октября) С. 2. Переводчик не указан)

LES FIANCÉS DE NOËL

Désiré Muguet, dessinateur et graveur de planches anatomiques, celui qui a reproduit, au pointillé, tant de cerveaux, de poumons, de cœurs, de foies, de rates et d'intestins pour les publications de Testevuide et C^{ie}, les célèbres éditeurs d'ouvrages médicaux de la rue Antoine-Dubois, n'avait pas embrassé la carrière des arts – vous vous en doutez bien – avec l'intention préconçue de choisir celle utile, mais dégoûtante spécialité. Du temps où, jeune élève de l'École de dessin, au cours du soir, il travaillait, le fusain ou l'estompe en main, d'après l'Écorché de Houdon, il n'avait même pas eu le moindre pressentiment de sa destinée, devant ce terrible bonhomme montrant ses muscles à nu et décortiqué comme une orange. Bien au contraire, cet Écorché lui était peu sympathique. Enfant timide et bien élevé, il trouvait que ce personnage poussait beaucoup trop loin le déshabillé. Quand, ayant fait des progrès, il fut autorisé par le maître à lâcher l'homme sans épiderme ni derme, et à attaquer l'Apollon du Belvédère et la Vénus pudique, il éprouva un véritable soulagement et copia avec grand plaisir ces deux divinités, qui, bien que dépourvues de draperies flottantes et de feuilles de vigne, avaient au moins la décence de garder leur peau.

Comme tant d'autres, dans sa jeunesse d'artiste, Désiré avait rêvé la gloire. Mais, de ces rêves-là, au prix où est le beurre, il faut en rabattre. J'ai connu autrefois, au fond d'un petit café des Batignolles, un poète qui haussait les épaules quand on prononçait devant lui le nom de Victor Hugo, et qui, maintenant, gagne ses quarante sous par jour en composant chaque matin, devant son miroir à barbe, un distique-réclame qui préconise un savon. Et il n'est pas à plaindre. C'est un très beau prix ; un franc la ligne. Seulement ; le « lanceur » du savon n'accepte que deux vers par jour, pas davantage, à cause du tarif très élevé de la publicité dans les journaux. Une fois, le malheureux poète, ayant risqué un quatrain, faillit être cassé aux gages.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК (Перевод с французского для «Сиб. В.»)

Дезире Мюге, рисовальщик и гравёр анатомических таблиц, выбрал карьеру художника, как вы, конечно, предполагаете, вовсе не с предвзятым намерением заняться этой полезной, но не привлекательной специальностью.

Когда юным учеником рисовальной школы на вечерних курсах он работал над гудоновским *Escorche*, он и не предчувствовал своей судьбы, всматриваясь в эту фигуру, с обнаженными мускулами и лишенную кожи, точно очищенный апельсин. Напротив, этот *Escorche* вызвал в нем отвращение, и он почувствовал истинное облегчение, когда учитель позволил ему перейти к рисованию Аполлона и Венеры.

Как и другие, Дезире во времена своей артистической юности мечтал о славе, но от этих мечтаний ему пришлось отказаться. Допущенный к конкурсу на получение римской премии, он не получил ее. А между тем сюжет был прекрасный: «Фемистокл, просящий гостеприимства у молосского царя Адмета». Его композиция была удачна, но он забыл про молосских собак! Отсюда жюри сделало вывод, что у него недостает воображения, и предпочло ему Петраза, который из того, что в этот день думал о знаменитых собаках, сделал великолепную карьеру, получил крупные заказы, институт, ордена, а в настоящее время малюет портреты наших знаменитых современников, портреты бледные, на туманном фоне.

«Неудача!» – мог бы отмечать черными буквами на своей почтовой бумаге Дезире Мюге в качестве девиза, если бы ему не приходилось для своих редких писем довольствоваться тетрадкой в два су, купленной в лавочке напротив. И, однако, этот честный малый при самом появлении на свет имел удачу, самую крупную, по-моему: его отец и мать были честные люди...

Это не такая обычная и не имеющая значения вещь, как вы думаете. А вы, эволюционист, надоедающий нам законом

Désiré Muguet, qui avait donné des espérances dans son printemps, et qu'on avait pris très au sérieux, un moment, à l'École des Beaux-Arts, n'aurait pas demandé mieux, lui aussi, parbleu ! que de vendre sa peinture, comme feu. Meissonier, à trois ou quatre mille francs le centimètre carré. Mais voilà ! Admis en loge, à vingt-neuf ans – la limite d'âge, – il avait raté son prix de Rome. Un beau sujet, pourtant : Thémistocle implorant l'hospitalité d'Admète, roi des Molosses. Sa composition était bonne; seulement quelle faute ! il avait oublié les chiens, les chiens:molosses ! Le jury en conclut qu'il manquait d'imagination et lui préféra Pétraz, qui pour avoir pensé ce jour-là aux fameux chiens – a fait un chemin superbe, avec les grosses commandes, l'Institut, une brochette de décorations, toutes les herbes de la Saint-Jean, et brosse aujourd'hui les portraits de nos plus illustres contemporains, tous si blafards sur un fond si ténébreux qu'il semble qu'on les a peints avec de l'amidon au fond d'une cave.

« Pas de chance ! » Telle est la devise que Désiré Muguet aurait pu faire imprimer, en caractères noirs et glacés, sur son papier à lettres, si le pauvre diable ne s'était contenté, pour sa rare correspondance, du cahier de deux sous acheté chez l'épicière d'en face.

Il avait eu cependant, le brave garçon, en venant au monde, un très grand bonheur, le plus grand même, à mon humble avis. Son père et sa mère étaient d'honnêtes gens...

Qu'est-ce que vous dites ? Que c'est ordinaire, banal ? Pas tant que vous croyez. Et ne souriez pas, vous, là-bas, le matérialiste ! Il y a assez longtemps que vous nous assommez avec vos lois de l'hérédité. Pourquoi n'admettriez-vous pas que l'amour du bien se transmet comme la goutte et qu'on peut être à la fois, par atavisme, arthritique et vertueux ? Je ne défends pas plus que cela ma théorie; elle n'est pas infallible. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que Désiré tenait des auteurs de ses jours une conscience d'une bonne et solide étoffe, tissée d'honneur et de bonté, – quelque chose d'inusable, tout laine, qui devait lui tenir chaud au cœur pendant toute sa vie.

Le père de Désiré Muguet, ancien soldat, exerçait la modeste, mais très respectable profession de garçon de recette dans une maison de banque. Existe-t-il un rapport naturel entre la probité scrupuleuse, d'une part, et, d'autre part, les habits de drap gris bleu à larges basques et les chapeaux à deux cornes ? C'est probable. Car vous pouvez confier un portefeuille gonflé de billets de mille francs à tout homme ainsi vêtu et coiffé, bien qu'il n'ait, en général, pour ses voluptés particulières, que très peu de sous dans son porte-monnaie, et vous pouvez le laisser courir, du

наследственности, не смейтесь: почему вы не хотите допустить, что любовь к добру может также передаваться по наследству, как подагра, что от предков можно одинаково унаследовать как болезни, так и добродетели? Как бы там ни было, но Дезире, несомненно, получил от своих родителей ясное и твердое понимание чести и доброты, нечто постоянное, что всю жизнь должно было согреть его. Отец Дезире, бывший солдат, занимал скромную, почтенную должность посыльного в одном замке. Есть ли необходимая связь между самой щепетильной честностью, с одной стороны, и серым суконным фракком с широкими фалдами и треуголкой – этим мундиром банковского посыльного – с другой: весьма возможно, так как вы смело можете доверить туго набитый тысячефранковыми билетами портфель всякому человеку, одетому в этот мундир, хотя получающему обыкновенно очень ничтожное вознаграждение. Что же касается отца Мюге, он был образцовым банковским посыльным и, сверх того, добрым мужем и отцом, который геройски отказался от курения, когда увидал, что его жена, прекрасная белошвейка, работает до полночи, теряя зрение, чтобы покрыть издержки, вызванные рождением Дезире.

Эта мать, хотя была только скромной работницей, передала своему сыну утонченную, аристократическую чувствительность.

Такие женские характеры встречаются нередко среди парижского простонародия. Мать Дезире была счастлива, когда ее мальчик обнаружил большие способности к рисованию. «Может быть, из него выйдет великий артист», – говорила она, когда отец несколько тревожился по поводу призвания сына, что помешало ему чувствовать гордость, получая от мальчика в подарок на именины целую тетрадь рисунков.

Бедные люди подвергали себя всевозможным лишениям, чтобы только дать Дезире возможность получить художественное образование, а это требовало долгих лет. Усы отца успели поседеть, изящное лицо матери покрыться морщинами, а Дезире все еще оставался простым учеником и ничего не зарабатывал. Честного малого это мучило, он упрекал себя за то, что его родителя из-за него приносят жертвы, он двадцать раз предлагал им отказаться от артистических надежд и взяться за какое-нибудь ремесло, но добряки, веря в будущность своего сына, мужественно сопротивлялись.

Скромный по натуре, Дезире довольно скоро сам начал сомневаться в себе. По правде сказать, у него не было ничего оригинального, он не обладал гениальностью. Твердой волей и

matin au soir, parmi toutes les tentations de Paris, sans que jamais – ou, du moins, l'accident est extrêmement rare – l'homme en drap gris bleu ait l'idée de filer sur Bruxelles par le rapide. Preuve consolante, en somme, que les fils d'Adam sont beaucoup moins canailles qu'on veut bien dire. Quant au père Muguet, c'était le modèle des garçons de banque et, de plus, une si bonne pâte de mari et de père de famille qu'il supprima héroïquement son tabac, quand il vit sa femme, excellente ouvrière en lingerie, travailler jusqu'à minuit et se perdre les yeux sous la lampe pour parer au surcroît de dépense causé par la naissance de leur petit Désiré.

Cette maman, bien qu'elle ne fût qu'une humble ouvrière, avait transmis à son fils une extrême sensibilité, une façon délicate, disons le mot, aristocratique, de sentir et de penser. De telles natures de femmes ne sont pas rares dans le petit peuple de Paris. Celle-ci fut bien heureuse, quand son garçon manifesta de remarquables dispositions pour le dessin. « Il sera peut-être un grand artiste !... » dit-elle alors au père Muguet, un peu inquiété par la vocation de l'enfant, mais tout fier, néanmoins, quand le petit lui offrait, pour le jour de sa fête, deux pages de nez et d'oreilles, et un Vitellius aux deux crayons, d'après la bosse.

Le pauvre ménage s'imposa toutes sortes de privations pour que Désiré fît ses études artistiques, et cela pendant de longues années. La moustache du père devint toute grise et des rides se creusèrent sur le fin visage de la maman, cependant que Désiré restait un simple rapin et ne gagnait pas sa vie. L'honnête garçon en souffrait, se reprochait d'obliger ses parents à cette vie de sacrifices. Vingt fois il leur proposa de renoncer à ses espérances, de « faire du métier ». Mais les bonnes gens, refusaient courageusement, ayant confiance dans l'avenir de leur fils, trompés par ses succès d'école.

Naturellement modeste, Désiré douta de lui-même assez vite. La vérité, c'est qu'il n'avait pas le moindre génie. Rien d'original. Tout au plus aurait-il pu parvenir, à la longue, avec beaucoup d'effort et de volonté, à acquérir un petit talent bien sage, à faire, par exemple, de bons et consciencieux portraits. Mais, comme son dessin était irréprochablement correct, son maître, un élève d'Ingres ; surnommé par la rapinaille le « Colonel des Pompiers », citait sans cesse Désiré en exemple aux camarades. Il n'était nullement grisé par ces éloges, en rougissait presque. Ils lui donnaient pourtant quelques : illusions, l'attardaient, le figeaient dans les médiocres triomphes du fort en thème, dans les satisfactions du bon élève, contenté par une place honorable au concours, une médaille d'encouragement, le « très bien » du professeur.

большим трудом он мог бы добиться, самое большое, таланта делать добросовестные, хорошие портреты. Но так как учитель постоянно ставил его в пример товарищам за безукоризненность рисунка, то его похвалы поддерживали в Дезире некоторые иллюзии, хотя иногда они заставляли его краснеть.

Он несколько помогал семье, давая уроки, получая то там, то здесь какой-нибудь небольшой заказ; он пытался работать в иллюстрированных газетах, но тут потерпел неудачу, так как ему не доставало тонкости рисунка, способности быстро импровизировать.

В общем – невеселая юность. Будучи нежным сыном, он видел, что его любимые родители стареют в нужде и лишениях из-за него, и по чувству долга отказывал себе в развлечениях, по временам с невольным ужасом спрашивая себя – что же дала ему жизнь, и чего он может ждать от нее. Ответ на это дала ему неожиданная катастрофа.

Отец его умер скоропостижно, а мать, почти ослепшая от шитья, принуждена была отказаться от работы. Дезире в это время было тридцать лет, и он только что провалился с римской премией, забыв про собак молосского царя, так что все беды обрушились на него сразу. Но неприятности служат хорошим возбуждающим средством для людей, у которых сердце на месте.

Дезире сразу отказался от своих мечтаний об артистической славе, которые, к слову сказать, не особенно и мучили его. Прежде всего, нужно было подумать о маме, взяться хоть за какую-нибудь работу, чтобы было чем жить. Ему уже раньше предлагали рисовать и гравировать анатомические таблицы, и тут его достоинство хорошего рисовальщика имело большее значение, и он принял предложение издателей медицинских сочинений Тестеуида и К°. Бедный Дезире Мюге, носивший имя Цветка (Muguet – Ландыш), обладавший нежной, как цветок, душою, чуть не падавший в обморок при виде крови, когда ему случалось порезать себе палец, теперь храбро преодолевал свое отвращение, целые дни проводя в анатомических театрах, возле диссекционных столов, рисуя с натуры все эти ужасы.

Это было ужасно, но за это Дезире зарабатывал теперь двенадцать или тринадцать франков в день. С восьми до одиннадцати он проводил в ученых бойнях перед сердцем, лопнувшим от аневризма, или перед изъеденным раком желудком и т.п. Он так же тщательно, как делал это в школе, отделявал свой рисунок. Потом, вернувшись в свою маленькую квартиру на четвертом этаже, в улице de la Harpe, бедный малый после завтрака садился гравировать до вечера другое

Il n'était pas absolument à charge à sa famille, et, plein de bonne volonté, il cherchait sans cesse, et trouvait par-ci, par-là, une besogne mal payée, un portrait, quelques leçons. Il essaya aussi de travailler pour les journaux illustrés, n'y réussit guère, manquant de facilité, incapable d'improviser vivement un croquis.

Lugubre jeunesse, après tout. Fils exemplaire, il voyait vieillir dans la gêne, à cause de lui, des parents bien aimés, s'abstenait, par devoir, de tout plaisir, de toute distraction, et se demandait parfois, avec un grand frisson, s'il n'avait pas manqué sa vie et ce qu'il allait devenir.

Une catastrophe lui donna la réponse.

Son père mourut subitement, et sa mère, atteinte d'une maladie d'yeux qui la rendit en quelques mois presque aveugle, dut abandonner tout travail. Désiré avait alors trente ans et venait justement de manquer son prix de Rome pour avoir oublié les chiens du roi des Molosses. C'était tous les malheurs à la fois. Mais l'adversité donne un fameux coup de fouet aux gens qui ont le coeur à sa place.

Désiré renonça tout de suite à ses ambitions d'artiste, à ses rêves de gloire, qui, d'ailleurs, avouons-le, ne l'étouffaient point. Avant tout, il fallait s'occuper de la maman, n'est-ce pas ? faire n'importe quoi, gagner sa journée comme un ouvrier. Déjà on lui avait proposé de dessiner et de graver – il maniait un peu le burin – des planches anatomiques. Ici, son mérite de dessinateur exact devenait précieux. Il accepta donc l'offre de Testevuide et C^{ie}. Le pauvre Désiré Muguet, qui portait un nom de fleur, qui avait une âme de fleur, et qui jadis pensait s'évanouir, à la vue du sang, quand il se coupait le pouce en taillant son fusain, surmonta bravement sa répugnance, alla tous les jours aux amphithéâtres, s'installa, le carton sur les genoux, près des tables de dissection, et copia, d'après nature, toute cette triperie.

C'était horrible; mais maintenant Désiré gagnait ses douze ou quinze francs par jour. De huit à onze heures, il était dans les charniers scientifiques, devant un coeur crevé par l'anévrisme, un estomac rongé d'un cancer ou une paire de poumons criblés de tubercules. Il pignochait son dessin, consciencieusement, minutieusement, comme jadis, au Musée des Antiques, quand il dessinait la Polymnie ou le Discobole. Puis, de retour chez lui, rue de La Harpe, dans le petit logement, au quatrième étage, le pauvre garçon, après déjeuner, courbé sur sa planche de cuivre, devant son transparent de papier, gravait jusqu'au soir un autre coeur hypertrophié, un autre estomac cancéreux, une autre paire de poumons de phthisique. Pour être gai, non, ce n'était pas gai ! Mais il y avait du charbon

гипертрофированное сердце или желудок больного раком. Нельзя сказать, чтобы это было весело, но зато в печке был уголь, в буфете имелся хлеб; в кухне кипел суп в кастрюле, а возле самоотверженного работника-сына, сидя в большом кресле, мама с больными глазами, защищенными от света светло-зеленым зонтиком, спокойно вязала шерстяной чулок.

Нельзя сказать, чтобы сознание исполненного долга совершенно заглушило у Дезире всякое сожаление о прошлом, потому что, отказавшись от искусства, он должен был также вырвать из сердца зарождавшуюся любовь, что для него было гораздо больнее.

Дезире познакомился в Лувре с m-lle Кларой, такой же бедной артисткой, как он, жившей копиями и уроками вместе с разбитым параличом отцом, который получал ничтожную пенсию в качестве отставного чиновника министерства финансов. Дезире был так робок, что не скоро решился обратиться к хорошенькой художнице с разговором, и она окончила копию с одной картины и приготавливалась копировать «Положение во гроб» Тициана, когда он придумал предложить одолжить краски и завел разговор с молодой девушкой. Их идиллия расцветала медленно, и фоном ей всегда служила какая-нибудь знаменитая картина. Они признались друг другу в любви перед «Кустами» Рюнеделя; он подарил ей обручальное колечко перед «Жокондой», и Клара только что начала копировать «Разбитый кувшин» Греза, когда он рассказал ей, какое несчастье обрушилось на него, смерть отца и глазная болезнь матери, и они должны были признать, что они слишком бедны и несут слишком много обязанностей, чтобы мечтать о браке; и они распрощались, избегая смотреть друг на друга, чтобы не расплакаться. С тех пор прошло уже десять лет, а Дезире все еще не мог забыть хорошенькой художницы, хотя знал о ней только то, что она потеряла отца и была теперь учительницей рисования в женских пансионах.

Наконец ко всем печалям прибавилось еще одно смешное огорчение, – хотя Дезире едва только минуло сорок лет, его борода начала седеть, но по странной случайности она поседела только с одной стороны, слева, так что несчастный похож был на живую рекламу какого-нибудь парфюмера, изобретшего новое средство для окраски волос. Дезире никогда не находил никакой красоты в своем тщедушном, меланхолическом лице и не обращал на него ни малейшего внимания. Но его раздражала эта физическая странность, благодаря которой он обладал двумя различными профилями – справа профилем молодого человека, а слева профилем старика. Ему казалось, что

dans le poêle, du pain dans le buffet ; un pot-au-feu bouillait tout doucement sur le fourneau de la cuisine ; et, près du fils laborieux et dévoué, assise dans le vieux fauteuil, la maman aux yeux malades et protégés par un abat-jour vert, tricotait paisiblement un bas de laine.

Le sentiment du devoir accompli avait-il tué, dans l'esprit de Désiré Muguet, tout regret du passé ? Pas tout à fait, il faut le dire. Car, en abandonnant le grand art et en s'établissant portraitiste de viscères et d'entrailles, il n'avait pas renoncé seulement à ses petits succès de l'École des Beaux-Arts et aux compliments périodiques du « Colonel des Pompiers » ; il avait dû encore – et c'était bien plus douloureux – s'arracher du coeur un amour naissant.

C'était au Louvre qu'il avait fait la connaissance de mademoiselle Clara, une pauvre artiste comme lui, qui vivait de copies et de leçons, avec un vieux père paralytique, ancien employé aux Finances, qui grignotait une chétive pension de retraite dans un rez-de-chaussée à jardinet ; tout au fond de Neuilly. Quand Désiré Muguet s'était aperçu que mademoiselle Clara, avait de jolis yeux, elle avait installé son chevalet devant la Femme hydropique. Mais il était si timide qu'elle put achever de reproduire – oh ! très imparfaitement ! – le chef-d'oeuvre de Gérard Dow, avant que le rapin osât lui adresser la parole ; et elle avait déjà préparé au bitume, sur une toile neuve, la Mise au tombeau du Titien, quand Désiré, sous prétexte de lui emprunter un tube de vert Véronèse, lia conversation avec la jeune fille. Leur idylle fut lente, et elle eut toujours pour fond de décor un tableau illustre. Ils se dirent qu'ils s'aimaient devant le Buisson de Ruysdaël ; il lui fit accepter une petite bague de fiançailles en présence de la Joconde ; et Clara venait à peine d'entreprendre une Cruche cassée, d'après Greuze, lorsque Désiré lui annonça le désastre qui l'accablait, la mort du père Muguet, la maladie d'yeux de la maman, et qu'ils durent s'avouer l'un et l'autre qu'ils étaient trop pauvres et qu'ils avaient trop de charges pour se marier. Ils s'étaient alors dit adieu, les honnêtes enfants, en évitant de se regarder dans les yeux pour ne pas voir leurs larmes ; et dix ans avaient passé depuis lors sans que Désiré oubliât la gentille copiste dont il n'avait pourtant que de vagues nouvelles, sachant seulement qu'elle avait perdu son père et qu'elle était maintenant maîtresse de dessin dans des pensionnats de jeunes demoiselles.

Enfin, à toutes les tristesses de la vie de Désiré, vint s'ajouter un chagrin ridicule. Bien qu'il eût à peine quarante ans, sa barbe se mit à blanchir. Si elle avait blanchi comme les autres barbes, il n'y aurait même pas fait attention. Mais, par un singulier phénomène, elle ne devint

он стал уродом. На улице все оглядывались на него, и это так расстраивало его, что ему приходило в голову желание испытать новые огорчения, которые заставили бы поседеть и остальную часть бороды.

Однако мало-помалу его жизнь вошла в колею. У Тестеуида и К^о им были очень довольны. Он имел теперь небольшие сбережения и мог доставлять своей милой старой маме кой-какие удобства. Но все же что это была за печальная, безрадостная жизнь! В этот вечер, накануне Рождества, Дезире, просидев до одиннадцати часов за гравированием мозга сумасшедшего, обернулся к дремавшей у печки матери и, зная ее религиозность и любовь полакомиться, предложил ей:

– Если мы в силах, мама, я провожу тебя в церковь Сен Северин к ночной службе, а на обратном пути – ты знаешь, в сочельник колбасные не запираются, – мы купим что-нибудь хорошенькое и справим сочельник.

Но добрая старушка боялась выходить в такую погоду.

– Ступай один, милый Дезире, а я прочитаю службу дома, в ожидании твоего возвращения, но ты все-таки купи галантину и мешок каштанов.

Когда он, уходя, поцеловал ее в лоб, она обняла его и прошептала.

– Мой бедный мальчик, Рождеству следовало бы тебе принести немножко счастья!

Ужасная погода! Черный, сырой, пронзительный холод. Крупные хлопья снега падая таяли на мостовой.

Но в средневековых переулках, ведущих к церкви, все лавки были освещены по случаю сочельника, и квартал имел праздничный вид. Хозяйки, с корзинками в руках, бегали из одной лавки в другую, а около кафе и ресторанов выставлены были целые горы устричных раковин и слышалось пение. Дезире наслаждался народным весельем. Но шедшая под руку со студентом высокая девушка в шляпе с перьями посмотрела на художника и воскликнула, расхохотавшись: Погляди-ка на это! Отчего это его только с одного боку запорошило снегом?

И Дезире Мюге, внезапно опечаленный воспоминанием о своей физической странности, поскорее пошел в церковь. Там, стоя в глубине церкви, под торжествующие звуки органа он вспоминал о словах матери. Да, Рождеству следовало бы принести ему какой-нибудь приятный сюрприз, вроде мешка с конфетами, какой он находил по

blanche que d'un seul côté, du côté gauche, – celui du coeur, – de telle sorte qu'avec sa barbe mi-partie, pareille au maillot d'un personnage du XVe siècle, le malheureux ressemblait à la réclame d'un parfumeur, inventeur d'une eau ou d'une pommade pour se teindre. Désiré qui, par économie, faisait durer trois ans ses feutres et ses vestons, Désiré qui, en se regardant dans la glace, n'avait jamais trouvé le moindre agrément à son chétif et mélancolique visage, était sans prétention aucune. Mais cette singularité physique, qui lui donnait deux profils, – à droite, celui d'un jeune homme, à gauche, celui d'un vieillard – l'impatientait. Il avait un peu la sensation d'être un monstre. Tout le monde le regardait dans les rues; il en était énervé, et il se surprenait à souhaiter de nouveaux soucis qui lui blanchiraient enfin le reste de la barbe.

Cependant, peu à peu, son existence s'arrangeait. On était très content de lui chez Testevuide et Cie. Ses dernières planches – un sarcome du rein et un lupus vorax de la face – lui avaient valu les compliments de l'éditeur. Il possédait maintenant une petite épargne, pouvait accorder quelques douceurs à sa chère vieille femme de mère, dont les yeux n'allaient pas plus mal. Mais quelle triste vie, tout de même ! Aussi, ce soir-là, veille de Noël, dans le logement de la rue de La Harpe où il demeurait depuis vingt ans, après être resté jusqu'à onze heures penché sous l'abat-jour à graver un cerveau d'aliéné, Désiré se tourna vers la maman, qui sommeillait devant le poêle, et, la sachant très pieuse et un peu friande, il lui dit :

« Si tu t'en sens le courage, maman, je vais te conduire à Saint-Séverin, à la messe de minuit... Et en revenant, – tu sais, les charcutiers ne ferment pas, ce soir, – eh bien, nous achèterons quelque chose de truffé et nous ferons un petit réveillon.

Mais la bonne femme n'était guère en train, n'osait pas sortir.

« Vas-y tout seul, mon bon Désiré. Tu. prieras pour nous deux et je lirai la messe devant le feu en attendant ton retour... Et rapporte, tout de même, un peu de. galantine et un sac de marrons. »

Et comme, avant de sortir, il la baisait au front. elle l'embrassa et l'attira sur son coeur.

« Mon pauvre enfant, murmura-t-elle, Noël devrait pourtant te donner un peu de bonheur !...»

L'affreux temps ! Un froid noir, humide, pénétrant. De gros flocons de. neige tombaient et se fondaient en boue sur le pavé. Mais, dans les ruelles moyenâgeuses qui. serpentent autour de la vieille église, plus d'une boutique flambait, à cause du réveillon, et le quartier avait un air de

утрам в своем башмаке, когда был маленьким. Разве в самом деле он так и должен состариться и умереть, не увидев в жизни ничего, кроме труда и обязанностей? Он не был требователен, но, право же, из радостей ему досталась уж слишком ничтожная часть. У него ничего не было, ничего, даже и любви.

И вот он вспомнил m-lle Клару и их бледный маленький роман, и тот день, когда он, весь дрожа, опустил первую любовную записку в ящик с красками, принадлежащий молодой девушке. Увы! после признания, после подарка обручального кольца им пришлось из-за семейных обязанностей отказаться от своих надежд на счастье. И позже, когда Дезире сознался своей матери, какую жертву принес он, добрая женщина, вынудившая это признание у сына, которого неожиданно застала в слезах, расплакалась и сама, но все-таки сказала: «В конце концов ты хорошо и сделал, мой бедный мальчик, это было бы неблагоприятно».

Что-то случилось теперь с хорошенькой Кларой. Когда-то ему сказали, что она осиротела и продолжала давать уроки рисования. «Ах, у ней должно быть много горя! Бедная девушка! Она любила его, в этом он уверен, и по его просьбе согласилась оставить у себя подаренное им обручальное кольцо, жалкий золотой обруч, который он купил за двенадцать франков».

Эти воспоминания привели Дезире в такое печальное настроение, что он ушел из празднично освещенной церкви и, купив галантину и каштанов, вернулся на свой четвертый этаж. Но что такое происходит в его квартире? Дверь полуоткрыта, он слышит два женских голоса и как будто рыдания... Случилось какое-то несчастье!.. Может быть, мама захворала. Торопливо вошел он и остолбенел...

В старом кресле сидит женщина, бледная, в лохмотьях, а подле нее, на табуретке, мама держит руки бедняжки, точно отогревая их. Не сон ли это? Он узнал несчастное создание! Эти исхудалые, но чистые черты лица, эти впалые, но кроткие глаза – это черты, это глаза его Клары, которую он не видел десять лет, но которую никогда не забывал! С громким криком «Клара!» Дезире бросился вперед.

Мать встала и, положив обе руки на плечи сыну, сказала хрипящим голосом:

– Да, Клара, твоя бедная Клара, которая только что рассказала мне свою жизнь, жизнь честной и мужественной девушки... Два года назад Клара лишилась своего отца, тщетно старалась заработать себе хлеб уроками, терпела самую ужасную бедность... Она уже три

fête. Des ménagères circulaient vivement, le panier sous le bras, entraient chez l'épicier et chez le rôti-seur. A la porte des cabarets, où l'on entendait chanter, il y avait des éboulements de coquilles d'huîtres. Et, dans son bon coeur, Désiré se réjouissait de la joie des pauvres.

Mais une grande fille aux yeux effrontés, en chapeau à panache, qui passait au bras d'un étudiant, dévisagea le dessinateur.

« Tiens ! celui-là ! – cria-t-elle en éclatant de rire. – Pourquoi n'a-t-il neigé que sur un côté de sa barbe ? »

Et, soudain attristé par le souvenir de sa bizarrerie physique, Désiré Muguet entra dans Saint-Séverin.

L'église, – un des bijoux gothiques du vieux Paris, – était grouillante de foule populaire, et d'innombrables cierges la criblaient de gouttes d'or. Tandis qu'au fond du choeur radieux, dans un nuage parfumé d'encens, éclatait l'allégresse du Venite, adoremus, Désiré Muguet, debout auprès d'un pilier, dans un des bas côtés, essaya de se rappeler une prière. Car, si, depuis longtemps, il ne pratiquait plus, ce naïf et ce résigné conservait toujours, cependant un peu de : foi et d'espérance. Alors, il se rappela les paroles de sa mère.

Oui, Noël, devrait bien lui apporter une bonne surprise, quelque chose comme le cornet de bonbons qu'il trouvait ; le matin, dans son soulier, quand il était petit. Est-ce que, vraiment, il était destiné à vieillir et à mourir sans, avoir connu autre chose de la vie que le travail et le devoir ? Il n'était pas exigeant, non ; il savait que la plupart des mortels reçoivent moins d'alouettes tombant toutes rôties dans la bouche que de tuiles tombant sur la tête. Mais, franchement, en fait de félicités, on lui en avait fait la portion trop congrue, et le bon Dieu était son débiteur.

Il n'avait rien eu, rien, – pas même un peu d'amour. – Et voilà qu'il se rappelait mademoiselle Clara, et leur pauvre petit roman à tous les deux, devant les chefs-d'oeuvre du Louvre, et le jour où, tout palpitant, dans le salon des Sept-Cheminées et sous l'ceil sévère du Cuirassier blessé, de Géricault, il avait glissé le premier billet doux dans la boîte à couleurs de la jeune fille. Hélas ! après l'aveu, après le don de l'anneau de fiançailles, il leur avait fallu renoncer à leurs tendres projets, à cause de leurs devoirs de famille. Et, plus tard, quand Désiré, surpris tout en larmes par sa mère, lui avait avoué son sacrifice, la bonne femme avait pleuré, elle aussi, mais elle avait dit : « Après tout, mon pauvre enfant, tu as bien fait. Ce n'était pas raisonnable. »

Qu'avait-elle pu devenir, la gentille Clara ? Un jour, il avait appris qu'elle était orpheline, qu'elle donnait toujours des leçons de dessin,

дня – о, это разрывает мне сердце! – ночевала в ночлежном приюте, а сегодня, когда ее не впустили туда – ты знаешь, там можно ночевать не более трех дней подряд, – едва не бросилась в Сену... Кларе, доведенной до отчаяния, все-таки пришла в голову хорошая мысль обратиться за помощью к маме своего бывшего возлюбленного, к старухе, которая, сама того не зная и не желая, разлучила вас, мои бедные детки!.. Не правда ли, Дезире, теперь она у себя дома, и мы за ней будем ухаживать, и она переночует со мной на кровати после того, как поужинает с нами?

Дезире не понимал, что с ним делается, где он?.. Вот он, рождественский-то сюрприз! Он поцеловал мать и упал к ногам Клары, взял ее руку в свои, покрывая ее слезами и поцелуями, и вдруг заметил на этой руке кольцо... В волнении он поднял глаза на свою подругу, и та, улыбнувшись печальной улыбкой, обнажавшей зубы, прошептала слабым голосом:

– Да... я скорей умерла бы с голоду, чем расстаться с ним...

Бесполезно и говорить, что Дезире не спал и минуты в эту рождественскую ночь, думая о Кларе, которая лежала тут за перегородкой, на одной подушке с мамой. О, как он был рад, что у него есть в сберегательной кассе полторы тысячи франков, а в копилке три луидора! – будет чем заплатить за свадьбу, когда Клара немножко поправится. А потом?.. Ну, потом он будет работать для троих, вот и все! О, теперь он будет рисовать сколько угодно легких, мозгов, печеней, изъеденных самыми ужасными болезнями, и даже не сделает гримасы перед диссекционным столом!

Счастливцев Дезире! Положительно, Рождество решилось вознаградить его за все невзгоды, потому что, когда он взглянул на другой день в зеркало, он увидел, что от волнений, пережитых в ночь, правая половина его бороды тоже поседела; и когда под руку с мамой появилась Клара, хорошо отдохнувшая, не особенно изменившаяся и постаревшая, по правде говоря, почти похожая на прежнюю Клару, она увидела лицо Дезире, уже не похожее на вывеску парфюмера, лицо с седой бородой, но с глазами, полными юношеской любви.

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1900. № 237 (2 ноября). С. 2–3. Перевод «М.Ш.»)

urant le cachet par les boues de Paris. Ah ! elle devait en avoir, de son côté, de la misère. Pauvre fille ! Elle avait eu un sentiment pour lui, tout de même, – il en était bien sûr, – et, sur ses instances, par amitié, au moment de la séparation, elle avait gardé son anneau, un méchant cercle d'or de douze francs, acheté par lui – il s'en souvenait encore – chez un petit bijoutier juif de la rue Rambuteau.

Cette bouffée de souvenirs navre le pauvre Désiré. Il sort de l'église, entre chez le charcutier, s'y fait couper une tranche de galantine, achète ensuite à l'Auvergnat du coin une livre de marrons chauds à brûler la poche, et remonte ses quatre étages.

Mais que se passe-t-il donc chez lui ? La porte est entr'ouverte et il entend deux voix de femmes, et comme des sanglots. A une heure du matin !... Grand Dieu ! Un accident est arrivé ! La mère est malade, peut-être !... Bien vite, il rentre, et s'arrête stupéfait.

Dans le vieux fauteuil est assise une femme très pâle, en haillons noirs, et à ses genoux, sur un tabouret, la maman Muguet tient les mains de la pauvre, comme pour les réchauffer. Mais: est-ce un rêve ? I la reconnaît maintenant, la malheureuse créature ! Ces traits amaigris, mais si purs, ces yeux si creux, mais si doux, ce sont les traits, ce sont les yeux de Glara, qu'il n'a pas revus depuis dix ans, mais qu'il n'a jamais oubliés !

Désiré pousse un grand cri :

« Clara !... »

Mais déjà la mère Muguet s'est relevée, a mis ses deux mains sur les épaules de son fils :

« Oui, Clara, ta pauvre Clara, – lui dit la brave femme d'une voix tremblante, – ta Clara, qui vient de me raconter : sa vie, sa vie de courageuse et honnête fille... Clara qui'a perdu son père il y a deux ans, qui a vainement tâché de gagner son pain en donnant des leçons, qui a souffert la pire pauvreté, qui, depuis trois jours... oh ! cela fend le coeur!... couchait à l'asile de nuit, et qui, n'y étant plus reçue ce soir, – tu sais, on ne vous y garde que trois jours, – a failli se jeter à la Seine !... Clara qui, désespérée, a eu pourtant une bonne inspiration, s'est rappelé que c'était, ce soir, Noël, le jour où est né le Dieu de charité, et est venue demander secours à la maman de son ancien amoureux, à la vieille femme qui, sans le savoir ni le vouloir, vous avait séparés, mes pauvres enfants !... N'est-ce pas, Désiré, qu'elle est maintenant chez elle, et que nous allons la bien soigner, la chérie, et que, dès cette nuit, elle partagera mon lit, après avoir soupé avec nous ?... »

Ah ! Désiré ne sait plus où il est. La voilà, la surprise de Noël ! Il embrasse sa mère et tombe aux pieds de Clara, lui prend la main, la couvre de larmes... et, soudain, il y voit briller un anneau.

Bouleversé d'émotion, il lève les yeux vers sa triste amie. Alors celle-ci, essayant de sourire, – oh ! le lamentable sourire qui montre les dents ! – murmura d'une voix faible :

«Oui... Je serais morte de faim plutôt que de m'en séparer. »

.....
Inutile de vous dire que Désiré ne dormit pas une minute pendant le reste de cette nuit de Noël, en songeant à la pauvre Clara qui était là, derrière la cloison, sur le même oreiller que la vieille maman. Oh ! comme il était content d'avoir quinze cents francs à la caisse d'épargne et trois louis dans la tirelire ! Voilà de quoi payer la noce, dès que Clara se serait un peu refait des joues. Et après ?... Eh bien, après, il travaillerait pour trois, voilà tout. Depuis quelque temps, c'était à peine s'il suffisait aux commandes de Testevuide. Ah ! l'on pourrait maintenant montrer à Désiré des cerveaux, des poumons, des cœurs, des foies, des rates et des intestins ! Et dévorés par des maladies abominables, encore ! Il vous en dessinerait et vous en graverait tant que vous voudriez, et il ne ferait même plus la grimace devant les tables de dissection, à l'École pratique !

Heureux Désiré ! Noël tenait à le combler, décidément. Car, le lendemain matin, se regardant au miroir, avant de se débarbouiller, il vit que le côté droit de sa barbe avait blanchi pendant cette nuit d'émotion ; et quand reparut, donnant le bras à la maman, Clara déjà bien reposée, pas trop changée, pas trop vieillie, en vérité, et presque pareille à la Clara d'autrefois, malgré tant de misère, il put lui : présenter un visage qui ne ressemblait plus à l'enseigne d'un fabricant de teintures, un bon et cordial visage à barbe blanche, mais où brillaient des yeux pleins de jeunesse et d'amour.

Coppée F. Les fiancés de Noël [La ressource électronique] // La bonne souffrance : Contes pour les jours de fête. Paris, 1907. P. 175–192. La version électronique de la publication typographique. – URL: <https://archive.org/stream/labonnesouffran00coppgoog#page/n188/mode/1up>

Литература

Родченко Ю.И. Литература «второго ряда» в переводе томских авторов // Французская литература в томской периодике конца XIX – начала XX в.: дис. ... канд филол наук: 10.01.01. – Томск, 2014. – С. 113–129.



**Катулл (Катюль) Мендес
(Catulle Mendes, 1841–1909)**

Катулл (Катюль) Мендес (Catulle Mendès, 1841–1909) – французский поэт и писатель, родившийся в Бордо в семье португальских евреев. В 18-летнем возрасте Мендес основал литературный журнал «La Revue fantaisiste» (Фантастическое обозрение), в котором публиковались Шарль Бодлер, Теодор де Банвиль, Альфонс Доде, Теофиль Готье и другие известнейшие поэты того времени. Широкая известность к Мендесу пришла в 20 лет после того, как он опубликовал в своем журнале фривольное сочинение «Роман одной ночи» («Roman d'une nuit», 1861), за что был осуждён на месяц лишения свободы и штраф.

В 1860–1880-х гг. Мендес был членом **Парнасской школы** – группы французских поэтов, объединившихся вокруг Теофиля Готье, противопоставивших своё творчество поэтике романтизма. К этому периоду относятся его поэмы, собранные под общим заглавием «Poésies» (Стихотворения), метрическая форма которых доведена до совершенства.

После разрыва с парнасцами в 1890-х гг. Мендес пишет многочисленные драматические пьесы сказочно-романтического содержания, оперные либретто, романы, рассказы, а также остроумные повести порнографического характера.

Современники Мендеса бурно обсуждали не только его сочинения, но и его многочисленные союзы: с Жюдит Готье, младшей дочерью поэта Теофиля Готье, с композитором Огюстой Нолмс и поэтессой Жанной Нетт; о Мендесе сохранились анекдотичные истории и высказывания современников. Фридрих Ницше посвятил свои «Дионисийские дифирамбы» Катуллу Мендесу – «крупнейшему и первому сатиру современности – и не только современности».

Смерть Мендеса также вызвала бурные обсуждения современников: утром 8 февраля 1909 года его тело обнаружили в железнодорожном туннеле Сен-Жермена. По мнению следствия, в полночь он покинул Париж на поезде и, предположительно, открыл дверь своего купе в туннеле, полагая, что прибыл на станцию; биографы Мендеса, однако, предполагают суицид.

В томской периодике конца XIX – начала XX в. были опубликованы семь переводов из Мендеса, однако литературно-критических и информационно-новостных заметок об авторе обнаружено не было.

В хрестоматии приводится последний из опубликованных в сибирской периодике рассказов Катулла Мендеса – «Вечер одного цветка» (“Le soir d’une fleur”, середина 1880-х гг.), переведенный для «Сибирского вестника» переводчицей, скрывавшей свое имя за криптонимом «М.Ш.».

Рассказ воплощает пессимистичное настроение конца XIX века, предчувствие катастрофы, дух декаданса. Интимные переживания поэта связаны с увиденной сценкой: после прошедшего по улицам Парижа парада на земле остается цветок, который подбирает девочка-нищенка. Поэт предчувствует трагическую судьбу этой нищенки и переживает увиденное как напоминание о погибающей красоте мира.

Публикации

1. Мендес К. Другая! / Иван Северный // Сибирский вестник. – 1894. – № 118 (9 октября). – С. 3.
2. Мендес К. Трус // Сибирская жизнь. – 1902. – № 221 (11 октября). – С. 3.
3. Мендес К. Приведение и роза // Сибирская жизнь. – 1903. – № 102 (14 мая). – С. 2.
4. Мендес К. Звезды и глаза // Сибирская жизнь. – 1903. – № 129 (18 июня). – С. 2.
5. Мендес К. Трус / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1903. – № 223 (15 октября). – С. 2.
6. Мендес К. Три добрые феи / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1903. – № 278 (25 декабря). – С. 3.
7. Мендес К. Вечер одного цветка / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1904. – № 12 (16 января). – С. 2.

LE SOIR D'UNE FLEUR

On l'avait jetée, pendant cette fête, de voiture en voiture ; lancée au hasard, attrapée, lancée encore, elle avait été comme le volant de ces exquises raquettes que sont les mains des Parisiennes ; puis, un badaud l'ayant mal agrippée, elle tomba dans la boue, parmi l'herbe rase et humide ; et personne, d'abord, ne s'inquiéta d'elle ; et, plus tard, dans la fête mouillée, mille pieds la piétinèrent, sous la gaieté languissante des lampions et des verres de couleur, tandis que sonnaient les grosses caisses et les trombones des baraques foraines. C'était une toute petite églantine rosé, presque en bouton encore, avec une longue tige épineuse.

Comme je passais, hier soir, à travers la foule, je vis, dans la grisaille de la fange, une petite rougeur pâle qui était cette fleur morte ; tout de suite je devinai quel avait été le sort de l'églantine, triomphante, puis mélancolique, pendant la journée de plaisir et de folie : elle était là maintenant, souvenir, entre deux petits tas de boue, comme entre deux feuillets d'un livre, déjà flétrie, charmante encore, relique souillée et parfumée. J'eus la pensée de la ramasser, de la conserver ; savais-je si je n'y retrouverais point l'odeur qui m'est chère entre toutes, l'odeur que j'ai aspirée, une seule minute, de mes lèvres rapides, sur le bout d'un petit doigt ganté, dans l'antichambre, après le thé de cinq heures, tandis que l'on remet les manteaux ? Et puis, cette rose, c'était tout ce qui restait de la gaieté, d'une heure, de la promenade enrubannée et fleurissante, où Paris avait imité la fantaisie et les rires d'un Corso d'Italie. Le poète qui passe a pour devoir de recueillir ce qui demeure de la joie humaine, cette tristesse qui est comme la lie des choses heureuses ; et, après, il en fait des vers.

Je me baissai donc, pour prendre la fleur.

Mais une main avait devancé la mienne, une toute petite main, celle d'une fillette mal vêtue, sordide, presque en haillons, l'air d'une mendiante. Je laissai faire cette enfant, je ne lui disputai point la morose épave qu'elle saisit et qu'elle mit dans son corsage, sous le bâillement de

ВЕЧЕР ОДНОГО ЦВЕТКА

(Перевод с французского для «Сиб. Вестн.»)

Во время этого праздника цветов его перебрасывали из экипажа в экипаж; его бросали куда попало, ловили, снова бросали, он служил как бы воланом в изящных руках парижанок. Наконец кто-то уронил его, и он упал лицом в грязь, в мокрую стриженую траву. Сначала никто не обратил на него внимания, и потом тысячи ног затоптали его при умирающем свете цветных фонариков, в то время как играли трубы в ярмарочных балаганах. Это был маленький розовый шиповник, почти бутон еще, с длинным, колючим стеблем.

Проходя там вчера вечером, я увидел в серой грязи бледно-розовое пятнышко, этот мертвый цветок. Тотчас я догадался, какова была его судьба, – сперва триумф, а потом печаль; теперь он лежал между двумя кучками грязи, точно сувенир между листами книги, уже увядший, но все еще очаровательный, загрязненная, но душистая реликвия. Мне пришло в голову поднять его и спрятать. Почему я знаю, не встречу ли я в нем тот дорогой мне запах, который я вдыхал только раз, только одну минуту, в прихожей, когда все разъезжались после вечернего чая, вдыхал от маленькой ручки, затянутой в перчатку? А кроме того, этот цветок – все, что осталось от минутного веселья, от этой разряженной кавалькады, которая перенесла в Париж смех и шутки итальянского Корсо. Проходящий мимо поэт обязан собрать все, что остается от человеческой радости, ту печаль, которая служит как бы ложем для всякого веселья, а потом он пишет стихи.

Итак, я наклонился поднять цветок, но чья-то маленькая ручка предупредила мою. Это была рука плохо одетой, грязной и оборванной девочки, по виду нищей. Я не стал оспаривать у ребенка эту грустную эмблему веселья, и она схватила цветок быстро, точно крадучись, и спрятала его за расстегнутый ворот платья. Бедная ма-

l'étoffé sans boutons, très vite, furtivement. La pauvre mignonne ! cela lui plaisait, habituée à marcher dans la boue, d'y cueillir une fleur.

Mais j'observai les gens, un homme et une femme, qui étaient avec l'enfant, et je les suivis, parmi le brouhaha de tout ce monde se hâtant sous la pluie. Ils étaient pauvrement habillés, lui en veston, elle en robe de cheviotte sans manteaux ; elle avait dans le cou le désordre de son chignon défait, il avait jusqu'aux yeux, sous un chapeau rond, des frisures de cheveux bruns, annelées par un coiffeur de banlieue. Us montraient tous deux dans leur costume et dans leur attitude, un abandon de misère, un traînaillement de loques. C'était vraiment cet affreux couple parisien : le voyou et sa femelle. Elle ne lui donnait pas le bras ; ils faisaient marcher devant eux la petite fille qui avait ramassé la fleur ; et, en cheminant, ils parlaient.

Chienne de journée tout de même ! à cause de l'ondée toujours menaçante. Les gens riches n'avaient pas quitté leurs voitures, et, avec les bourgeois qui étaient venus pour voir malgré le mauvais temps, il n'y a rien à faire ; ce sont des malins qui prennent garde à leurs poches. Non, c'était enrageant, à la fin, de ne pas pouvoir se tirer d'affaire, lorsqu'on a bonne envie de travailler et qu'on n'est pas plus manchot que les camarades. Les étrangers ont de la chance, eux ; les Anglais surtout, à cause du Grand-Prix ; on les prend pour des gens convenables, qui ont des relations dans les écuries ; on les fait causer, pour avoir des renseignements sur les chevaux qui courent ; et eux, tout en causant... Mais les Français se défient des Français ; pas moyen d'engager la conversation. Enfin, il était dix heures du soir, ils étaient venus à la fête à deux heures de l'après-midi, et, dans tout ce temps-là, pas une aubaine, rien ; ils n'auraient pas eu seulement de quoi prendre un verre avant d'aller se coucher, si la petite n'avait reçu quelques sous, en mendiant entre les voitures. S'il n'y avait pas de quoi se mettre en colère ! Alors, pour vivre, il faudrait donc s'expatrier ? puisqu'il n'y avait pas moyen de faire son métier, honnêtement, dans son pays ! Et tout cela était dit dans des grognements, avec de sales jurons et cet accent des bouges qui donne à toutes les paroles l'ignominie de l'argot.

Pourquoi je suivais, pourquoi j'écoutais ces vils passants ? À cause de la fillette, toute haillonneuse, maigre, laide, chétive. Ce qui était exquis, c'est qu'elle avait ramassé une fleur.

– Marguerite !

– Maman ? dit l'enfant dans une secousse.

La mère lui flanqua une gifle.

лутка! Ей, привыкшей ходить по грязи, приятно было найти цветок в этой грязи.

Я взглянул внимательно на шедших с девочкой мужчину и женщину и пошел за ними, вместе с толпой, торопившейся уйти от дождя. Они были очень бедно одеты, он в пиджаке, она в шерстяном платье, без верхней одежды; ее прическа растрепалась, а у него из-под круглой шляпы кудрявые темные волосы падали на глаза; костюм их обоих доказывал нищету. Это была настоящая парижская уличная парочка – мошенник и его самка. Они шли рядом, не под руку друг с другом, а впереди шла девочка, поднявшая цветок, и по пути они вели разговор.

Чертовски скверный день выдался! Из-за этого ливня богачи не выходили из экипажей, и с буржуа, что пришли поглазеть, несмотря на дождь, ничего не возьмешь – эти хитрецы смотрят в оба за своими карманами. Нет, можно не дойти до бешенства, когда не удастся выпутаться, хотя и есть охота работать, и можешь работать не хуже товарищей! Иностранцам, тем везет, особенно англичанам, из-за скачек: их принимают за честных людей, имеющих знакомства в конюшнях, с ними заводят разговор, чтобы выяснить насчет лошадей, а они под шумок... и того! Но к французам французы чувствуют недоверие, нет возможности завязать разговор... Словом, теперь десять часов вечера, они пришли в два часа пополудни, и за все это время никакой выручки, ничего! Им не на что было выпить стакан вина перед сном, если бы девчонка не выклянчила нескольких су, бродя между экипажами; ну разве можно тут не злиться? Значит, чтобы жить, надо выселиться с родины, где нельзя честно заниматься ремеслом?

Все это говорилось с воркотней, с циничными ругательствами и тем тоном, который каждый разговор делает похожим на воровское аргю. Зачем я шел за этими гнусными тварями и слушал их? Из-за девочки, грязной, оборванной, худой и безобразной, но поднявшей цветок, что делало ее привлекательной.

– Маргарита!

– Мама! – отозвалась девочка, вся вздрогнув. Мать закатила ей пощечину.

– Другой раз торопись отзываться. Видишь, там, впереди нас идут люди. Ну, живой!

– Une autre fois, tu répondras plus vite. Tiens, regarde, là, devant nous, ces gens qui viennent. Allons, dépêche-toi.

L'enfant s'approcha d'une famille bourgeois qui courait presque, dans la pluie, en quête d'une voiture ; et, tendant une main, d'une voix faussement pleurarde :

– Messieurs, mesdames, geignit-elle, nous sommes cinq enfants à la maison. Papa est sans ouvrage. Donnez-moi quelque chose. Ça vous portera Bonheur !

On lui donna une pièce de deux sous, que, les gens passés, elle remit à sa mère.

– Bête ! dit celle-ci, il fallait courir après eux, ils t'auraient donné davantage.

Et elle lui flanqua une autre gifle. La petite fondit en larmes. Elle ne devait pas avoir plus de sept ou huit ans. Elle avait, si maigre, sous le jour des illuminations, une pâleur presque morte, avec des taches de rousseur qui avaient l'air de taches de boue. Et elle pleurait avec de courts sanglots. Puis, elle se remit à marcher devant ce hideux couple, ne pleurant plus, la main dans son corsage. On eût dit que cela la consolait de toucher la fleur qu'elle avait prise.

Qu'est-ce que cela pouvait lui faire, cette fleur ? Née dans quelque sale maison d'une cité populacière, habituée à une vie sans dimanches, elle ne pouvait pas avoir la nostalgie des champs, des buissons, des courses dans les bois, avec les camarades, en sortant de l'école ; une églantine, pour elle, ce devait être quelque chose qu'on vend à des messieurs, le soir, sur le boulevard ; et puis, si on n'a pas fait bonne recette, des coups, après minuit, au retour. Tout le jour, pendant la fête, elle avait vu, des coupés aux victorias, un échange fou de bouquets ; des dames bien habillées, éclatantes, heureuses, la face fleurie de joie, riaient en baissant la tête, pour éviter à leurs chapeaux le heurt envolé des roses et des pivoines ; la haine des fleurs, – des fleurs, métier pour elle, luxe pour les autres, – voilà ce qu'elle aurait dû éprouver ce pauvre être. Mais non, elle tâtait toujours, sous l'étoffe sans boutons, l'églantine ramassée ; et, les yeux à peine séchés, elle avait un sourire aux lèvres, un sourire pensif et résolu, avec un air de préméditation heureuse, comme si elle eût formé le dessein de quelque grande joie. Je remarquai qu'elle avait sous son bras gauche un journal déchiré, mal replié. Une fois, il tomba, elle le reprit très vite. Qu'en voulait-elle faire ? Je la regardais. Maladive et triste, elle n'était point vilaine pourtant. Lavée, bien vêtue, on eut fait une belle en-

Девочка подошла к буржуазной семье, почти бежавшей под дождем, отыскивая извозчика, и, протянув руку, захныкала деланно жалобно:

– Барин, барыня! нас пятеро ребят дома. Папа без работы. Дайте милостыньку! Это приносит счастье.

Ей дали монету в два су, которую она передала матери.

– Дура! – сказала та. – Надо было побежать за ними – они дали бы тебе еще.

И она опять ударила ее. Девочка расплакалась. Ей было не больше семи или восьми лет, и она была страшно худа и почти мертвенно бледна, с веснушками, которые при свете иллюминации казались пятнами грязи. Продолжая всхлипывать, она снова пошла впереди этой отвратительной четы, заложив руки за пазуху. Казалось, для нее было утешением прикоснуться к найденному цветку, и она скоро перестала плакать.

Чем мог быть для нее этот цветок? Родившись в каком-нибудь грязном доме городского предместья, никогда не зная праздничных прогулок, она не могла тосковать о полях, цветах и прогулках в лесах, и для нее шиповник должен был быть только вещью, которую продают на бульварах господам вечером, и, если выручка была плоха, за это получают побои по возвращении домой. Весь день она смотрела на цветочную битву между экипажами; ненависть к цветам, предмету продажи для нее и роскоши для других – вот все, что она должна была чувствовать. Но нет, она постоянно шупала поднятый шиповник и, с еще не высохшими от слез глазами, улыбалась задумчиво, но с видом решимости доставить себе большую радость. Я заметил, что под левой рукой она держала разорванную газету, которую она уронила дорогой, но подняла опять. Что она будет делать с нею? Она шла быстро, и в глазах ее мелькало что-то, похожее на мечту.

Тем временем эта семья и я за нею свернули в какую-то улицу предместья. Они вошли в холщовую палатку и сели за стол. Я также вошел и сел недалеко от них. Они спросили бутылку вина и стали разговаривать шепотом, точно замышляя что-то, и временами поглядывали украдкой на двух ливрейных лакеев, игравших в карты за другим столом. Вокруг нас шумели посетители, требовали вина, ссорились между собой. Но где же девочка? Она сидела на земле, и на нее приятно было взглянуть.

fant riche avec cette laide enfant pauvre. Elle marchait d'un pas décidé. Elle avait dans les yeux quelque chose qui ressemblait à un rêve.

Cependant, l'homme et la femme, moi les suivant toujours, avaient quitté la fête. Ils avaient gagné je ne sais quelle avenue de banlieue, ils s'arrêtèrent sous une tente flottante, lourde de pluie, et prirent place devant une table. Je m'arrêtai aussi, et m'assis non loin d'eux. Ils demandèrent une bouteille de vin. Je les voyais sous la lumière d'un quinquet accroché à un poteau. Lui glabre, elle moustachue, leurs faces étaient repoussantes. Accoudés, ils se parlaient bas, avec un murmure de complot. Autour, de nous, des gens, qui devaient être des palefreniers et des valets de jockeys, menaient grand fracas, buvaient, appelaient le garçon, se querellaient, s'injuriaient. Il y avait, dans l'air, avec une odeur de tonneau en vidange, une odeur d'écurie. Je remarquai que le voyou et sa femelle regardaient par instants, en se faisant des signes, deux valets de chambre, en gilets de livrée, qui jouaient aux cartes, de petites pièces sur la table.

Mais où donc était l'enfant ?

Tout près, assise par terre, entre les souliers des gens.

Et c'était charmant de la voir.

Du vieux journal déchiré, elle avait fait deux petits carrosses en papier, – carrosses, ou leur vague ressemblance, – et ses mains, tantôt celle-ci, tantôt celle-là, lançaient d'une voiture à l'autre la fleur qu'elle avait ramassée tout à l'heure, l'égline ramassée parmi l'herbe humide et rase. Je compris alors pourquoi elle avait saisi si rapidement la mélancolique épave ! pourquoi elle l'avait si soigneusement gardée. Là, entre les jambes des buveurs, parmi l'air sale, les pieds dans la fange, la jupe dans la fange, accroupie, elle imitait, à elle seule, toute la gaieté, toute la gloire épanouie de la fête. Elle recevait et lançait, en une seule égline fanée, les mille bouquets de la fraîche bataille, et elle s'amusait, et elle riait, et elle avait, cette enfant de voleuse, – tandis que l'homme et la femme, penchés au-dessus des verres rouges, complotaient quelque mauvais coup, – elle avait, plus sincère, au cœur et aux lèvres, toute la joie des belles mondaines échangeant des mitrailles épanouies. Bientôt elle rentrerait dans quelque bouge puant, obscure, où l'on dort mal, pendant les querelles avinées du père et de la mère. Mais, n'importe, elle aurait eu, la petite misérable, l'illusion, un instant, d'être heureuse comme tant de magnifiques dames. Et c'était, je le pensai par la pitié du destin, que l'égline rosé, presque en bouton encore, avec une longué tige épineuse, était tombée d'une main maladroite, parmi la boue, dans l'herbe.

Mendès, C. Le Soir d'une fleur [La ressource électronique] / C. Mendès // Les oiseaux bleus – Paris : Victor-Havard, 1888. – P. 1–12. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k91273t/f9.item>

Из старой, разорванной газеты она сделала две бумажные каретки, и ее ручонки поочередно перебрасывали из одной каретки в другую цветок, найденный ею в траве. Теперь я понял, почему она так жадно схватила шиповник и так тщательно берегла его! Сидя между ногами пьяных людей, в душном воздухе, вся в грязи, она в одиночку переживала все веселье и цветущий блеск праздника. В одном шиповнике она получала и бросала тысячи букетов, и смеялась, и переживала всю радость этого дня. Скоро она вернется в зловонную, темную конуру и сквозь сон будет слушать пьяную ссору родителей, но зато хоть на минуту она была счастлива в мечтах. И судьба, я думаю, из сострадания к этой бедняжке, устроила так, что неловкая рука выронила на траву этот розовый полураспустившийся шиповник с длинным, колючим стеблем.

*(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1904. № 12 (16 января).
С. 2. Перевод «М.Ш.»)*



Октав Мирбо
(Octave Mirbeau, 1848–1917)

Октав Мирбо (Octave Mirbeau, 1848–1917) – французский романист, драматург, публицист и художественный критик, член Академии Гонкуров. Родился в семье юристов. Отучившись три года на факультете права Парижского университета, во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. бросает учёбу и вступает в национальную гвардию. После ранения в декабре 1870 г. демобилизуется из армии и пробует свои силы в журналистике как художественный и театральный критик. Литературную славу Мирбо приобретает благодаря своим обличительным произведениям. Известен, прежде всего, своим романом «Сад пыток» («Le Jardin des supplices», 1899), в котором приводит анализ психологической развращенности современного общества, а также книгой «Дневник горничной» («Le Journal d'une femme de chambre», 1900), изобличающей пороки представителей высшего света. Публикация этих произведений производит настоящую сенсацию как во Франции, так и в России. На рубеже XIX–XX вв. чаще всего романы Мирбо переводятся именно на русский язык, некоторые из них даже по несколько раз. В 1907–1911 гг. в Москве в издательстве В.М. Саблина выходит в свет полное собрание сочинений Мирбо в 10 томах. В настоящее время именно два вышеупомянутых романа писателя, переизданные на русском языке в конце XX в., пользуются популярностью у читателя.

Критика

В 1909 г. на страницах «Сибирской жизни» появляется единственная критическая заметка о характере творчества французского писателя. По словам местного критика П. Николаева, «гнойные язвы клерикальных слоев», которые Мирбо нащупывает «с невиданной смелостью и искусством», являются излюбленной темой большинства произведений писателя.

Переводы

Всего в томской периодике опубликованы переводы четырех новелл Мирбо. Новелла «Исповедь Жибори» («La Confession de Gibory») из сборника «Рассказы из хижины» («Contes de la chaumière», 1894) и новелла «Крестины» («Un baptême»), вошедшая в сборник «Жестокые рассказы» («Contes cruels», 1990), посвящены теме разоблачения пороков духовенства. Новелла «Дядюшка Николай» («Le Père Nicolas») из сборника «Письма из моей хижины» («Lettres de ma chaumière», 1886) реалистично описывает суровую жизнь крестьян. К этой новелле «Сибирский вестник» обращается дважды: в 1901 г. выходит первый перевод, выполненный неким «Т.», а в 1904 г. новелла публикуется в переводе «М.Ш.». Помимо реалистических новелл, Мирбо создает ряд мистических произведений, в которых прослеживается явное подражание американскому писателю Э. По. Одним из подобных произведений является новелла «Безумные» («Ils étaient tous fous»), включённая в сборник «Жестокые рассказы» («Contes cruels», 1990). Перепечатка перевода этой новеллы из «Харьковского листка» появляется в «Сибирской жизни» в 1905 г. Наиболее вероятной причиной появления новелл в местных газетах является не только наличие захватывающей фабулы, но и огромная популярность творчества О. Мирбо в России в конце XIX – начале XX в.

Публикации

Критика

1. Николаев П. Фельетон «Сибирской жизни» // Сибирская жизнь. – 1909. – № 26 (1 февраля). – С. 3.

Переводы

1. Мирбо О. Дядя Николай / Т. // Сибирский вестник. – 1901. – № 173 (10 августа). – С. 2.
2. Мирбо О. Эй, дядя Николай / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1905. – № 125 (16 июня). – С. 2.
3. Мирбо О. Безумные // Сибирская жизнь. – 1905. – № 218 (30 октября). – С. 2–3.
4. Мирбо О. Крестины / Е.Г. // Сибирская жизнь. – 1907. – № 28 (20 мая). – С. 3–4.
5. Мирбо О. Исповедь Жибори / М.Г. // Сибирская жизнь. – 1907. – № 72 (20 июля). – С. 2.

LE PÈRE NICOLAS

À M. Auguste Rodin.

Il y avait deux longues heures que nous marchions, dans les champs, sous le soleil qui tombait du ciel comme une pluie de feu ; la sueur ruisseau sur mon corps et la soif, une soif ardente, me dévorait. En vain, j'avais cherché un ru, dont l'eau fraîche chante sous les feuilles, ou bien une source, comme il s'en trouve pourtant beaucoup dans le pays, une petite source qui dort dans sa niche de terre moussue, pareille aux niches où nichent les saints campagnards. Et je me désespérais, la langue desséchée et la gorge brûlante.

– Allons jusqu'à la Heurtaudière, cette ferme que vous voyez là-bas, me dit mon compagnon ; le père Nicolas nous donnera du bon lait.

Nous traversâmes un large guéret dont les mottes crevaient sous nos pas en poussière rouge ; puis, ayant longé un champ d'avoine, étoilé de bluets et de coquelicots, nous arrivâmes en un verger où des vaches, à la robe bringelée, dormaient couchées à l'ombre des pommiers. Au bout du verger était la ferme. Il n'y avait dans la cour, formée par quatre pauvres bâtiments, aucun être vivant, sinon les poules picorant le fumier qui, tout près de la bergerie, baignait dans un lit immonde de purin. Après avoir inutilement essayé d'ouvrir les portes fermées et barricadées, mon compagnon dit :

– Sans doute que le monde est aux champs !

Pourtant il héla :

– Père Nicolas ! Hé ! père Nicolas ?

Aucune voix ne répondit.

– Hé ! père Nicolas !

Ce second appel n'eut pour résultat que d'effaroucher les poules qui s'égaillèrent en gloussant et en battant de l'aile.

– Père Nicolas !

Très désappointé, je pensais sérieusement à aller traire moi-même les vaches du verger, quand une tête de vieille femme, revêche, ridée et toute rouge, apparut à la porte entrebâillée d'un grenier.

ДЯДЯ НИКОЛАЙ (С французского)

Два часа мы шли по полям под лучами солнца, падавшими с неба подобно огненному дождю; пот струился по моему телу, и меня пожирала жажда, палящая жажда. Тщетно искал я ручейка, чистая вода которого журчит под листьями, или, еще лучше, источника, каких много находят в стране, маленького источника, покоящегося в своем ложе из мшистой земли, похожем на ниши в стенах, где гнездятся святые поселяне. Я приходил в отчаяние; язык засох и в горле горело.

– Пойдем до Гертодьера, этой фермы, которая видна там внизу, – сказал мой товарищ, – дядя Николай даст нам хорошего молока.

Мы прошли через широкую пашню, на которой глыбы земли рассыпались под нашими ногами в красную пыль; потом прошли вдоль по полю с овсом, усеянному васильками и диким маком, как звездами, мы пришли во фруктовый сад, где коровы, пестрея, спали под тенью яблонь. В конце фруктового сада была ферма. Во дворе, обставленном четырьмя плохими строениями, не было ни одного живого существа, кроме куриц, клевавших навозную кучу, которая близ овчарни мокла в грязной луже навозной жижи. После бесплодной попытки отворить запертые и забаррикадированные двери товарищ мой сказал:

– Без сомнения все в поле!

Потом он позвал:

– Дядя Николай! Эй! дядя Николай!

Никто не отвечал.

– Эй! дядя Николай!

Этот второй зов имел результат только тот, что напугал кур, которые встрепенулись, кудахтая и хлопая крыльями.

– Дядя Николай!

Очень обманувшись в ожиданиях, я серьезно думал идти сам в сад доить коров, когда в полуотворенной двери чердака показалась голова старой женщины, угрюмая, сморщенная и красная.

– Quen ? s’écria la paysanne, c’est-y vous, monsieur Joseph ? J’ vous avions point remis, ben sût, tout d’ suite. Faites excuses et la compagnie.

Elle se montra tout à fait. Un bonnet de coton, dont la mèche était ramenée sur le front, enserrait sa tête ; une partie des épaules et le cou qu’on eût dits de brique, tant ils avaient été cuits et recuits par le soleil, sortaient décharnés, ravinés, des plis flottants de la chemise de grosse toile que rattachait, aux hanches, un jupon court d’enfant à rayures noires et grises. Des sabots grossièrement taillés à même le tronc d’un bouleau, servaient de chaussures à ses pieds nus, violets et gercés comme un vieux morceau de cuir.

La paysanne ferma la porte du grenier, assujettit l’échelle par où l’on descendait ; mais, avant de mettre le pied sur le premier barreau, elle demanda à mon compagnon :

– C’est-y vous qu’avions hélé après le père Nicolas, moun homme ?

– Oui, la mère, c’est moi.

– Qué qu’vous l’y v’lez, au père Nicolas ?

– Il fait chaud, nous avions soif, et nous voulions lui demander une jatte de lait.

– Espérez-mé, monsieur Joseph ; j’ vas à quant vous.

Elle descendit, le long de l’échelle, lentement, en faisant claquer ses sabots.

– Le père Nicolas n’est donc point là ? interrogea mon compagnon.

– Faites excuses, répondit la vieille, il est là. Ah ! pargué si ! y est, le pauv’ bounhomme pas prêt à démarrer, pour sût ! on l’a mis en bière à c’ matin.

Elle était tout à fait descendue. Après s’être essuyée le front, où la sueur coulait par larges gouttes, elle ajouta :

– Oui, monsieur Joseph, il est mô, le père Nicolas. Ça y est arrivé hier dans la soirant.

Comme nous prenions une mine contristée :

– Ça ne fait ren, ren en tout, dit-elle, v’ allez entrer vous rafraîchi un brin, et vous met’ à vout’ aise, attendiment que j’ vas cri ce qui vous faut.

Elle ouvrit la porte de l’habitation, fermée à double tour.

– Entrez, messieurs, et n’ vous gênez point... faites comme cheuz vous... T’nez, le v’là, l’ père Nicolas.

Sous les poutres enfumées, au fond de la grande pièce sombre, entre les deux lits drapés d’indienne, sur deux chaises était posé un cerceuil de bois blanc, à demi recouvert d’une nappe de toile écruée qu’ornaient seulement le crucifix de cuivre et le rameau de buis bénit.

– Что такое? – вскричала крестьянка. – Это тут вы, мосье Жозеф? Я не вдруг пустила вас. Извините меня вы с товарищем вашим.

Она появилась совсем. Голова была в шерстяном колпаке, кисточка которого торчала на лбу; часть плеч и шея, о которых можно было сказать, что они сделаны из кирпича, до того обожгло и пережгло их солнце, выставлялись – сухие, изрытые морщинами, будто водяными потоками, – из складок толстого полотна, к которому привязана была на бедрах маленькая, как у дитяти, юбочка с черными и серыми полосами. Деревянные башмаки (*sabot*), грубо вырезанные едва ли не из целого ствола березы, служили обувью для ее босых ног фиолетового цвета, истрескавшихся, как старая кожа.

Крестьянка заперла дверь, прикрепила лестницу, по которой спускалась; но прежде чем ступила на первую ступеньку, спросила моего товарища:

– Это вы кликали дядю Николая, моего мужа?

– Да, тетушка, я кликал.

– Чего хотите вы тут от дяди Николая?

– Жарко, нас мучит жажда; и мы хотели попросить у него чашку молока.

– Подождите меня, мосье Жозеф; я схожу, что касается до вас.

Она спустилась по лестнице, медленно, шлепая башмаками.

– Стало быть, дяди Николая тут нет? – спросил мой товарищ.

– Извините, – отвечала старуха, – он тут. Ах, да! Тут он, бедный добряк, с места не трогается, да! Его положили в гроб сегодня утром.

Она совсем спустилась. Отерши лоб, по которому крупными каплями струился пот, она прибавила:

– Да, мосье Жозеф, он умер, дядя Николай. Случилось это вчера, под вечер.

Мы сделали печальные мины.

– Это ничего, совсем ничего, – сказала она, – войдите освежиться малость и располагайтесь, как вам угодно, да подождите, чтоб я принесла, что вам должно.

Она отперла дверь жилья, запертую на два оборота.

– Войдите, господа, не стесняйтесь... будьте как у себя... Смотрите, вон он там, дядя Николай.

Под закоптелыми балками, в конце большой темной комнаты, между двумя кроватями, драпированными ситцем, на двух стульях поставлен был гроб из некрашеного дерева, полуприкрытый скатер-

Au pied du cercueil, on avait apporté une petite table sur laquelle une chandelle, en guise de cierge, achevait de se consumer tristement, et où s'étalait un pot de terre brune, plein d'eau bénite, avec un mince balai de genêts servant d'aspergeoir. Ayant fait le signe de la croix, nous jetâmes un peu d'eau sur la bière, et, sans rien dire, nous nous assîmes devant la grande table, en nous regardant ahuris.

La mère Nicolas ne tarda pas à rentrer. Elle apportait avec précaution une vaste jatte de lait qu'elle déposa sur la table en disant :

– Vous pouvez ben en boire tout vout' saoul, allez ! Y en a pas de pus bon et de pus frais.

Pendant qu'elle disposait les bols et qu'elle tirait de la huche la bonne miché de pain bis, mon compagnon lui demanda :

– Était-il malade depuis longtemps, le père Nicolas ?

– Point en tout, monsieur Joseph, répondit la vieille. Pour dire, d'pis queueque temps, y n'était pas vaillant, vaillant. Ça le tracassait dans les pomons ; l' sang, à c' que j' créiais. Deux coups, il était v'nu blanc, pis violet, pis noir, pis il était chu, quasiment mô.

– Vous n'avez donc pas été chercher le médecin ?

– Ben sûr non, monsieur Joseph qu' j'ons point été l' cri, l' médecin. Pour malade, y n'était point malade pour dire. Ça ne l'empêchait point d'aller à dreite, à gauche, de virer partout avé les gars. Hier, j' vas au marché ; quand je reviens, v'là-t-y pas que l' père Nicolas était assis, la tête cont' la table, les bras ballants, et qu'y n'bougeait pas pus qu'eune pierre. « Moun homme ! » qu' j'y dis. Ren. « Père Nicolas, moun homme ! », qu' j'y dis cont' l'oreille. Ren, ren, ren en tout. Alors, j' l' bouge comme ça. Mais v'là-t-y pas qu'y s' met à branler, pis qu'y chute su l' plancher, pis qu'y reste sans seulement mouver eune patte, et noir, noir quasiment comme du charbon. « Bon sens, qu' j' dis, l' père Nicolas qu'est mô ! » Et il était mô, monsieur Joseph, tout à fait mô... Mais vous n' buvez point... Ne v' gênez pas... J'en ai cor, allez... Et pis j' faisons point le beurre en c' moment...

– C'est un grand malheur, dis-je.

– Qué qu' vous v'lez ! répondit la paysanne. C'est l' bon Dieu qui l' veut, ben sûr.

– Vous n'avez donc personne pour le veiller ? interrompit mon compagnon. Et vos enfants ?

– Oh ! y a pas de danger qu'y s'en aille, le pauv' bounhomme. Et pis les gars sont aux champs, à rentrer les foin. Faut pas qu' la besogne chôme pour ça... Ça n' l' f'rait point r'veni, dites, pis qu'il est mô !

тью из небеленого полотна, украшенный только медным распятием и освященною веткой букса. В ногах у гроба поставлен был маленький столик, на котором сальная свеча в подсвечнике, вместо восковой церковной свечи, печально догорала и где стоял бурого цвета глиняный горшок со святою водою, с тонкою метелкой из дрока, служившею кропилом. Перекрестившись, мы брызнули несколькими каплями св. воды на гроб и, ни слова не говоря, уселись за большим столом, смотря один на другого как ошеломленные.

Жена Николая немедленно воротилась. Она осторожно несла большую чашку молока, которую поставила на стол, говоря:

– Вы можете пить досыта, вот! Хорошее, свежее!

Между тем как она ставила чашки и доставала из квашни большой круглый черный хлеб, мой товарищ спросил ее:

– Долго был он болен, дядя Николай?

– Совсем нет, мосье Жозеф, – ответила старуха. – Сказать так: с некоторого времени он был не храбр, не храбр. Это мучило его в легких – кровь, думаю я. Были два удара: он сделался белым, потом фиолетовым, потом черным, потом затих, – полумертвый.

– А вы не искали доктора?

– Конечно, нет, мосье Жозеф, не жаловалась я доктору. Да и больной не был, так сказать, болен. Это не мешало ему поворачиваться направо, налево, ходить везде с ребятами. Вчера пошла я на рынок; когда воротилась, вот, вижу: дядя Николай сидел, головой на стол склонившись, руки висели, и он не шевелился, как камень. «Муж!» – сказала я ему. – Ничего. – «Дядя Николай! Муженек!» – вскричала я ему на ухо. – Ничего, ничего, совсем ничего. Тогда я пошевелила его – так вот. Но вот как пошевелила его, – он потом и упал на пол, да лежит там, не шевеля ни одной лапой, – и черный, черный, почти как уголь.

«Значит, говорю, умер дядя Николай!» – И он умер... но вы не пьете... Не стесняйтесь... У меня, видите, мозоль... И потом, мы не делаем теперь масла...

– Это большое несчастье, – говорю я.

– Что ж вы хотите! – отвечала крестьянка. – Верно, Богу так угодно.

– У вас никто не смотрит за покойником? – прервал ее мой товарищ. – А ваши дети?

Nous avons fini de boire notre lait. Après quelques remerciements, nous quittâmes la mère Nicolas, troublés, ne sachant pas s'il fallait admirer ou maudire cette insensibilité du paysan, dans la mort, la mort qui pourtant fait japper douloureusement les chiens dans le chenil vide, et qui met comme un sanglot et comme une plainte au chant des oiseaux, près des nids dévastés.

Mirbeau, O. Père Nicolas! [La ressource électronique] / O. Mirbeau // Lettres de la chaumière. – Paris : A. Laurent, 1886. – P. 27–38. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2093787/f31.image>

– О, нет опасности, чтобы он ушел, бедняк. И потом, ребята в полях, косят сено... Не надо для этого останавливать работу... Ведь от этого он не воротится, потому что умер!

Мы допили наше молоко. Поблагодарив, мы оставили вдову Николая, не зная, должно ли удивляться или проклинать эту бесчувственность крестьянина к смерти, смерти, которая, однако ж, заставляет собак печально тявкать в опустелой конуре, а птиц выражать пеньем будто рыдания и жалобы близ опустошенных гнезд.

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1901. № 173 (10 августа). С. 2. Перевод «Т».)

ЭЙ, ДЯДЯ НИКОЛАЙ **(Пер. с франц. для «Сиб. Вестн.»)**

Два долгих часа шли мы по полям, под палящими лучами солнца, огненным дождем падавшими с неба; пот лил с меня ручьями, жгучая жажда пожирала меня. Тщетно я искал какого-нибудь ручейка, журчащего под деревьями, или хоть маленького источника, дремлющего в устланном мхом углублении, что так часто встречается в тех местах, и я приходил в отчаяние.

Идем в Эртодьер – ферму, что видна внизу, – сказал мой спутник; – дядя Николай угостит нас чудным молоком.

Мы пересекли поле, остававшееся под паром, потом мимо овсов прошли во фруктовый сад, где под яблонями мирно спали коровы. За садом находилась ферма. Во дворе, окруженном четырьмя жалкими строениями, не было ни души живой, кроме кур, рывшихся в навозе около скотного двора. Тщетно попытавшись отворить запертые ворота, мой спутник сказал:

– Без сомнения, все теперь в поле! – но тем не менее крикнул: – Эй, дядя Николай! – Никто не отвечал.

– Эй, дядя Николай!

В результате этого второго окрика тоже молчание. Только испуганные им куры разбежались в разные стороны с хлоптаньем.

В огорчении я уже серьезно подумывал отправиться самому подоить корову в саду, когда в полуоткрытой двери сеновала показалось недовольное, морщинистое и покрасневшееся, лицо старухи.

– Кто там? – крикнула крестьянка. – Это вы, г. Жозеф? Я вас не признала сразу, право, уж извините, господа честные.

Она вышла из двери. Коленкорový чепчик покрывал ей голову; из-под рубахи из грубого холста виднелись шея и плечи, обожженные солнцем, точно кирпич, костлявые и морщинистые; полосатая юбка была коротка, как у девочки. На голых, посиневших ногах были надеты грубо сработанные деревянные башмаки.

Крестьянка заперла дверь на сеновал, приставила лестницу, чтобы сойти, но сначала обратилась к моему спутнику:

– Это вы звали дядю Николая, моего хозяина?

– Да, тетушка, я.

– Что вам от него угодно, от дяди Николая?

– Жарко, нам хочется пить, и мы хотели попросить у него крынку молока.

– Подождите, г. Жозеф, я вам принесу молоко.

Она медленно, стуча башмаками, спустилась с лестницы.

– Значит, дяди Николая нет дома? – спросил мой спутник.

– Извините, – отвечала старуха, – он дома. Да, он дома, бедняга, и уж, наверное, не собирается уходить! Сегодня утром его уложили в гроб.

Она уже сошла на землю и, вытерев крупные капли пота на лбу, прибавила:

– Да, г. Жозеф, он умер, дядя Николай! Это случилось вчера под вечер. Но это ничего, ничему не мешает, – продолжала она, видя, что мы придали своим лицам соболезнующее выражение. – Войдите, освежитесь и отдохните минутку, пока я достану что вам требуется. Она открыла дверь в дом.

– Войдите, господа, и не стесняйтесь... будьте, как дома... Глядите, вот он, дядя Николай!

Под закопченными балками потолка, в глубине большой, полутемной комнаты, между двумя кроватями, задрапированными кисеей, на двух стульях был поставлен гроб, который украшало только медное распятие и освященная ветка букса. У ног покойника, закрытого до половины покрывалом из небеленого холста, догорала оплавившая свечка на маленьком столике, и возле нее глиняный горшок с освященной водой и маленьким кропилом из дрока. Перекрестившись и покротив гроб, мы молча уселись за большой стол.

Старуха скоро явилась с большой крынкой, которую поставила на стол со словами:

– Можете кушать вволю! Вам не найти молока вкуснее и свежей!

– Давно он хворал, дядя Николай? – спросил ее мой спутник.

– Вовсе не хворал, г. Жозеф, – отвечала старуха, ставя на стол чашки и доставая из квашни толстый ломоть хлеба. – Последнее время слаб он был, кровь мучила, как я понимаю... Два удара – он побелел, потом стал синий... потом почернел... а потом и упал, почитай, уж мертвый...

– Значит, вы не звали доктора?

– Конечно, нет, г. Жозеф, я не звала доктора. Ведь болен-то он не был. Это ничуть не мешало ему ходить туда и сюда, всюду шататься с сыновьями. Вечор я пошла на базар. Прихожу назад, а дядя Николай сидит, опустил голову на стол, руки повисли, и не шевелится, как каменный. «Муженек!» – говорю я – молчит! «Дядя Николай, муженек!» – кричу ему над самым ухом – как есть ни гугу! Тогда я давай толкать его, вот этак. Тут он зашатался да и упал на пол, ни рукой, ни ногой не шевельнет, а сам черный-пречерный. «Право слово, – говорю я, – дядя Николай помер!» И, правда, он уж мертвый был... Но вы кушайте... Не стесняйтесь: у меня еще найдется...

– Это большое горе, – заметил я.

– Что поделаешь! Видно, Богу угодно, – отвечала старуха.

– У вас некому посидеть у покойника? А сыновья? – перебил ее мой спутник.

– О, он не сбежит уж, бедняжка! Чего сторожить? А потом, парни теперь на поле, сено возят – работе не стоять же из-за этого... Это не вернуло бы его все равно!

Мы кончили свое молоко. Поблагодарив и расплатившись, мы вышли, взволнованные, не зная, восхищаться или негодовать на такое равнодушие крестьянина к смерти, к той смерти, которая заставляет даже собак жалостно выть при виде опустевшей конуры, а птиц рыдать в песнях над разоренными гнездами.

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1905. № 218 (30 октября). С. 2–3. Перевод «М.Ш.»)

Литература

Родченко Ю.И. Литература «второго ряда» в переводе томских авторов // Французская литература в томской периодике конца XIX – начала XX в.: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. – Томск, 2014. – С. 113–129.



Ги де Мопассан
(Guy de Maupassant, 1850–1893)

Ги де Мопассан (Guy de Maupassant, 1850–1893) – французский писатель, автор многочисленных новелл, романов и повестей. Родился в буржуазной семье. Учился в духовной семинарии, затем окончил лицей и получил звание бакалавра. Во время Франко-прусской войны был призван в армию, после войны служил чиновником. Писать стихи Мопассан начал еще в лицее, в 1870-е гг. овладевал литературным мастерством под руководством Г. Флобера, бывшего другом его матери. Первая новелла писателя «Пышка» («Boule de suif») оказалась лучшим произведением в сборнике «Меданские вечера» («Les soirées de Médan», 1880), явившись свидетельством таланта молодого писателя. За одиннадцать лет творчества Мопассан создал более трехсот новелл, путевых очерков и повестей, в то же время им написаны шесть крупных романов: «Жизнь» («Une vie», 1883), «Милый друг» («Bel Ami», 1885), «Монт-Ориоль» («Mont-Oriol», 1887), «Пьер и Жан» («Pierre et Jean», 1888), «Сильна как смерть» («Fort comme la mort», 1889) и «Наше сердце» («Nôtre coeur», 1890). Эти произведения позволили Мопассану занять одно из первых мест в новейшей французской новеллистике и внести крупный вклад в мировую литературу. В основе творчества писателя лежало критическое отношение к капиталистической действительности, фальши буржуазной демократии и милитаризму. Отвергая романтический роман и его деформированный, поэтический взгляд, Мопассан склоняется к объективному роману в поисках реализма.

С 1884 г. Мопассан регулярно страдает от нервных припадков, которые в декабре 1891 г. доводят его до покушения на самоубийство. Смерть писателя наступает в клинике для душевнобольных от прогрессивного паралича головного мозга.

В центральной российской периодике о Мопассане заговорили уже с начала 1880-х гг., чему способствовало его тесное сближение в 1881–1883 гг. с И.С. Тургеневым. Тургенев высоко ценил начинающего писателя, ученика своего друга Флобера, и как повествователя ставил его непосредственно вслед за Л.Н. Толстым. В русском переводе произведения Мопассана неоднократно появлялись в журналах, а в 1894 г. были изданы отдельным собранием сочинений в 12 томах.

Критика

В Томске наибольший интерес к творчеству Мопассана проявила газета «Сибирский вестник». С 1890 по 1894 г. на ее страницах появились четыре публикации, посвященные жизни и творчеству французского писателя.

Первое обозрение было опубликовано в «Сибирском вестнике» за 1890 г. в рубрике «Фельетон». Его автор, скрывшийся за криптонимом «Х.», ставит своей главной целью рассмотрение вопроса брака на примере трех разных произведений: повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» (1889), очерка корреспондента столичного журнала «Юридический вестник» Я.И. Лудмера «Бабыи стоны: из заметок мирового судьи» (1884) и романа Мопассана «Наше сердце» («*Nôtre cœur*», 1890). По мнению томского критика, различные по форме, эти сочинения объединены общей идеей: современное общество страдает от несчастных супружеских союзов, однако до сих пор не может четко сформулировать свое отношение к подобным явлениям. Сравнивая три произведения, критик отдаёт предпочтение роману Мопассана с художественной точки зрения: «Картина Толстого <...> производит глубокое впечатление, которое было бы еще сильнее <...> если бы Толстой, создавая свое произведение, не морализировал, а оставался только художником, как это сделал даровитый французский беллетрист Гюи-де-Мопассан».

Второй раз имя Мопассана появляется в «Сибирском вестнике» в 1892 г. в связи с попыткой суицида страдающего душевным расстройством писателя. Автор обозрения, постоянный корреспондент газеты А.О. Станиславский, пытаясь понять причину сумасшествия Мопассана, ссылается на все возрастающее употребление наркотиков среди интеллектуальной элиты французского общества. Далее журналист рассказывает о двух неудавшихся попытках самоубийства писателя и о его помещении в дом для душевнобольных.

В очередной раз публикация о жизни Мопассана появляется на страницах «Сибирского вестника» в 1893 г. Её автор «К. В-ков» сообщает о свирепствующем среди европейской интеллигенции неврозе, ссылаясь на расстройство, обнаруженное у Мопассана. Вместе с тем «К. В-ков» дает положительную оценку творчеству писателя, утверждая, что Мопассан наряду с А. Доде и Э. Золя стоит во главе современного французского романа.

Последнее упоминание о Мопассане содержится в обозрении фельетонного типа под названием «Любовь», появившемся в «Си-

бирском вестнике» в 1894 г. за подписью постоянного сотрудника газеты П.Л. Черневича. В нём критик размышляет о сущности любви, её мотивах и процессе зарождения. В качестве материала для изучения этого вопроса он привлекает литературный контекст, помещая в него Мопассана как одного из немногих писателей, наряду с Л.Н. Толстым, О. Бальзаком и П. Бурже, способных оказать помощь исследователю в деле любви.

«Сибирская жизнь» также обращается к творчеству Мопассана, хотя и значительно позднее. В № 80 за 1913 г. выходят сразу две рецензии на книжные новинки в отделе «Новые книги и журналы». Авторство обеих рецензий принадлежит постоянному сотруднику газеты, известному сибирскому деятелю культуры и просвещения Г.А. Вяткину. В первой рецензии он сообщает о выходе в свет первого тома «Произведений Гюи-де-Мопассана, избранных Л.Н. Толстым» в «безукоризненном» переводе Л.П. Никифорова. Вторая рецензия посвящена описанию книги Ф. Тассара «Воспоминания о Гюи-де-Мопассане его слуги Франсуа». Выделяя Мопассана как писателя, заслуживающего особого внимания читателей, Вяткин указывает на своё личное отношение к нему: «В истории не только французской, но и всемирной литературы Мопассан занимает достаточно почетное место для того, чтобы каждая строка воспоминаний о нем ценилась высоко».

Переводы

В период с 1891 г. по 1904 г. в «Сибирском вестнике» и «Сибирской жизни» появляется переводной «цикл» из тринадцати новелл Мопассана. Среди всех зарубежных авторов, чьи переводы были обнаружены в томских газетах, Мопассан оказался самым востребованным. Ориентируясь на вкусовые предпочтения своих читателей, местные издания публикуют переводы новелл различной тематики. Средний промежуток времени между публикацией новелл Мопассана во Франции и в Томске составлял от десяти до двадцати лет.

Большую часть новелл Мопассана перевёл постоянный сотрудник «Сибирского вестника» А.О. Станиславский, также являвшийся корреспондентом парижского «Фигаро». Именно из этой французской газеты он заимствовал новеллы Мопассана «Страх» и «Взгляды полковника», на что указывают примечания к его переводам. В 1891 г. вышел перевод новелл «Роза» («La Rose») и «Отцеубийца» («Un parricide») из сборника «Сказки дня и ночи» («Contes du jour et de la

nuît», 1885). В 1892 г. появился перевод новеллы «Страх» («La peur») из сборника «Рассказы вальдшнепа» («Contes de la becasse», 1883). В 1893 г. Станиславский перевёл новеллу «Ободранная рука» («La main d'écorché»), вошедшую в состав посмертно опубликованного сборника Мопассана «Мисти» («Mistie», 1912). В 1895 г. вышел перевод новеллы «L'orphelin» («Сирота») из посмертного сборника Мопассана «Дядюшка Милон» («Le père Milon», 1899). В переводе Станиславского эта новелла получила название «Воспитанник». В этом же году Станиславский перевёл новеллу «Взгляды полковника» («Les Idées du Colonel»), ставшую частью сборника «Иветта» («Yvette», 1884).

Авторство переводов еще трёх новелл Мопассана, опубликованных в «Сибирском вестнике», принадлежало томской переводчице, скрывшей свое имя за криптонимом «М.Ш.». В 1903 г. появился её перевод новеллы «Мадмуазель Фифи» («Mademoiselle Fifi») из одноименного сборника Мопассана, первое издание которого было опубликовано в 1882 г. В 1904 г. на страницах «Сибирского вестника» вышел перевод новеллы «Нищий» («Le gueux»), вошедшей в сборник «Сказки дня и ночи». Четыре дня спустя в этом же издании был опубликован перевод новеллы «Рука» («La Main»).

В 1903 г. на страницах «Сибирской жизни» в переводе некоего «М.В.» появилась новелла «Письмо утопленника» («Lettre trouvée sur un pouyé») из сборника «Разносчик» («Le colporteur», 1900). Очерк Мопассана «В облаках» («Sur les nuages»), вышедший в журнале «La Lecture» 25 июля 1888 г., был переведен сразу двумя томскими переводчиками. Первый перевод под названием «На воздушном шаре» был сделан П.Л. Черневичем и опубликован на страницах «Сибирского вестника» в 1893 г. Второй перевод, выполненный автором, который скрыл своё имя за псевдонимом «А. Сак», и озаглавленный «На баллоне», появился в «Сибирской жизни» спустя одиннадцать лет. В 1902 г. еще одна новелла Мопассана «Плетельщица стульев» («La rempailleuse») под заголовком «Любовь» была перепечатана «Сибирским вестником» из газеты «Киевское слово».

Представленный в томской периодике цикл новелл характеризуется богатством изображенных социальных типов и человеческих характеров. Собранные вместе, они дали томским читателям исчерпывающее представление об основных особенностях новеллистики Мопассана,

изображающей все социальные сферы французского общества в самых разных аспектах: с едкой сатирой и неподражаемым лиризмом, юмором и глубоким философским анализом.

Театральные рецензии

На томской сцене было поставлено всего два спектакля по мотивам сочинений Мопассана. Рецензии на эти постановки были опубликованы известным сибирским литератором Г.А. Вяткиным в «Сибирской жизни».

Из первой рецензии критика стало известно, что 4 мая 1911 г. на сцене театра Общественного собрания труппой некоего Пасхалова была поставлена одноактная комедия «Выгодное дельце» по Мопассану. Однако Вяткин не представил глубокого осмысления театральной постановки, не известно также, какое именно произведение Мопассана было инсценировано в Томске и как восприняла эту постановку местная публика.

Вторая статья Вяткина явила собой более развернутую рецензию на трехактную комедию «Два месяца на диете», поставленную по мотивам новеллы Мопассана «Миллион» («Un million», 1882) на сцене театра Общественного собрания 23 июля 1913 г. По признанию критика, прекрасное мопассановское сочинение было переделано в «скабресный фарс» режиссером-постановщиком данной пьесы: «А легкомысленный Гарц взял умную и скорбную улыбку Мопассана и превратил ее в беззубый смех мышиноного жеребчика, а неразборчивые антрепренеры тотчас же пустили эту клевету на Мопассана гулять по свету...». Такая оценка со стороны Вяткина свидетельствовала о его достаточно развитом вкусе и высоких требованиях, предъявляемых к режиссуре спектаклей.

Из анализа двух рецензий Вяткина можно сделать вывод о том, что произведения Мопассана занимали незначительное место в репертуаре томского театра, поэтому знакомство местных зрителей с творчеством французского писателя на театральной сцене носило случайный характер.

Публикации

Критика

1. А. С-ский [А.О. Станиславский]. Фельетон «Сибирского вестника» // Сибирский вестник. – 1892. – № 21 (19 февраля). – С. 2–3.
2. Фельетон «Сибирского вестника» // Сибирский вестник. – 1893. – № 13 (29 января). – С. 2.
3. К. В-ков. Фельетон «Сибирского вестника» // Сибирский вестник. 1893. – № 44 (21 апреля). – С. 2–3.
4. Чернч. [П.Л. Черневич]. Фельетон «Сибирского вестника» // Сибирский вестник. – 1894. – № 10 (23 января). – С. 2–3.
5. Г.В. [Г.А. Вяткин]. Новые книги и журналы // Сибирская жизнь. – 1913. – № 80 (9 апреля). – С. 2.

Переводы

1. Мопассан Г. де. Роза / А. С-кий [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1891. – № 66 (12 июня). – С. 3.
2. Мопассан Г. де. Отцеубийца / «А. С-ский» [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1891. – № 68 (16 июня). – С. 2–3.
3. Мопассан Г. де. Страх / «А. С-ский» [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1892. – № 25 (28 февраля). – С. 2–3.
4. Мопассан Г. де. На воздушном шаре / Чернч. [П.Л. Черневич] // Сибирский вестник. – 1893. – № 85 (25 июля). – С. 2–3.
5. Мопассан Г. де. Ободранная рука / «А. С-ский» [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1893. – № 120 (15 октября). – С. 2–3.
6. Мопассан Г. де. Воспитанник / А. С-кий [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1895. – № 56 (17 мая). – С. 3.
7. Мопассан Г. де. Взгляды полковника / А. С-кий [А.О. Станиславский] // Сибирский вестник. – 1895. – № 128 (13 октября). – С. 2.
8. Мопассан Г. де. Любовь / Сибирский вестник. – 1902. – № 226 (19 октября). – С. 2.
9. Мопассан Г. де. Мадмуазель Фифи / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1903. – № 207 (24 сентября). – С. 2–3.

10. Мопассан Г. де. Письмо утопленника / М.В. // Сибирская жизнь. – 1903. – № 248 (14 ноября). – С. 2.

11. Мопассан Г. де. Нищий / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1904. – № 98 (8 мая). – С. 2.

12. Мопассан Г. де. Рука / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1904. – № 101 (12 мая). – С. 3.

13. Мопассан Г. де. На баллоне / А. Сак // Сибирская жизнь. – 1904. – № 206 (22 сентября). – С. 2.

Театральные рецензии

1. Георгий В. [Г.А. Вяткин]. Театр // Сибирская жизнь. – 1911. – № 100 (6 мая). – С. 3.

2. Вяткин Г.А. Театр // Сибирская жизнь. – 1913. – № 162 (25 июля). – С. 3.

SUR LE NUAGES

Quand j'entrai dans l'usine de La Villette, j'aperçus, gisant sur l'herbe de la cour, devant l'armée des noires et monstrueuses cloches à gaz, l'énorme ballon jaune, presque gonflé déjà, pareil à une citrouille colossale poussée au milieu des gazomètres dans un potager de cyclope.

Un long conduit de toile vernie, pareil aussi à cette petite queue tordue par où les citrouilles d'or boivent leur vie dans la terre, amenait dans *le Horla* l'âme des aérostats. Il palpitait et se soulevait peu à peu, et une douzaine d'hommes tournaient autour de lui, déplaçant de seconde en seconde les sacs de lest accrochés dans le filet pour lui permettre de grossir.

Un ciel bas et gris, un lourd plafond de nuages s'étendait sur nos têtes. Il était quatre heures et demie du soir, et la nuit, déjà, semblait proche.

Des curieux et des amis entraient dans l'usine. On regardait, en s'étonnant, la petitesse de la nacelle, le papier collé sur les minces déchirures du ballon, tous les préparatifs pour ce voyage dans l'espace.

On croit encore que les ascensions exposent les voyageurs à de grands dangers, alors qu'elles en présentent juste autant, et peut-être moins, qu'une simple promenade en mer ou même en fiacre. Quand le matériel est bon, l'aéronaute prudent et expérimenté, comme le sont MM. Jovis et Mallet, on peut partir pour une excursion dans le ciel avec une tranquillité d'âme plus complète que si on s'embarquait pour l'Amérique, ce qui ne passe pas pour très effrayant.

Quatre hommes viennent chercher la nacelle, grand panier carré assez semblable aux nouvelles malles de voyage en osier tressé. Sur deux faces de ce véhicule volant, on lit, en lettres d'or dans une plaque de bois : *Le Horla*.

On l'attache sous le ballon captif, qui soulève son lest et la grappe d'hommes accrochée au filet, puis on dispose dedans le panier aux provisions, le panier de petit matériel et les instruments : deux baromètres ordinaires, un baromètre enregistreur, deux thermomètres, une jumelle marine.

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ (С французского)

Морской офицер, прикомандированный к Медонской военной школе воздухоплавания, прибыл к нам с единственной целью видеть наш подъем и при этом помочь нам. Он держал еще обеими руками веревку, привязывавшую шар к земле, как вдруг раздался крик Жовиса: «Пускайте!».

Большой круг окружавших нас и оживленно болтавших с нами друзей, светлые платья, протянутые руки, черные шляпы – все это внезапно как будто погрузилось куда-то и исчезло. Мы поднялись и улетаем.

Вот – мы парим уже над громадным городом, над неизмеримым планом Парижа, подобным рельефному плану выставок, с голубыми крышами, прямыми и извилистыми улицами, серой рекою, остроко-нечными памятниками, позолоченными куполами дворца Инвали-дов, виднеющейся вдали неоконченной колокольной Notre Dame de La Chaudrennerie и башней Эйфеля.

Склоняясь на борт лодки, мы видим во дворе мастерской толпу маленьких мужчин и женщин, машущих нам руками, шляпами и бе-лыми платками. Но они – такие маленькие, так далеки, издали как будто насекомые, то даже не верится, что мы покинули их только минуту, только восемь или десять секунд тому назад.

– Смотрите, – с энтузиазмом кричит Жовис, – как чудесно, друзья!

К нам доносится глухой гул, составленный из тысячи звуков улич-ной жизни, стука экипажей, ржания лошадей, шелканья бичей, голосов людей и пыхтения поездов. Покрывая все эти звуки, слышатся близкие и далекие, резкие и глухие локомотивные свистки, которые, как кажет-ся, раздирают воздух своей резкостью и чистотою звука.

А вот, теперь, – под нами расстилается окружающая город рав-нина, зеленая равнина, прорезанная белыми, прямыми, разбегающи-мися в бесчисленном множестве по всем направлениям дорогами. Но вдруг ясно выраженные до сих пор детали земли, словно слегка

Tout est prêt. Les amis font cercle ; et les voyageurs, en se servant d'une chaise comme marchepied, escaladent le bord de la nacelle, puis sautent au fond. M. Mallet grimpe dans le cercle, au-dessus de nos têtes, sous l'appendice du ballon, étroite bouche de toile par où sortira le trop plein de gaz si nous rencontrons des couches d'air plus chaud.

L'aéronaute M. Jovis calcule maintenant sa force ascensionnelle afin de faire un beau départ. On vide un sac de lest ; les mains des hommes cramponnées sur les bords de la nacelle la lâchent un peu, et nous nous sentons doucement soulevés, puis rattrapés par tous ces doigts accrochés de nouveau, puis abandonnés encore quand un autre sac a été rejeté.

Un lieutenant de vaisseau, attaché à l'école d'aérostation militaire de Meudon, venu voir l'ascension, a bien voulu aider notre départ. Il garde en ses deux mains la corde qui nous maintient à terre jusqu'au cri poussé par Jovis : « Lâchez tout. »

Soudain le grand cercle des amis qui nous enferme et nous parle, les robes claires, les bras tendus, les chapeaux noirs, s'enfoncent autour de nous et disparaissent : – plus rien que de l'air, – nous sommes partis, nous nous envolons.

Déjà nous planons sur une immense ville, sur un plan de Paris démesuré, tout pareil aux plans en relief des expositions, avec les toits bleus, les rues droites ou tortueuses, le fleuve gris, les monuments pointus, le dôme doré des Invalides, et plus loin le clocher encore inachevé de Notre-Dame-de-la-Chaudronnerie, la tour Eiffel.

Penchés au bord de la nacelle, nous voyons toujours dans la cour de l'usine une foule de petits hommes et de petites femmes qui agitent leurs bras, leurs chapeaux et des mouchoirs blancs. Mais ils sont si petits, si loin, si insectes, qu'on ne comprend pas qu'on les ait quittés à l'instant – il y a huit ou dix secondes.

– Regardez, crie Jovis avec enthousiasme, est-ce beau, mes enfants ?

Une rumeur immense monte vers nous, une rumeur faite de mille bruits, de toute la vie des rues, du roulement des voitures sur les pavés, des hennissements des chevaux, du claquement des fouets, des voix humaines, du ronflement des trains. Dominant tout, proches ou lointains, suraigus ou graves, les sifflets des locomotives semblent déchirer l'air, tant ils sont vibrants et clairs. Voici maintenant la plaine autour de la ville, la plaine verte que coupent les routes blanches, droites, croisées en tous sens, innombrables. Mais tout à coup les détails de la terre, si nets, se troublent un peu comme si on les eût doucement effacés, puis s'embru-

замазанные, скрадываются, покрываются непроницаемой дымкою, сливаются и почти исчезают. Мы проникаем в облака.

Легкая, прозрачная завеса окутывает нас. Она сгущается, становится серою, непрозрачною, сжимает и охватывает, запирает и сдавливает нас. Затем, вскоре эта стена влажного и мрачного тумана светлеет, белеет, освещается. Мы летим теперь через легкую ткань из паров; через молочную дымку или раствор серебра. С каждой секундою какой-то таинственный, ослепительный свет, проникающий сверху, освещает все более и более белые волны, через которые мы мчимся; – и вдруг, неожиданно, мы всплываем вверх; мы вынырнули в голубое небо, залитое солнечным светом. Даже в сумасшествии нельзя вызвать образ, подобный тому, который мы увидели.

Мы летим, продолжая подниматься над неизмеримым хаосом облаков, имеющих вид снега. Фантастические, невообразимые, сверхъестественные, они тянутся, докуда только видит глаз. Под нами эти снежные громады, ослепительного блеска, развертываются и скатываются по всем направлениям. Там виднеются равнины, горные вершины, пики, долины... Формы этого нового мира, этого фантастического мира неизвестны на земле; их можно наблюдать только с неба. Виднеются в этом мире своды, арки, хрустальные башни и океаны волн, которые опускаются и поднимаются, стоят неподвижно и яростно бросаются, а их сверкающая пена ослепляет глаза. Там видны фиолетовые пропасти, образованные облаками, находящимися ниже; там – фантастические горы, поднимающие в бесконечное пространство свои горящие ослепительным блеском вершины.

Но внезапно возле нас, близко, далеко ли, сказать с точностью трудно, так как здесь судить о пространстве невозможно, в воздухе появляется прозрачное, круглое пятно, которое летит, подымается; это воздушный шар, какой-то другой воздушный шар с лодкой, флагом и пассажирами. Я подымаю руку и вижу, как один пассажир призрачного шара проделывает то же самое. А между тем сквозь эту фантастическую тень ясно, как будто ее не существует, различаются облака и необъятный горизонт. В то же время вокруг видения рисуется радуга, окружающая его светящимся и многоцветным кольцом. Этот хорошо известный феномен называется ореолом аэронавтов. Тень, брошенная шаром на соседние облака, вполне объясняет это восхитительное явление, но чтобы объяснить происхождение окружающей его радуги, было предложено несколько теорий. Наиболее правдоподобная из них следующая: материя, из которой сделан воз-

ment derrière une fumée presque imperceptible, puis se confondent tout à fait brouillés, presque disparus. Nous pénétrons dans les nuages.

C'est, d'abord, un voile qui nous enveloppe, léger et transparent. Il s'épaissit, devient gris, opaque, se resserre sur nous, nous emprisonne, nous enferme, nous étreint. Puis, bientôt, cette muraille de brouillard humide et sombre s'éclaircit, blanchit, s'éclaire. Nous glissons à présent à travers une ouate vaporeuse, à travers une fumée de lait, à travers une buée d'argent. De seconde en seconde, une lumière mystérieuse, éblouissante, venue d'en haut, illumine de plus en plus les ondes blanches que nous traversons ; et soudain, brusquement, nous émergeons au-dessus, dans un ciel bleu éclatant de soleil.

Aucune folie ne peut créer un rêve pareil à ce que nous avons vu. Nous volons, montant toujours, au-dessus d'un chaos illimité de nuages qui ont l'air de neiges. Ils s'étendent à perte de vue, fantastiques, inimaginables, surnaturels.

Elles se déroulent, ces neiges d'un insoutenable éclat, dans tous les sens au-dessous de nous. Il y en a des plaines, des sommets, des pics, des vallons. Les formes de cet univers nouveau, de ce pays féérique qu'on ne peut voir que du ciel, sont inconnues sur la terre. On aperçoit des provinces de clochetons, de flèches, de tours de cristal, des océans de vagues roulées, soulevées, immobiles et furieuses, dont l'écume luisante aveugle les yeux, des précipices violets creusés par les nuages plus bas, et des montagnes invraisemblables dressant dans l'espace infini leurs croupes monstrueuses d'une clarté affolante.

Mais soudain, près de nous – près ou loin, on ne saurait le dire au juste, car on n'a pas la notion des distances – apparaît dans l'air limpide une tache transparente, énorme, ronde, qui flotte, qui monte, un ballon, un autre ballon, avec sa nacelle, son drapeau, ses voyageurs. Je lève un bras, et je vois un des passagers de cette apparition qui lève un bras. On distingue les nuages, on distingue l'horizon démesuré à travers cette ombre fantastique comme si elle n'existait pas ; et, autour d'elle, se dessine un large arc-en-ciel qui l'enferme complètement dans une couronne lumineuse et multicolore.

Plus réel que le vaisseau-fantôme des navigateurs, ce ballon-fantôme nous accompagne à travers l'espace, au-dessus du désert illimité des nuages ; ceint d'une auréole éclatante, il semble nous montrer, au milieu du ciel inexploré, l'apothéose des voyageurs de l'air. On nomme ce phénomène bien connu « l'auréole des aéronautes » L'ombre portée du

душный шар, несмотря на достоинство ткани и шелка, остается все-таки в достаточной степени проницаемой для газа, заключенного внутри. Являющаяся таким образом беспрестанная потеря газа производит вокруг шара легкий слой влажности. Проходя через этот слой, солнце вызывает в нем такие же цвета призм, как и в тончайшей пыли каскадов, и отбрасывает их вслед за тенью шара на ближайшие облака.

Так как мы все продолжаем подыматься, то паровой призрак перестает вскоре следовать за нами и, делаясь с каждой секундою все меньшим и меньшим, по мере того как мы удаляемся, остается далеко внизу под нами, одиноко парящим над белым океаном облаков. Косвенные лучи солнца отбрасывают его все ниже и ниже туда, где он, подобно детской игрушке, блуждающей в мятежной снежной пустыне, следует за всеми нашими движениями.

Чем выше мы подымаемся, там жар кажется сильнее, и тем удивительнее и невыносимее становится отражение солнечных лучей от ослепительно блестящей громады облаков. Термометр показывает 26 градусов, в то время как на земле мы имеем всего 13, и расширившийся вследствие этого шар испускает струи газа, который, подобно дыму, стелется вслед за нами в воздухе.

Мы пролетели две тысячи метров; следовательно, мы парим на высоте тысячи пятисот метров над уровнем облаков и ничего не видим, кроме бесконечных серебряных струй под собою, и – ничего, кроме необъятного лазурного свода над собою.

Внизу местами виднеются фиолетовые отверстия – бездны, dna которых не видно. Гонимые легким, почти нечувствительным ветерком, мы медленно подвигаемся по направлению к одному из таких отверстий. Издали можно было бы сказать, что громадный ледник занял все необъятное пространство, оставив лишь неизмеримую расщелину между двумя горами.

Я беру подзорную трубку, чтобы исследовать голубоватое дно этой пропасти, и замечаю там, в глуби, клочок поля, две дороги и большую деревню. Вот бараны в поле, коровы, коляски. Как все далеко, крошечно, незначительно! Но облака, бегущие под нами, нагло закрывают открытый проход в потолке из туч.

Между тем Малле твердит ежеминутно: «Бросайте балласт, бросайте балласт!». Воздушный шар, раздутый через расширение газа и внезапно охладившийся при приближении вечера, падает как камень.

ballon sur les nuées voisines explique cette apparition saisissante ; mais, pour expliquer l'arc-en-ciel qui l'entoure, plusieurs théories se sont produites.

La plus vraisemblable est celle-ci.

L'étoffe dont est fait l'aérostat demeure toujours, malgré la qualité du tissu et du vernis, assez perméable au gaz enfermé dedans. Une déperdition constante a donc lieu à travers toute l'enveloppe et crée autour du ballon une légère couche d'humidité. Le soleil, en traversant cette buée, y fait naître les couleurs du prisme comme dans la fine pluie des cascades, et les projette en couronne, suivant l'ombre du ballon, sur le nuage le plus rapproché. Or, comme nous montons toujours, ce spectre vaporeux cesse bientôt de nous suivre, et, plus petit de seconde en seconde, à mesure que nous nous élevons, il demeure au-dessous de nous, flottant sur l'océan des nuées blanches. Le soleil oblique le jette au loin là-bas, là-bas, où il suit tous nos mouvements, pareil maintenant à une balle d'enfant tombée qui roule, qui erre dans le désert tumultueux des neiges.

Plus nous nous envolons, plus la chaleur semble forte et plus la réverbération de la lumière sur cette immensité luisante devient prodigieuse et insoutenable. Le thermomètre marque 26 degrés alors que nous en avons seulement 13 à la surface de la terre, et le ballon, très dilaté, laisse échapper par l'appendice un flot de gaz qui se répand dans l'air comme une fumée.

Nous avons passé deux mille mètres, nous planons donc à quinze cents mètres environ au-dessus des nuages, et nous ne voyons rien autre chose que ces flots d'argent sans limites, sous l'azur illimité du ciel.

De place en place, des trous violets, des abîmes dont on n'aperçoit pas le fond. Nous allons lentement, poussés par une brise qu'on ne sent point, vers une de ces déchirures. On dirait, de loin, qu'un glacier s'est effondré dans l'immensité, laissant, entre deux montagnes, une crevasse démesurée.

Je prends la jumelle pour examiner le creux bleuâtre du précipice, et j'aperçois dans le fond un bout de prairie, deux routes, un grand village. Bientôt nous sommes au-dessus. Voici des moutons dans un champ, des vaches, des voitures ! Comme c'est loin, petit, insignifiant ! Mais les nuées qui courent au-dessous de nous referment brusquement ce judas ouvert dans ce plafond d'orages.

M. Mallet, maintenant, répète de moment en moment : « Du lest, jetez du lest. »

Le ballon, dégonflé par la dilatation du gaz et refroidi tout à coup par l'approche du soir, tombe comme une pierre. Autour de nous les feuilles

Кусочки папиросной бумаги, беспрестанно бросаемые нами, чтобы узнать, подымаемся ли мы или опускаемся, подобно белым бабочкам, порхают вокруг нас. Это – наилучшее средство узнать, что делается воздушным шаром. Когда он подымается, папиросная бумага, кажется, падает на землю; когда же листки как будто улетаю в небо, шар опускается.

– Балласт! Бросайте балласт!

Горсть за горстью, мы опорожняем мешки с песком, который желтым дождем, позлащенным лучами солнца, рассыпается под нами, «Hogla» продолжает опускаться, и вдруг призрачный шар, не имевший возможности все время следовать за нами, теперь снова, словно навстречу нам, выплывает в своем цветном ореоле.

Теперь мы плывем по поверхности моря облаков, и наша лодка как будто погружается в испаряющуюся вокруг нас пену волн.

Вот снова – отверстия, через которые мы замечаем землю, замок, старую церковь, вечные дороги и зеленые поля.

Бросая беспрестанно балласт, нам удастся, наконец, остановить падение шара, но он, влажный и бессильный, похожий на лоскут желтого надутго полотна, заметно тощает вследствие холодного тумана, заставившего газ быстро сжаться. Снова мы погружаемся в облака и тонем в волнах мглы.

К нам уже ясно долетают земные звуки, слышатся детские крики, лай собак, грохот экипажей, шелканье бичей.

Вот, наконец, и земля, громадная географическая карта, которую мы уже видели в продолжение полминуты, когда подымались вверх. Мы над нею на высоте каких-нибудь шестисот метров и ясно различаем малейшие детали.

Курицы в чьем-то большом дворе, приняв нас за громадного коршуна, парящего над ними, испуганно улетаю.

А это – какое странное животное бежит там в поле? Белый ли это индюк, или гусь? Нет, – это маленький мальчик. Весь в белом, увидев нас и подняв нос кверху, он бежит, падает, что и дает мне возможность различить человеческое происхождение.

Из нашего рожка мы даем земле сигналы. Люди отвечают нам криками и бегом по полю сопровождают нас, оставивши свои дома и работу. Возницы покидают свои экипажи на дорогах, и мы видим на зеленых нивах шумящую толпу, которая топчет их.

Шар продолжает опускаться. Первый спущенный канат задевает уже за деревья; второй почти коснулся земли, как вдруг мы видим

de papier à cigarette, jetées sans cesse pour apprécier les montées et les descentes, voltigent comme des papillons blancs. C'est là le meilleur moyen de savoir ce que fait un aérostat. Quand il monte, le papier à cigarette semble tomber vers la terre ; quand il descend, la petite feuille a l'air de s'envoler au ciel.

– Du lest. Jetez du lest.

Nous vidons, poignée par poignée, les sacs de sable, qui se répand au-dessous de nous en pluie blonde que dore le soleil. *Le Horla* s'abat toujours, et nous voyons réapparaître tout près de nous, comme s'il venait à notre rencontre, n'ayant pu nous suivre, le ballon-fantôme dans son auréole.

Maintenant, nous frôlons la mer des nuages, et notre nacelle, parfois, a l'air de tremper dans l'écume des vagues qui se vaporise autour d'elle.

Voici de nouveau des trous par où nous apercevons la terre, un château, une vieille église, toujours des routes et des champs verts.

A force de jeter du lest, nous avons fini par arrêter la chute ; mais le ballon, flasque et mou, a l'air d'une loque de toile jaune, et il maigrit à vue d'œil, saisi par le froid des brouillards, qui condense le gaz rapidement. De nouveau nous entrons dans les nuages, nous nous noyons dans ces flots de brume.

Les bruits du monde nous arrivent plus distincts, aboiements de chiens, cris d'enfants, roulement des voitures, claquements des fouets. Voici la terre, l'immense carte de géographie que nous avons pu voir une demi-minute en partant. Nous sommes à peine à six cents mètres au-dessus d'elle, nous distinguons les moindres détails.

Des poules, dans une grande cour, s'envolent effarées, nous prenant sans doute pour un épervier monstrueux qui plane.

Quel est donc l'animal bizarre qui court dans ce champ ? Est-ce un dindon blanc, ou un mouton, ou une oie ? Non. C'est un petit garçon, vêtu d'une culotte et d'une chemise, qui nous a vus et qui, le nez en l'air, s'est abattu, ce qui m'a permis de reconnaître un corps humain.

Nous jetons à la terre des appels fréquents avec notre corne. Les hommes répondent par des cris et nous accompagnent en courant à travers champs, quittant leurs maisons et leur travail. Les charretiers abandonnent les voitures sur les routes, et nous voyons au milieu des récoltes vertes une foule éperdue qui trotte.

L'aérostat s'abat toujours. Le premier guide-rope traîne sur les arbres, le second va toucher terre, quand nous atteignons une ligne de chemin de fer dont les fils télégraphiques vont arrêter notre passage.

перед собой телеграфную линию, проволоки которой готовы остановить наш полет.

– Нужно перепрыгнуть через линию. Проволоки – это гильотина аэронавтов! – кричит Жовис.

Он выбрасывает последний мешок балласта, и шар в агонии делает последнее усилие и как будто одним взмахом крыла перелетает через преграду в то мгновение, как мимо мчится поезд, машинист которого приветствует нас громким свистком.

Мы снова на высоте тридцати метров над землею. Одним ударом ножа Жовис перерезает узел, прикрепляющий якорь, и он падает на засеянное хлебом поле. Освобожденная от последней тяжести «Horla» немного подымается, но мы изо всех сил тянем за веревку, и лодка без потрясений опускается среди толпы крестьян, которые хватаются за нее и придерживают ее.

Мы выпрыгиваем из лодки с сожалением, что уже кончился наш недолгий великолепный полет, наше ни с чем не сравнимое путешествие через пространство в феерическую область белых облаков, о которой не смеет грезить даже поэт.

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1893. № 85 (25 июля). С. 2–3. Перевод «Чернч.» [П.Л. Черневич])

– Il faut sauter sur la ligne, crie Jovis, car le télégraphe est la guillotine des aéronautes.

Il jette le dernier sac de lest, presque d'un seul coup, et le ballon agonisant fait un dernier effort, semble donner un dernier coup d'aile, franchit le remblai juste au moment où arrive un train, dont le mécanicien nous salue en sifflant.

Nous voici de nouveau à trente mètres du sol. D'un coup de couteau, Jovis coupe l'attache de l'ancre, qui tombe dans un champ de blé. Délesté de ce poids, *le Horla* se relève un peu ; mais nous tirons de toute notre force sur la corde de la soupape, et la nacelle vient se poser à terre, sans une secousse, au milieu d'un peuple de paysans qui la saisissent et la maintiennent.

Et nous sautons en dehors, désolés de voir finir ce court et superbe voyage, cette inimaginable envolée à travers l'espace, dans une féerie de nuées blanches qu'aucun poète ne peut rêver.

Un très gracieux propriétaire de Thieux, où nous étions tombés, M. Gilles, qui a fait aussi plusieurs ascensions, vint nous recevoir à notre descente pour nous offrir l'hospitalité dans sa maison et un excellent dîner.

Maupassant, G. de. Sur le nuages [La ressource électronique] / G. de Maupassant // Maupassant par les textes. – Les données électroniques. – URL: <http://maupassant.free.fr/chroniq/nuages.html>

НА БАЛЛОНЕ

(Перевод с французского для «Сиб. Ж.»)

Лейтенант, прикомандированный к школе военных аэронавтов в Медоне, приехал с целью совершить плавание вместе с нами. В его обеих руках находится веревка, посредством которой мы придерживаемся земли до тех пор, пока не раздается команда Жовиса:

– Спускайте все!

Множество друзей, которые нас окружают, с которыми сию минуту говорили, светлые платья, протянутые руки, черные шляпы – все это моментально увязает¹ на земле и исчезает: – ничего кроме воздуха и неба! – мы отплыли, мы улетаем!

Мы уже обозреваем необъятный город, колоссальный рельефный план Парижа с голубыми крышами, прямыми и кривыми улицами, серую Сену, остроконечные памятники, золоченый купол дома Инвалидов, а там, дальше, неоконченную колокольню церкви Парижской Богоматери, Эйфелеву башню...

Опершись на борт лодочки, мы то и дело видим дворы многочисленных заводов, толпы маленьких мужчин и женщин, машущих руками, шляпами и белыми платками. Становится непонятным, как это за такое короткое время, за 8–10 секунд, они все очутились так далеко и сделались маленькими, как насекомые!

– Посмотрите, – кричит с энтузиазмом Жовис, – не красиво ли все это?

Грандиозный ропот поднимается к нам, тысячи криков со всех улиц Парижа, скрип телег на мостовых, ржание лошадей, шелканье кнутов, человеческие голоса, громохание поездов – все это сливается в один общий гул. Только частый свист паровозов, казалось, пронизывает воздух и доходит до нас ясным.

¹ Так в тексте.

Теперь вокруг города равнина, зеленая, которую перерезывают белые дороги, прямые, бесчисленные, скрещивающиеся во всевозможных направлениях. Но вдруг детали земли, до сих пор ясные, начинают мутиться, как будто их отерли слегка губкой, окутываются легкой дымкой, затем совершенно перепутываются и исчезают почти совершенно: – мы пронизываем облака. Сначала нас будто окутывает тонкий, прозрачный занавес, который, понемногу утолщаясь, делается даже серым, темнеет, еще более усиливается, словно мы попадаем в темницу, сжимающую нас...

Затем скоро эту туманную стену, сырую и темную, понемногу освещает солнце, появляются отблески света – она постепенно светлеет и делается совершенно светло. Мы катимся теперь точно в молочной, слегка серебрищейся дымке. С минуты на минуту таинственный свет, все увеличивающийся, идущий сверху, делает все более и более ясными белые волны, через которые мы летим; и вдруг, неожиданно для нас, мы вступаем под голубое небо, залитое сиянием солнца!

Никакая фантазия не может создать мечту, подобную которой мы видели.

Мы летим, подымаясь все время над беспредельной ширью облаков, походящих на снег. Они, принимающие фантастические формы, невообразимые, сверхъестественные, простираются так далеко, что их теряет глаз. Эти облака изощряются, принимая всевозможные формы под нами, под ослепительным блеском солнца. Здесь вы видите равнины, вершины гор и долины. Формы этой новой вселенной, этой фантастической страны вы увидите только в небе; они неизвестны людям на земле!!

Вдруг на виду у нас – далеко ли, близко ли, трудно сказать наверно – в светлом пространстве является прозрачное пятно, громадное, круглое; оно носится, подымается; – это шар, такой же шар, как и наш, с такими же лодочкой и флюгером, с такими же людьми. Я подымаю руку и вижу: один из пассажиров делает то же самое. Странное явление! Сквозь эту фантастическую тень видны тучи, необъятный горизонт. Этой тени как будто на самом деле нет! А вокруг нее вырисовывается широкая радуга – светлополосная, многоцветная корона. – Красиво и великолепно!

Этот фантастический баллон-двойник неотступно следует за нами через пространство над бесконечной пустыней облаков; окруженный многоцветным ореолом, он нам представляется апофеозом!

Этот феномен известен под именем «ореол аэронавтов». Поразительное появление баллона-двойника легко объясняется тенью, падающею от баллона на соседние тучи, но чтобы объяснить радугу, его окружающую, составилось несколько теорий; наиболее верная – такая.

Материя, из которой сделан аэростат, несмотря на качество ткани и политуру, достаточно проницаема для газа, заключенного внутри. Но постоянная потеря газа через поры всей оболочки образует вокруг баллона легкий слой влаги, превращающейся в пар. Солнечные лучи, пронизывая этот пар, рождают различные цвета, как это видно в мелком дожде, и бросают их на наиболее близкое облако.

Когда мы поднимаемся, этот спектр скоро перестает за нами следовать, с минуты на минуту уменьшаясь, и наконец, когда мы поднялись уже очень высоко, он уже под нами и продолжает носиться в океане туч. Косвенные лучи солнца бросают его далеко-далеко, где он повторяет все наши движения, подобный теперь упавшему детскому мячу, который катается, блуждает в беспорядочной пустыне снегов. Чем дальше мы улетаем, тем более усиливается жара, и отражение лучей света на эту блестящую бесконечность становится ужасным и невыносимым. Термометр показывает 36° , тогда как на поверхности земли было только 13° .

Мы прошли две тысячи метров; мы летим приблизительно 1500 метров над облаками и ничего другого не видим, как серебряные волны на беспредельном расстоянии под синей лазурью неба.

То здесь, то там видны бездонные пропасти, кажущиеся фиолетовыми и голубыми пучины; мы идем теперь по направлению к одной из них, слегка подталкиваемые бризом, почти не ощущаемым нами. Казалось издали, что глетчер, разломившись на две половины, образовал неизмеримую расщелину.

Я взял бинокль, чтобы лучше рассмотреть голубоватую даль этой пропасти, а там, на дне, я вижу край равнины, две дороги и большую деревню. Скоро мы уже внизу. Вот и овцы на лугу, коровы, телеги! Радостно становится, сердце усиленно бьется. Как, однако, это далеко! все это миниатюрно, незначительно!

Но тучи, внезапно сильно сгустившись, закрывают этот вид. Жовис теперь все время повторяет: «Бросайте балласт, бросайте балласт!».

Баллон, облегченный выпуском газа и охлажденный приближением вечера, падает как камень.

Вокруг нас листочки бумаги, которые мы беспрестанно бросаем, чтобы определить, опускаемся мы или поднимаемся, летят, как белые бабочки. – Это лучшее средство узнать поднятие или опускание. Когда шар подымается, бумажки кажутся падающими на землю; когда он опускается – улетающими вверх.

– Бросайте балласт, бросайте балласт!

Мы высыпаем мешки песку, который падает вниз желтоватым дождем, блестящим на солнце. Вдруг опять появляется совсем близко от нас, как будто идущий нам навстречу, баллон, фантастический призрак в своем ореоле...

Вот снова расщелина, смотря на которую, мы видим землю, замок, старую церковь, дороги и зеленые поля. Мы быстро опускаемся. Шум внизу становится все яснее и яснее, лай собак, крик детей, стук телег и щелканье кнутов. Приблизительно на расстоянии 600 метров мы уже ясно различаем малейшие детали; кур, стремительно прячущихся, вероятно, принявших нас за ястреба.

– Но какое это странное животное, что бежит на поле? Целый индюк, овца или гусь?

– Нет, это мальчуган, одетый в штанишки и рубашку, увидел нас и, задрав нос кверху, упал; это позволило узнать в нем человеческий образ. Мы начинаем часто трубить в наш рожок. Люди отвечают криками, сопровождают нас, бегая за нами через поля, оставив свои дома и работу.

Аэростат все время опускается. Первый якорь задел за деревья, второй коснулся земли, как вдруг мы увидели линию железной дороги и вдоль нее столбы с телеграфными проводами.

– Надо перелететь через линию, – кричит Жовис, – потому что телеграф – это гильотина для аэронавтов. Он бросает сразу последний мешок балласта, и баллон, в агонии, делает последнее усилие, словно последний раз взмахнул крыльями, перелетает железнодорожную насыпь как раз во время прохода поезда; и машинист, делая свистки, приветствует нас, махая шляпой.

Мы снова в 30 метрах от земли. Жовис быстро отрезал веревку, которою придерживает нас погрузившийся в землю якорь. Освобожденный от этой тяжести, наш «Горла» приподнимается немного, но мы хватаемся что есть мочи за веревку клапана, и лодочка коснулась земли без сотрясения. Нас окружила толпа крестьян, схвативших ее. Мы окончили поездку, преисполненную великолепия, этот трудно вообразимый полет через волшебное пространство белых облаков, о каком ни один поэт и мечтать не может!

*(Опубликовано в «Сибирской жизни». 1904. № 206 (22 сентября).
С. 2. Перевод «А. Сак.»)*

UN PARRICIDE

L'avocat avait plaidé la folie. Comment expliquer autrement ce crime étrange ?

On avait retrouvé un matin, dans les roseaux, près de Chatou, deux cadavres enlacés, la femme et l'homme, deux mondains connus, riches, plus tout jeunes, et mariés seulement de l'année précédente, la femme n'étant veuve que depuis trois ans.

On ne leur connaissait point d'ennemis, ils n'avaient pas été volés. Il semblait qu'on les eût jetés de la berge dans la rivière, après les avoir frappés, l'un après l'autre, avec une longue pointe de fer.

L'enquête ne faisait rien découvrir. Les mariniers interrogés ne savaient rien ; on allait abandonner l'affaire, quand un jeune menuisier d'un village voisin, nommé Georges Louis, dit Le Bourgeois, vint se constituer prisonnier.

À toutes les interrogations, il ne répondit que ceci :

– Je connaissais l'homme depuis deux ans, la femme depuis six mois. Ils venaient souvent me faire réparer des meubles anciens, parce que je suis habile dans le métier.

Et quand on lui demandait :

– Pourquoi les avez vous tués ?

Il répondait obstinément :

– Je les ai tués parce que j'ai voulu les tuer.

On n'en put tirer autre chose.

Cet homme était un enfant naturel sans doute, mis autrefois en nourrice dans le pays, puis abandonné. Il n'avait pas d'autre nom que Georges Louis, mais comme, en grandissant, il devint singulièrement intelligent, avec des goûts et des délicatesses natives que n'avaient point ses camarades, on le surnomma : « le bourgeois » et on ne l'appelait plus autrement. Il passait pour remarquablement adroit dans le métier de menuisier qu'il avait adopté. Il faisait même un peu de sculpture sur bois.

ОТЦЕУБИЙЦА

Защитник доказывал, что обвиняемый сумасшедший, да и как можно было иначе объяснить это дикое преступление?

Утром, в кустах над берегом Сены, нашли два трупа – мужчины и женщины, людей хорошо известных в свете, богатых и еще довольно молодых. Они повенчались только в минувшем году, она же овдовела после первого мужа три года тому назад. Никто не знал, чтобы у них были неприятели, и их не обокрали. Их, видимо, бросили в реку после нанесения нескольких ударов длинным острым оружием.

Следствие ничего не обнаружило. Рыбаки ничего не знали, и власти думали уже предать это дело забвению, когда вдруг молодой столяр из соседнего села, Георгий Луи, объявил, что он совершил это убийство. На все вопросы он только отвечал:

– Мужчину я знал уже два года. А женщину шесть месяцев. Они часто велели мне исправлять старинную мебель, зная, что я хороший столяр.

Когда же его спрашивали, почему он их убил, он упрямо отвечал:

– Убил потому, что хотел их убить.

Ничего больше нельзя было от него узнать.

Он был незаконнорожденный; ребенком его отдали к мамке, а потом покинули. У него не было никакой фамилии, но, когда он вырос и оказался способным человеком и человеком с врожденными изящными манерами и наклонностями, товарищи прозвали его «барином», и это прозвище заменяло ему фамилию. Он славился как очень искусный столяр и даже исполнял некоторые резные работы. Говорили, что он легко увлекался, что воспринял некоторые теории социалистов и даже нигилистов, был большим любителем чтения кровавых романов и драм и как оратор имел влияние и успех на сходках рабочих.

On le disait aussi fort exalté, partisan des doctrines communistes et même nihilistes, grand liseur de romans d'aventures, de romans à drames sanglants, électeur influent et orateur habile dans les réunions publiques d'ouvriers ou de paysans.

L'avocat avait plaidé la folie.

Comment pouvait-on admettre, en effet, que cet ouvrier eût tué ses meilleurs clients, des clients riches et généreux (il le reconnaissait), qui lui avaient fait faire depuis deux ans, pour trois mille francs de travail (ses livres en faisaient foi). Une seule explication se présentait : la folie, l'idée fixe du déclassé qui se venge sur deux bourgeois de tous les bourgeois et l'avocat fit une allusion habile à ce surnom de LE BOURGEOIS, donné par le pays à cet abandonné ; il s'écriait :

– N'est-ce pas une ironie, et une ironie capable d'exalter encore ce malheureux garçon qui n'a ni père ni mère ? C'est un ardent républicain. Que dis-je ? il appartient même à ce parti politique que la République fusillait et déportait naguère, qu'elle accueille aujourd'hui à bras ouverts, à ce parti pour qui l'incendie est un principe et le meurtre un moyen tout simple.

Ces tristes doctrines, acclamées maintenant dans les réunions publiques, ont perdu cet homme. Il a entendu des républicains, des femmes même, oui, des femmes ! demander le sang de M. Gambetta, le sang de M. Grévy ; son esprit malade a chaviré ; il a voulu du sang, du sang de bourgeois !

Ce n'est pas lui qu'il faut condamner, messieurs, c'est la Commune !

Des murmures d'approbation coururent. On sentait bien que la cause était gagnée pour l'avocat. Le ministère public ne répliqua pas.

Alors le président posa au prévenu la question d'usage :

– Accusé, n'avez-vous rien à ajouter pour votre défense ?

L'homme se leva :

Il était de petite taille, d'un blond de lin, avec des yeux gris, fixes et clairs. Une voix forte, franche et sonore sortait de ce frêle garçon et changeait brusquement, aux premiers mots, l'opinion qu'on s'était faite de lui.

Il parla hautement, d'un ton déclamatoire, mais si net que ses moindres paroles se faisaient entendre jusqu'au fond de la grande salle :

– Mon président, comme je ne veux pas aller dans une maison de fous, et que je préfère même la guillotine, je vais tout vous dire.

J'ai tué cet homme et cette femme parce qu'ils étaient mes parents.

Итак, защитник доказывал, что он сумасшедший.

Как в самом деле допустить, чтобы ремесленник убил лучших своих заказчиков, людей богатых и не жалеющих денег; сам он сознавал и его книги доказывали, что в течение двух лет он исполнил для них разной работы на сумму свыше 3000 франков. Было только одно объяснение его преступления: сумасшествие – *idée fixe* человека, который мстит господам за свое неопределенное положение. Защитник говорил:

– Разве это не ирония судьбы, ирония, возмущающая несчастного парня, у которого нет ни отца, ни матери? Он горячий республиканец – мало того, он даже принадлежит к политической партии, которую прежде республика растравливала и отправляла в ссылку, а теперь принимает с распростертыми объятиями. Он принадлежит к партии, считающей поджог принципом, а убийство – самым простым средством для достижения намеченной цели!

Это грустное учение, с восторгом встречаемое теперь на публичных собраниях, погубило обвиняемого. Не его нужно осуждать – господа, осуждайте коммуны!

Присутствующие одобрительно перешептывались между собою. Успех защиты легко можно было предвидеть. Прокурор отказался от обвинения, а председатель суда обратился к обвиняемому с обычным вопросом:

– Подсудимый, имеете ли что-нибудь еще сказать в вашу пользу?

Молодой человек поднялся; он был небольшого роста, светлый блондин, с выразительными, ясными глазами. Он говорил сильным, звучным голосом, которого нельзя было ожидать от такого, на первый взгляд, тщедушного человека. Он говорил громко, с пафосом, но так отчетливо, что каждое слово слышно было даже в глубине большой залы суда:

– Я не желаю быть запертым в сумасшедший дом, лучше пусть пойду под гильотину. Я все скажу... Я убил этих людей потому, что это были мои родители. А теперь слушайте и судите меня...

Женщина родила сына и отправила его куда-то к мамке. Знала ли она, куда ее сообщник унес это невинное существо, обреченное на вечную нищету, на позор незаконного происхождения, мало того – на смерть, так как его бросили, об нем забыли, а мамка, не получая месячного жалования, могла уморить его, как это делают многие другие, у которых такие дети умирают от истощения и голода.

Maintenant, écoutez-moi et jugez-moi.

Une femme, ayant accouché d'un fils, l'envoya quelque part en nourrice. Sut-elle seulement en quel pays son complice porta le petit être innocent, mais condamné à la misère éternelle, à la honte d'une naissance illégitime, plus que cela : à la mort, puisqu'on l'abandonna, puisque la nourrice, ne recevant plus la pension mensuelle, pouvait, comme elles font souvent, le laisser dépérir, souffrir de faim, mourir de délaissement.

La femme qui m'allaita fut honnête, plus honnête, plus femme, plus grande, plus mère que ma mère. Elle m'éleva. Elle eut tort en faisant son devoir. Il vaut mieux laisser périr ces misérables jetés aux villages des banlieues, comme on jette une ordure aux bornes.

Je grandis avec l'impression vague que je portais un déshonneur. Les autres enfants m'appelèrent un jour « bâtard ». Ils ne savaient pas ce que signifiait ce mot, entendu par l'un d'eux chez ses parents. Je l'ignorais aussi, mais je le sentis.

J'étais, je puis le dire, un des plus intelligents de l'école. J'aurais été un honnête homme, mon président, peut-être un homme supérieur, si mes parents n'avaient pas commis le crime de m'abandonner.

Ce crime, c'est contre moi qu'ils l'ont commis. Je fus la victime, eux furent les coupables. J'étais sans défense, ils furent sans pitié. Ils devaient m'aimer : ils m'ont rejeté.

Moi, je leur devais la vie – mais la vie est-elle un présent ? La mienne, en tous cas, n'était qu'un malheur. Après leur honteux abandon, je ne leur devais plus que la vengeance. Ils ont accompli contre moi l'acte le plus inhumain, le plus infâme, le plus monstrueux qu'on puisse accomplir contre un être.

– Un homme injurié frappe ; un homme volé reprend son bien par la force. Un homme trompé, joué, martyrisé, tue ; un homme souffleté tue ; un homme déshonoré tue. J'ai été plus volé, trompé, martyrisé, souffleté moralement, déshonoré, que tous ceux dont vous absolvez la colère.

Je me suis vengé, j'ai tué. C'était mon droit légitime. J'ai pris leur vie heureuse en échange de la vie horrible qu'ils m'avaient imposée.

Vous allez parler de parricide ! Étaient-ils mes parents, ces gens pour qui je fus un fardeau abominable, une terreur, une tache d'infamie ; pour qui ma naissance fut une calamité et ma vie une menace de honte ? Ils cherchaient un plaisir égoïste ; ils ont eu un enfant imprévu. Ils ont supprimé l'enfant. Mon tour est venu d'en faire autant pour eux.

Et pourtant, dernièrement encore, j'étais prêt à les aimer.

Но меня вскормила честная женщина, она была честнее, выше, была больше матерью, чем моя мать, — она воспитала меня. Положим, что она дурно сделала, исполняя свою обязанность. Лучше бы было, если бы умирали все эти дети, которых как городские нечистоты вывозят в окрестные деревни.

Я рос, чувствуя, что надо мною тяготит бесчестие. Однажды другие дети называли меня оскорбительным словом, которое слышали от старших, но не понимали его значения. И я тоже его не понимал, но — догадывался.

Могу сказать, что в школе я был одним из самых способных учеников. Я бы сделался честным, быть может, выдающимся человеком, если бы мои родители не совершили преступления, покидая меня. Это преступление они совершили против меня; я был жертвою, они были виновниками. Я был беззащитен, они без сострадания; они должны были любить меня, а между тем — покинули.

Они дали мне жизнь — но разве это был хороший подарок? Моя жизнь была одним лишь несчастьем. Когда они меня стыдно покинули, я должен был только отомстить им. Они совершили против меня самый бесчеловечный, самый подлый, самый отвратительный поступок, какой можно совершить против живого существа.

Оскорбленный человек поднимает руку в свою защиту; обокраденный силою отнимает свое добро. Человек обманутый, измученный — убивает, получивший пощечину — убивает, обесчещенный — убивает. Я был более чем обокраденный, обманутый, измученный, обесчещенный, получил больше нравственных пощечин, чем все те, которым вы прощаете их гнев.

Я отомстил, я убил. Я взял у них счастливую жизнь взамен за ужасное существование, какое они заставили меня влачить.

Вы будете говорить об отцеубийстве! Да разве они были для меня родителями. Эти люди, для которых я был отвратительным бременем, ужасом, пятном позора; люди, для которых мое рождение было несчастьем, угрозою, стыдом? Они искали эгоистических удовольствий, получился неожиданный ребенок. Они уничтожили ребенка, потом пришла его очередь.

Между тем еще недавно я готов был любить их.

Я вам уже говорил, что два года тому назад, он, мой отец, пришел ко мне в первый раз. Я ничего не подозревал. После я только узнал, что он тайно собирал обо мне сведения у местного священника. Он стал часто ко мне ходить, давать работу и хорошо платить.

Voici deux ans, je vous l'ai dit, que l'homme, mon père, entra chez moi pour la première fois. Je ne soupçonnais rien. Il me commanda deux meubles. Il avait pris, je le sus plus tard, des renseignements auprès du curé, sous le sceau du secret, bien entendu.

Il revint souvent ; il me faisait travailler et payait bien. Parfois même il causait un peu de choses et d'autres. Je me sentais de l'affection pour lui.

Au commencement de cette année il amena sa femme, ma mère. Quand elle entra, elle tremblait si fort que je la crus atteinte d'une maladie nerveuse. Puis elle demanda un siège et un verre d'eau. Elle ne dit rien ; elle regarda mes meubles d'un air fou, et elle ne répondait que oui et non, à tort et à travers, à toutes les questions qu'il lui posait ! Quand elle fut partie, je la crus un peu toquée.

Elle revint le mois suivant. Elle était calme, maîtresse d'elle. Ils restèrent, ce jour-là, assez longtemps à bavarder, et ils me firent une grosse commande. Je la revis encore trois fois, sans rien deviner ; mais un jour voilà qu'elle se mit à me parler de ma vie, de mon enfance, de mes parents. Je répondis : « Mes parents, madame, étaient des misérables qui m'ont abandonné. » Alors elle porta la main sur son cœur, et tomba sans connaissance. Je pensai tout de suite : « C'est ma mère ! » mais je me gardai bien de laisser rien voir. Je voulais la regarder venir.

Par exemple, je pris de mon côté mes renseignements. J'appris qu'ils n'étaient mariés que du mois de juillet précédent, ma mère n'étant devenue veuve que depuis trois ans. On avait bien chuchoté qu'ils s'étaient aimés du vivant du premier mari, mais on n'en avait aucune preuve. C'était moi la preuve, la preuve qu'on avait cachée d'abord, espéré détruire ensuite.

J'attendis. Elle reparut un soir, toujours accompagnée de mon père. Ce jour-là, elle semblait fort émue, je ne sais pourquoi. Puis, au moment de s'en aller, elle me dit : « Je vous veux du bien, parce que vous m'avez l'air d'un honnête garçon et d'un travailleur ; vous penserez sans doute à vous marier quelque jour ; je viens vous aider à choisir librement la femme qui vous conviendra. Moi, j'ai été mariée contre mon cœur une fois, et je sais comme on en souffre. Maintenant, je suis riche, sans enfants, libre, maîtresse de ma fortune. Voici votre dot. »

Elle me tendit une grande enveloppe cachetée.

Je la regardai fixement, puis je lui dis : « Vous êtes ma mère ? »

Elle recula de trois pas et se cacha les yeux de la main pour ne plus me voir. Lui, l'homme, mon père, la soutint dans ses bras et il me cria : « Mais vous êtes fou ! »

Иногда он кое о чем разговаривал со мною, и я даже привязался к нему.

В начале текущего года он привел ко мне свою жену – мою мать. Когда она вошла, то так сильно дрожала, что я думал, что она подвержена какой-либо нервной болезни. Она села и попросила стакан воды. Ничего не говоря, она как сумасшедшая смотрела на мою мебель, а на все мои вопросы без толку отвечала – да или нет. Я думал, что она помешанная.

Через месяц она опять пришла с мужем, спокойная и владеющая собою. В этот день они довольно долго просидели у меня, разговаривали и сделали мне крупный заказ. Я видел ее еще три раза, но ни о чем не догадывался, наконец она однажды начала говорить со мною о моем детстве и родителях. Я ответил: «сударыня, мои родители негодяи, которые покинули меня». Тогда она схватилась рукою за грудь и упала в обморок. Я сейчас подумал – это моя мать! Но ничего не сказал, желая еще ее видеть.

Однако ж я со своей стороны собрал кое-какие справки. Я узнал, что они недавно повенчались, так как моя мать овдовела три года тому назад. Поговаривали, что они любили друг друга еще при жизни первого мужа, но доказательств не было. Я был доказательством, которое сначала спрятали, а потом уничтожили.

Я ждал. Однажды вечером она опять пришла вместе с моим отцом. Не знаю, почему, но она была очень взволнована и, когда уходила, сказала: «Желаю вам добра, так как вы кажетесь мне честным и трудолюбивым парнем; вы должно быть скоро подумаете о женитьбе, я помогу вам, чтобы вы могли по своему желанию выбрать подходящую жену. Я была один раз замужем против моего сердца и знаю, чего это стоит. Теперь я богата, детей у меня нет, я свободна и самостоятельна. Вот приданое для вашей будущей жены».

Она подала мне большой запечатанный конверт.

Я пристально посмотрел на нее и сказал:

– Вы моя мать?

Она отступила шага на три, закрывая глаза рукою, чтобы не глядеть на меня. Он, мой отец, поддерживая ее, крикнул мне: «Вы сумасшедший!»

– Вовсе нет, – ответил я. – Я хорошо знаю, что вы мои родители. Сознайтесь, я сохраню тайну, ничего от вас не буду требовать, останусь тем, кто я есть, – столяром.

Je répondis : « Pas du tout. Je sais bien que vous êtes mes parents. On ne me trompe pas ainsi. Avouez-le et je vous garderai le secret ; je ne vous en voudrai pas ; je resterai ce que je suis, un menuisier. »

Il reculait vers la sortie en soutenant toujours sa femme qui commençait à sangloter. Je courus fermer la porte, je mis la clef dans ma poche, et je repris : « Regardez-la donc et niez encore qu'elle soit ma mère. »

Alors il s'emporta, devenu très pâle, épouvanté par la pensée que le scandale évité jusqu'ici pouvait éclater soudain ; que leur situation, leur renom, leur honneur seraient perdus d'un seul coup ; il balbutiait : « Vous êtes une canaille qui voulez nous tirer de l'argent. Faites-donc du bien au peuple, à ces manants-là, aidez-les, secourez-les ! »

Ma mère, éperdue, répétait coup sur coup : « Allons-nous-en, allons-nous-en ».

Alors, comme la porte était fermée, il cria : « Si vous ne m'ouvrez pas tout de suite, je vous fais flanquer en prison pour chantage et violence ! »

J'étais resté maître de moi ; j'ouvris la porte et je les vis s'enfoncer dans l'ombre.

Alors il me sembla tout à coup que je venais d'être fait orphelin, d'être abandonné, poussé au ruisseau. Une tristesse épouvantable, mêlée de colère, de haine, de dégoût, m'envahit ; j'avais comme un soulèvement de tout mon être, un soulèvement de la justice, de la droiture, de l'honneur, de l'affection rejetée. Je me mis à courir pour les rejoindre le long de la Seine qu'il leur fallait suivre pour gagner la gare de Chatou.

– Je les rattrapai bientôt. La nuit était venue toute noire. J'allais à pas de loup sur l'herbe, de sorte qu'ils ne m'entendirent pas. Ma mère pleurait toujours. Mon père disait : « C'est votre faute. Pourquoi avez-vous tenu à le voir ! C'était une folie dans notre position. On aurait pu lui faire du bien de loin, sans se montrer. Puisque nous ne pouvons le reconnaître, à quoi servaient ces visites dangereuses ? »

Alors, je m'élançai devant eux, suppliant. Je balbutiai : « Vous voyez bien que vous êtes mes parents. Vous m'avez déjà rejeté une fois, me repousserez-vous encore ? »

Alors, mon président, il leva la main sur moi, je vous le jure sur l'honneur, sur la loi, sur la République. Il me frappa, et comme je le saisisais au collet, il tira de sa poche un revolver.

J'ai vu rouge, je ne sais plus, j'avais mon compas dans ma poche ; je l'ai frappé, frappé tant que j'ai pu.

Он отступил к выходной двери, поддерживая рыдавшую жену. Я опередил его, запер двери, спрятал ключ в карман и спросил:

– Разве и теперь вы можете отрицать, что она моя мать?

Тогда он стал выходить из себя и сильно побледнел, опасаясь, что вспыхнет давно избегаемый скандал, что их положение, счастье могут быть разом разбиты, он бормотал:

– Вы негодай, вы хотите выманить у нас денег. Вот и делайте добро народу, помогайте этим нищим!

Моя мать, чрезвычайно испуганная, постоянно повторяла:

– Уйдем, уйдем отсюда.

Но дверь была заперта, и он крикнул:

– Если вы сейчас же не отворите, я вас засажу в острог за шантаж и насилие!

Я овладел собою, отворил дверь и видел, как они исчезли в темноте.

Тогда мне показалось, что я только что сделался сиротою, что меня покинули, швырнули в грязь. Мною овладела странная тоска, с примесью злобы, ненависти и отвращения; в моем существе как будто взбунтовались чувства справедливости, чести и отвергнутой любви. Я побежал за ними вдоль Сены, по дороге, по которой им надо было идти домой. Я скоро их нагнал. Было уже совсем темно. Я шел по траве тихими шагами, так что они меня не слышали. Мать продолжала плакать, а отец говорил:

– Ты сама виновата, зачем тебе непременно нужно было его видеть! Ведь при нашем положении – это сумасшествие! Не показывая себя, ему можно было издали помогать. Раз мы не можем его узаконить, на что эти опасные посещения?

Тогда я бросился вперед, загораживая им дорогу и слезно говорил:

– Вы же действительно мои родители. Вы раз уже бросили меня, неужели и теперь оттолкнете?

Тогда – господа судьбы, и клянусь в этом честью, законом, клянусь всем, что люблю и уважаю, – он меня ударил... я схватил его за шиворот, а он достал из кармана револьвер. В глазах сделалось красно, я ничего уже не видел. У меня в кармане был циркуль, им я его ударил и потом, сколько мог, продолжал наносить удары. Она начала кричать – караул! – убийца! Рвала мне бороду руками. Ка-

Alors elle s'est mise à crier : « Au secours ! à l'assassin ! » en m'arrachant la barbe. Il paraît que je l'ai tuée aussi. Est-ce que je sais, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là ?

Puis, quand je les ai vus tous les deux par terre, je les ai jetés à la Seine, sans réfléchir.

Voilà. – Maintenant, jugez-moi.

L'accusé se rassit. Devant cette révélation, l'affaire a été reportée à la session suivante. Elle passera bientôt. Si nous étions jurés, que ferions-nous de ce parricide ?

Maupassant, G. de. Un parricide [La ressource électronique] / G. de Maupassant // Maupassant par les textes. – Les données électroniques. – URL: <http://maupassant.free.fr/cadre.php?page=oeuvre>

жется, что я и ее убил. Разве я знаю, что я тогда делал? Наконец, когда я увидел, что они оба лежат на земле, ни о чем не думая, я их столкнул в реку.

Я все сказал, теперь – судите меня.

Обвиняемый сел на свое место. В виду такого сознания дело нужно было пересмотреть; оно скоро будет вторично разбираться. Если бы вы были в числе присяжных заседателей – что бы вы сделали с этим отцеубийцей?

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1891. № 68 (16 июня). С. 2–3. Перевод «А. С-кий» [А.О. Станиславский])

Литература

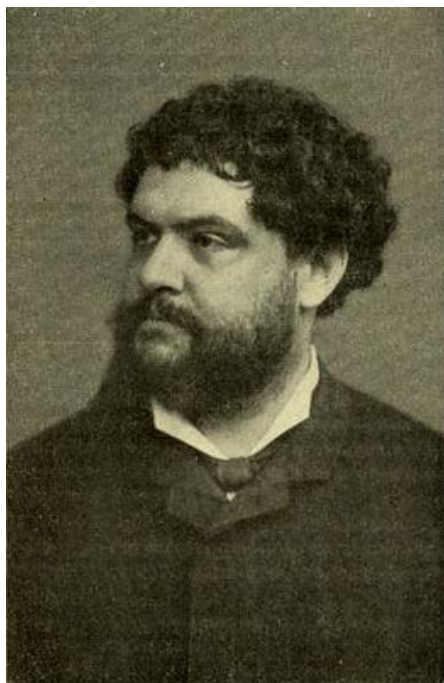
Гавриленко (Родченко) Ю.И. Георгий Вяткин о театральных постановках Мопассана на томской сцене // Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики: материалы XII конференции молодых ученых: в 2 т. – Томск: Том. гос. ун-т, 2011. – Вып. 12, т. 2: Литературоведение и издательское дело. – С.48–51.

Гавриленко (Родченко) Ю.И. Творчество Ги де Мопассана в критике «Сибирского вестника» (1890–1894) // I Всероссийский фестиваль науки: Всероссийская с международным участием конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (г. Томск, 25–29 апреля 2011 г.): материалы конференции: в 6 т. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2011. – Т. II: Филология, ч. 1: Русский язык и литература. – С. 12–17.

Гавриленко (Родченко) Ю.И. Критическая рецепция творчества Ги де Мопассана на страницах «Сибирской жизни» (1913 г.) // Коммуникативные аспекты языка и культуры: сборник материалов XI Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2011. – Ч. 1. – С. 57–60.

Родченко Ю.И. Томский «переводной цикл» новелл Г. де Мопассана // Французская литература в томской периодике конца XIX – начала XX в.: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. – Томск, 2014. – С. 66–87.

Родченко Ю.И. Особенности критической рецепции французской литературы в томской периодике конца XIX – начала XX в. (на материале «Сибирского вестника» и «Сибирской жизни») // Имагология и компаративистика. – 2015. – № 2 (4) – С. 158–177.



Жан Ришпен
(Jean Richerpin, 1849–1926)

Жан Ришпен (Jean Richerpin, 1849–1926) – французский поэт, прозаик и драматург, снискавший себе славу одного из поэтов-бунтарей наряду с П. Верленом, А. Рембо, Ш. Кро и др. Популярность пришла к нему после публикации скандального сборника стихов «*Chanson des gueux*» («Песнь оборванцев», 1876).

Творчество Ришпена хорошо было известно в России благодаря переводам Ольги Чюминой, Сергея Андреевского, Юрия Корнеева, Михаила Яснова. В томской периодике Ришпен представлен четырьмя прозаическими переводами, опубликованными в газете «Сибирский вестник». Первый перевод вышел в 1895 г., а три последующих появились на страницах газеты начиная с 1902 г. с перерывами в 1 год.

На данный момент рецепция творчества Ришпена в Сибири практически не изучена. Помимо вышеупомянутых переводов более никаких упоминаний Ришпена на страницах сибирской периодики не обнаружено.

В хрестоматию включен перевод рассказа «*Le chef-d'œuvre du crime*» («Шедевр преступления») из сборника новелл «*Les Morts bizarres*» («Странные смерти», 1877). Перевод был напечатан в №79 «Сибирского вестника» за 1904 г. с указанием криптонима переводчика «Ш.М.».

Публикации

1. Ришпен Ж. Охотничий рассказ / А. М-х-ч // Сибирский вестник. – 1895. – № 116 (29 сентября). – С. 2.
2. Ришпен Ж. Господин с бледными глазами // Сибирский вестник. – 1902. – № 242 (9 ноября). – С. 2.
3. Ришпен Ж. Убийца // Сибирский вестник. – 1903. – № 186 (27 августа). – С. 2–3.
4. Ришпен Ж. Шедевр преступления / Ш.М. // Сибирский вестник. – 1904. – № 79 (14 апреля). – С. 2–3.

LE CHEF-D'ŒUVRE DU CRIME

À la mémoire d'Adrien Juvigny.

L'œil du public est un aiguillon de gloire.
Stendhal.

I

Pas de chance ! Il avait pour nom de baptême Oscar, pour nom de famille Lapissotte ; il était pauvre, sans talent, et il se croyait un homme de génie.

Son premier soin, en entrant dans la vie, fut de prendre un pseudonyme ; son second, d'en prendre un autre ; et ainsi de suite, pendant dix ans, il usa tous les vocables de fantaisie qu'il put imaginer pour dépister la curiosité de ses contemporains.

Cette curiosité, d'ailleurs, qu'il avait l'air de craindre et qu'il convoitait au contraire de toutes ses forces, ne cherchait guère à percer les ténèbres épaisses de son existence. Sous toutes ses étiquettes d'emprunt, qu'il se fit appeler Jacques de la Mole, Antoine Guirland, Tildy Bob, Grégorius Hanpska, qu'il s'affublât de désinences nobles, roturières, étrangères, romantiques ou modernes, il n'en restait pas moins le plus inconnu des plumitifs, le plus obscur des incompris et le plus pauvre des gens de lettres. La gloire ne voulait pas de lui.

– E pur, si muove ! J'ai quelque chose là ! se disait-il avec conviction en frappant de son doigt la boîte osseuse de son crâne, qu'il trouvait profond parce qu'il sonnait creux.

On ne saurait croire à quelles aberrations peut pousser la vanité littéraire. Il y a des hommes de véritable talent qu'elle a jetés dans des ridicules inconcevables, et même qu'elle a induits à commettre des actes honteux ou odieux. Qu'est-ce donc lorsqu'elle tourmente un misérable d'une nullité avérée ! La patience épuisée, l'orgueil aigri, l'impuissance acquise, une vie gâchée par un espoir inutile et tenace, il n'en faut pas tant pour enfanter l'idée d'en finir par un suicide ou d'en sortir par un crime.

Oscar Lapissotte n'était pas assez brave pour choisir la mort. D'ailleurs, ses prétentions à la supériorité intellectuelle trouvèrent une pâture dans la résolution d'un crime. Il se dit, en effet, que son génie avait jusqu'alors fait fausse route en s'appliquant aux rêves de l'art, et qu'il

ШЕДЕВР ПРЕСТУПЛЕНИЯ

(Перевод с французского для «Сиб. Вестн.»)

Ему не везло! Звали его Оскар, фамилия Лаписот, он был беден, круглая бездарность и воображал себя гением. Первой его заботой по вступлении в жизнь было выбрать себе псевдоним, затем другой, и так далее: за десять лет он перебрал все имена, какие только мог придумать, чтобы сбить с толку любопытных современников. Впрочем, это любопытство, которого он втайне жаждал, хотя делал вид, что боится его, и не стремилось рассеять окружавший его мрак неизвестности. Под всеми кличками, как Жак де ла Моль, Тильди Боб, или под другими, аристократическими или простонародными, иностранными, романтическими и пр., он все же оставался самым неизвестным из писак, самым непризнанным и бедным из литераторов – слава не хотела знать его.

– *E pur si muove!* У меня тут есть кое-что! – говорил он сам с собой убежденно, постукивая пальцем по голове.

Трудно представить себе, до каких заблуждений может доводить литературное тщеславие. Есть люди истинно талантливые, которые под его влиянием совершали постыдные и гнусные или до неприличия смешные поступки. Что же может произойти, если оно начинает мучить жалкое ничтожество? Когда истощается терпение, гордость унижена, бессилие доказано, жизнь испорчена тщетной, но упорной надеждой, нетрудно дойти до мысли покончить с этим положением посредством самоубийства или преступления! Оскар Лаписот был недостаточно храбр, чтобы выбрать смерть, да и его претензии на интеллектуальное превосходство влекли его к решению совершить преступление. Он сказал себе, что до сих пор его гений шел ложным путем, отдавшись мечтам об искусстве, тогда как он предназначен действовать. С другой стороны, преступление дает богатство, а богатство позволит, наконец, проявить в полном блеске этот ум, гаснувший в бедности.

était destiné aux violences de l'action. D'autre part, le crime rapporterait une fortune, et la richesse mettrait enfin en pleine lumière cet esprit transcendant qui s'étiolait dans la pauvreté. Artistiquement et moralement, l'incompris se prouva donc qu'il était nécessaire de commettre un crime.

Il le commit. Et, comme si la réalité voulait lui donner raison, pour la première fois de sa vie il fit un chef-d'oeuvre.

II

Environ dix ans avant le jour où il devint un scélérat, Oscar Lapissotte avait demeuré au sixième étage dans une maison de la rue Saint-Denis. Perdu au milieu d'une trentaine de locataires, connu seulement sous un de ses nombreux pseudonymes, il y avait été l'amant d'une vieille bonne bavarde qui lui racontait toutes ses petites affaires. Elle servait une veuve, fort âgée, malade et assez riche. Il n'était d'ailleurs resté dans cette maison qu'un mois à peine.

Un soir qu'il venait de quitter un de ses amis, interne à la Pitié, en passant dans une salle pour s'en aller, il reconnut la bonne qui était mourante. Elle lui dit qu'elle n'était plus chez la veuve depuis trois semaines seulement, qu'on l'avait remplacée pour le moment par une femme de ménage, que sa maîtresse était trop infirme pour venir la visiter et que c'était bien désolant.

– Je comprends cela, dit Oscar. Vous voudriez la voir, n'est-ce pas ?

– Oh ! ce n'est pas cela. C'est que j'ai peur, si je meurs ici, que madame ne lise toutes les lettres que j'ai laissées chez elle et ne me méprise après ma mort.

– Et pourquoi vous mépriseraient-elle ?

– Écoutez ! je vais vous dire toute la vérité. Vous avez été mon amant ; mais il y a si longtemps que c'est passé. Je puis vous confier que j'ai eu d'autres amours. Vous ne m'en voulez pas, hein ? Et puis, vous savez bien que j'étais pas ce qu'il vous faut, à vous ! Vous êtes un artiste, un homme du monde. Vous m'avez eue en passant, sans y attacher d'importance. Mais j'ai dans la maison une espèce d'homme qui est de mon rang, un cocher ; que, si madame le savait, ce serait ma perte. Et j'ai fait tant de mauvaises choses pour lui ! Ah ! le gueux ! j'en étais folle. Il est le père de mon enfant ; c'est pour cela que j'ai passé par où il a voulu. Il me promettait toujours de le reconnaître et de m'épouser. Aujourd'hui je vois bien que c'était de la frime ; mais n'importe ! Mon petit ne sera pas malheureux avec ce que je lui laisse, et madame est assez bonne pour en

С артистической и моральной точки зрения непризнанный гений доказал себе, что необходимо совершить преступление. И он совершил его, причем, точно действительность хотела оправдать его мнение о себе, — он в первый раз в жизни произвел шедевр.

Лет за десять до того дня, когда он сделался преступником, Оскар Лаписот жил на шестом этаже одного дома на улице Saint Denis. Там он был любовником старой болтливой бонны, которая рассказывала ему обо всех своих делишках. Она служила у одной вдовы, старой, больной и довольно богатой. Но в этом доме он жил всего один месяц.

Однажды вечером он посетил одного из своих друзей, служившего врачом в богадельне, и, уходя от него, пошел через одну из палат, где лежали больные. Там он встретил бонну, которая рассказала ему, что она ушла от своей вдовы всего три недели назад, и что ее временно заместила приходящая прислуга, и что она в отчаянии, так как ее госпожа по болезни не может навестить ее.

— Понимаю, — сказал Оскар, — вам хотелось бы повидаться с нею?

— О, не в том дело. Но я боюсь, чтобы барыня, если я умру здесь, не прочла всех писем, которые я оставила у нее. И не стала бы презирать меня после моей смерти.

— За что же она станет презирать вас?

— Послушайте, я скажу вам всю правду. Вы были моим любовником, но это было так давно. Я могу признаться вам, что у меня были и другие. Вы не сердитесь, а? И потом, знаете, вам была нужна не такая, какая я: вы артист, светский человек, взяли меня мимоходом, не придавая этому значения. Но в доме был человек одного положения со мной, кучер, и, если б барыня узнала, это было бы моей гибелью. И я столько гадостей делала для него, негодного! Я с ума сходила по нем. Он отец моего ребенка; из-за это него я и делала все, что он хотел. Он постоянно обещал мне усыновить его и жениться на мне. Теперь-то я вижу, что это было надувательство, ну да не беда! Мой мальчик не будет нищим с тем, что я ему оставляю, а барыня такая добрая, что позаботится о нем, потому что я ей написала, что у меня есть ребенок. Письмо у меня тут, под подушкой, и я хочу, чтобы его передали, когда меня уже не будет, но только если мои бумаги раньше будут сожжены. Без этого я скорей проглочу свое письмо. Я не хочу, чтобы барыня знала все, что я делала, она не пожалеет мальчика, если узнает, что он сын распутницы и воровки.

avoir soin aussi ; car je lui ai écrit, à madame, que j'avais un enfant. J'ai la lettre là, sous mon oreiller, et je veux qu'on la lui remette quand je n'y serai plus, mais seulement si mes papiers sont brûlés avant. Car, sans cela, je mangerai la lettre plutôt. Je ne veux pas que madame sache tout ce que j'ai fait. Elle serait sans pitié pour le gamin si elle savait qu'il est le fils d'une gourgandine et d'une voleuse.

– Voyons, voyons, ma chère amie, dit brusquement Oscar, expliquez-moi mieux votre situation. Vous parlez trop vite, vous embrouillez tout, et il faut me mettre au courant nettement, si vous voulez que je vous rende un service. Je ne demande pas mieux, si c'est possible ; mais j'ai besoin de bien comprendre.

A ce moment, Oscar Lapissotte ne songeait nullement au crime. Il se laissait simplement aller à sa curiosité d'homme de lettres, flairait un roman et se préparait de la copie.

– Eh bien ! reprit la bonne, voici ce que c'est. Je vais tâcher d'être claire. Je suis tombée malade tout d'un coup, d'une attaque d'apoplexie, dans la rue, et on m'a amenée à l'hôpital. Madame m'y a laissée, parce qu'on ne pouvait pas me transporter d'ici. Je lui ai écrit, et elle m'a répondu. Sa femme de ménage est venue de sa part. Mais ni à madame, ni à la femme de ménage je n'ai pu parler de ce qui me tourmente. J'ai un paquet de lettres du cocher, vous savez bien, du père. Dans les lettres il y a tout plein de vilaines choses, des vols qu'il me conseille et des remerciements qu'il m'envoyait quand je les avais commis. Car j'ai volé, oui, j'ai volé pour lui, volé ma maîtresse. J'aurais dû les brûler, ces lettres maudites. Mais il y avait aussi dedans des mamours et des promesses de mariage, et des assurances qu'il reconnaîtrait le petit. Alors je les gardais. Un jour, le vaurien m'a menacée de me les prendre pour me compromettre. Je lui refusais de l'argent, et il m'a laissé comprendre qu'une fois maître des papiers, il ferait de moi tout ce qu'il voudrait. J'ai eu diablement peur. Tout de même je n'ai pas voulu me séparer des lettres. Pour les mettre en sûreté, j'ai demandé à madame de lui confier des papiers de famille auxquels je tenais beaucoup, et j'ai ainsi fourré mes lettres dans son secrétaire. Madame m'a donné un tiroir pour moi, avec la clef. Je sais bien que je pourrais lui faire dire que j'ai besoin de mes papiers. Mais je me méfie de la femme de ménage, qui me les apporterait. A des mots qu'elle m'a léchés, je crois bien deviner qu'elle a aussi le cocher maintenant. C'est un enjôleur, je vous dis. Et s'il l'enjôle, c'est pour avoir le paquet, dont il connaît la cachette. Alors, vous comprenez

– Послушайте, милая, – прервал ее вдруг Оскар, – объясните мне толком свое дело. Вы слишком быстро говорите и все путаете, а мне надо все понять хорошенько, если вы хотите, чтобы я оказал вам услугу. Я хочу сам этого, если только могу, но мне нужно понять. – В эту минуту Лаписот совсем не думал о преступлении. Он просто удовлетворял свое писательское любопытство, чуя тут роман и собираясь воспользоваться им.

– Хорошо! – сказала бонна, – вот в чем дело. Я постараюсь быть ясной. Я заболела скоропостижно параличом на улице, и меня привезли в больницу. Барыня оставила меня тут, потому что меня нельзя было перевозить. Я ей написала, и она ответила. Ее прислуга пришла от ее имени. Но ни барыне, ни прислуге я не могла сказать о том, что меня мучит. У меня есть письма кучера – знаете, отца, и они наполнены всякими гадостями, – он пишет о кражах, советует мне сделать их и благодарит за то, что я для него делала, потому что я обворовывала для него свою хозяйку, да! Я должна была бы сжечь эти проклятые письма, но там были также и всякие сладости, и обещания жениться, и уверения, что он признает ребенка, я и хранила их. Этот негодяй погрозил мне отнять их, чтобы скомпрометировать меня: я ему отказала в деньгах, и он дал понять, что раз он захватит бумаги, он сделает из меня все, что хочет. Я чертовски струсила, но все-таки не хотела расстаться с письмами. Чтобы поместить их в безопасное место, я попросила барыню, чтобы она взяла у меня на хранение семейные бумаги, которыми я очень дорожу, и спрятала письма к ней в конторку. Барыня дала мне особый ящик с замком. Я могла бы ей сказать, что мне нужны мои бумаги, но я не верю прислуге, с которой она послала бы их мне: по некоторым ее словам мне кажется, что она тоже сошлась с кучером – это волокита, скажу вам. Теперь вы понимаете мое затруднение. О, если бы вы были так добры! Я, правда, не стою этого, но с вашей стороны так хорошо было бы вернуть мне письма!

– Но как же я получу их, скажите пожалуйста?

– Ну, это очень просто! Вечером, около десяти часов, барыня принимает хлораль и спит потом крепко. В это время прислуги уже не бывает в комнате, она уходит после обеда, в семь часов. Понимаете, барыня не говорила ей, что принимает хлораль, из боязни воровства. Только мне она это сказала, потому что вполне доверяла мне, бедняжка. Ну, она тогда не услышит, если вы войдете, и вы можете уйти и принести мне письма. Вы знаете, в доме два

mon embarras. Oh ! si vous étiez assez bon ! Je ne le mérite pas, c'est vrai ; mais ce serait beau de votre part, de me rendre ce service.

– Quel service ?

– De m'apporter mes lettres.

– Mois comment voulez-vous que je les aie ?

– C'est bien simple, allez ! Le soir, sur les dix heures, madame a pris son chloral pour dormir, et elle dort fort à ce moment. Pendant ce temps, la femme de ménage n'est pas là, puisqu'elle s'en va à sept heures après le diner. Vous pensez bien que madame ne lui a pas dit qu'elle prenait du chloral, crainte du vol. Elle ne le disait qu'à moi, en qui elle avait pleine confiance, la pauvre. Eh bien ! vous entreriez alors, qu'elle ne vous entendrait pas, et vous pourriez sortir et m'apporter mes lettres. Vous savez qu'il y a deux entrées à la maison. Par l'escalier de service le concierge ne s'apercevrait de rien. Oh ! faites cela pour moi, dites !

– Mais vous êtes folle. Et le secrétaire, comment l'ouvrir ? Et la porte de l'appartement, comment la passer.

– J'ai une double clef du secrétaire. Je l'avais fait fabriquer pour ma honte, pour voler madame. La voici avec celle de mon tiroir. Voici aussi la clef pour entrer par la cuisine, sur l'escalier de service. Je vous en supplie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fol en vous, je suis sûre que vous ferez cela, pour que je meure en paix.

Oscar Lapissotte prit les clefs. Il avait les yeux fixes. Une subite pâleur couvrait sa filgure. Des contractions nerveuses tiraillaient le pli de ses lèvres minces. Brusquement, la possibilité du crime lui était apparue. Celte femme morte, et la chose était facile à exécuter.

Oh ! j'étouffe, j'étouffe, dit la malade que sa longue confidence avait épuisée. A boire ! donnez-moi à boire ! Le dortoir était dans l'ombre, vaguement éclairé par une veilleuse. Dans les lits voisins, tout le monde dormait. Oscar souleva la tête de la malade, retira l'oreiller, et le lui posa sur la bouche où il le maintint d'un poignet de fer pendant au moins dix minutes. Il eut l'épouvantable courage d'attendre, la montre en main.

Quand il découvrit la figure, la malade était asphyxiée. Elle n'avait pu faire un mouvement ni pousser un cri. Elle semblait avoir succombé à un coup de sang. Il remplaça l'oreiller sous la tête, ramena les couvertures sous le menton. Le cadavre avait l'air de dormir.

Le lit de la bonne étant assez près de la porte, l'assassin sortit sans bruit. Il enfila le corridor des internes, passa par une poterne de la rue de la Pitié, et se trouva dehors sans avoir été vu.

Il était neuf heures vingt minutes.

подъезда. Консьерж ничего не заметит, если пойдете по черной лестнице.

– Но вы с ума сошли. А как открыть конторку? Как пройти в квартиру?

– У меня есть двойной ключ от конторки. На свой позор я заказала его, чтобы обкрадывать барыню. Вот он вместе с ключом от моего ящика, а вот ключ от кухни, с черной лестницы. Умоляю вас. Не знаю почему, но я верю, что вы это сделаете, чтобы я умерла спокойно.

Оскар Лаписот взял ключи. Глаза его были неподвижны, внезапная бледность покрывала лицо, губы судорожно подергивались. Возможность преступления вдруг встала перед ним. Раз эта женщина умрет, дело легко сделать.

– Ох, я задыхаюсь! – проговорила больная, утомленная длинной исповедью. – Дайте мне пить!

Палата была в тени, слабо освещенная ночником. На соседних кроватях все спали. Оскар приподнял голову больной, вынул подушку и положил ее на рот бонны. В таком положении он держал ее, по крайней мере, десять минут. У него хватило адского мужества выждать с часами в руках. Когда он снял подушку, больная была мертва. Она не могла сделать движения или крикнуть и теперь имела вид умершей от прилива крови к голове. Он опять положил подушку под голову ей, оправил одеяло, и она казалась спящей.

Так как кровать бонны стояла возле двери, то убийца вышел бесшумно в коридор и проскользнул на улицу, никем не замеченный. Было двадцать минут десятого. Не теряя времени, он быстрыми шагами направился в улицу Saint Denis и вошел в дом раньше десяти часов, обдумав зрело свой план по дороге.

Он прошел сперва в конюшню, где находились вещи кучера. Он взял шейный платок, оторвал от него кусок и положил в карман. Затем он взобрал по черной лестнице в первый этаж, где находилась квартира, и восемнадцать ступенек нетрудно было пройти незамеченным. Он отворил дверь в квартиру, прошел в спальню и сразу же задушил спящую старуху. И на этот раз у него достало хладнокровия сжимать горло добрую четверть часа. Потом он открыл конторку. В среднем ящике были акции и облигации, в левом банковские билеты, а в правом свертки луидоров. Он взял бумаги на предъявителя, банковские билеты и золото, набил ими карманы и потом занялся письмами, которые легко нашел по указаниям бонны. Их он сжег

Sans perdre de temps, tout à la fièvre de l'exécution, le misérable partit à grands pas pour la rue Saint-Denis. Il entra dans la maison avant dix heures.

En route il avait mûri tout son plan.

Il pénétra d'abord dans l'écurie, où devaient être les affaires du cocher. Il y prit une cravate, en déchira un petit lambeau, et mit ce lambeau dans sa poche.

Puis il monta par l'escalier de service, quatre à quatre. C'était au premier et on pouvait enjamber les dix-huit marches sans risquer d'être aperçu.

Il ouvrit la porte, entra sans bruit, arriva dans la chambre à coucher, et d'un coup étrangla la vieille femme qui dormait. Là encore il eut le sang-froid de tenir la gorge serrée pendant un bon quart d'heure.

Il ouvrit ensuite le secrétaire. Dans le grand tiroir du milieu il y avait des actions et des obligations ; dans le tiroir de gauche, des billets de banque ; dans celui de droite des rouleaux de louis. Il fit un tri des titres au porteur et laissa les autres. En tout, titres, or et billets, il y avait cent quarante mille francs, dont il bourra ses poches.

Il s'occupa ensuite des lettres. Il les trouva facilement dans le petit coin, en haut, où la bonne lui avait dit qu'elles étaient.

Il les brûla dans la cheminée, mais en ayant soin de laisser intacts les morceaux les plus compromettants pour la bonne et le cocher. Quelques-uns seulement, bien choisis, suffisaient pour reconstituer toute l'histoire de l'enfant, des provocations au vol, des vols commis. Il les init en évidence, près du garde-feu, admirablement arrangés pour faire croire qu'on les avait brûlés à la hâte et qu'on était parti avant qu'ils fussent complètement consumés.

Il chiffonna et déchira le lambeau de cravate dans la main droite, fermée et crispée, de la morte.

Il sortit alors, fila comme un éclair jusqu'à la rue, et se mit immédiatement à marcher avec le pas tranquille et distrait d'un rêveur.

Décidément Oscar Lapissotte ne s'était pas trompé en se croyant un homme de génie. Il avait le génie du crime et avait travaillé de main de maître.

III

Un crime, en effet, n'est véritablement un chef-d'œuvre que si l'auteur reste impuni. D'autre part, l'impunité n'est complète que si la justice condamne un faux coupable.

в камине, но не целиком, а оставив нетронутыми отрывки, наиболее компрометировавшие бонну и кучера, и расположив их так искусно, что, казалось, письма поспешно жгли и бросили не догоревшими. Затем он измял и изорвал взятый им кусок шейного платка и вложил его в стиснутую правую руку покойницы. Затем он с быстротою молнии проскользнул на улицу и тотчас же пошел медленным, спокойным шагом замечтавшегося фланера. Положительно Оскар Лаписот не ошибался, считая себя гением, и свое дело он сделал рукою мастера.

Преступление является шедевром, если его виновник остается безнаказанным, но безнаказанность бывает полною лишь в том случае, если суд осуждает мнимого виновника. Оскар Лаписот имел полную безнаказанность, юстиция ни минуты не сомневалась в виновнике – очевидно, им был кучер. Обрывки писем служили неопровержимым доказательством. Кто, кроме кучера, любовника бонны, мог так хорошо знать обстоятельства, благоприятствующие преступлению? Кто, кроме него, мог иметь ключи? Начав с обворовывания вдовы при помощи бонны, он преступил грань, отделяющую воровство от убийства, – разве это не было логично? К тому же кусок платка ясно указывал на преступника; к довершению беды кучер не мог указать, что делал в роковой час. Сколько он ни отрицал своей виновности, все было против него, ничто не говорило в его пользу.

Его судили, приговорили к смерти, казнили, и судьи, присяжные, адвокаты, газеты, публика – все считали это совершенно справедливым. В деле оставался только один темный пункт – это деньги, которых не могли найти. Но предполагалось, что убийца укрыв их в верном месте, в том же, что он украл их, никто не сомневался. Вообще, если когда-либо осужденный признавался безусловно виновным, таким был именно кучер.

Говорят, сознание совершенного доброго дела дает глубокий мир душе. Но лишь многие имели смелость сказать, что безнаказанность злодеяния также доставляет благоденствие. Оскар Лаписот мог вполне воспользоваться плодами своего двойного убийства в полной мере. Он не чувствовал ни угрызений совести, ни страха. Единственное, что его волновало, это безграничная гордость, главным образом гордость артиста. Забыть все нравственные соображения заставило его именно совершенство его деяния и сознание, что в нем он проявил себя безупречным мастером.

Но только в этом его жажда превосходства была удовлетворена. Во всем остальном он по-прежнему был посредственностью, спра-

Oscar Lapissotte eut l'impunité complète.

La justice n'hésita pas un seul instant pour trouver l'assassin. Évidemment, c'était le cocher. Les fragments des lettres étaient des indices infaillibles. Quel autre que le cocher, amant de la bonne, pouvait connaître si bien les choses favorables au crime ? Quel autre pouvait avoir les clefs ? N'avait-il pas commencé par voler la veuve de concert avec la bonne ? N'était-il pas logique qu'il eût franchi le pas qui sépare le vol de l'assassinat ? D'ailleurs, le bout de cravate accusateur parlait clairement. Pour comble de malheur le cocher avait de mauvais antécédents. Comme dernière circonstance accablante, il ne put justifier de l'emploi de son temps à l'heure fatale. Il eût beau nier, protester de son innocence : tout était contre lui, rien ne plaidait en sa faveur.

Il fut jugé, condamné à mort, exécuté ; et les juges, les jurés, l'avocat, les journaux, le public, s'accordèrent pour avoir la conscience tranquille à cet endroit. Il ne resta qu'un point obscur dans son affaire, c'est la fortune qu'on ne put retrouver. On pensa que le coquin l'avait cachée en lieu sûr, mais personne ne douta qu'il ne l'eût volée.

En somme, si jamais criminel fut reconnu coupable de son crime, c'est bien celui-là.

IV

On dit que la conscience d'une bonne action donne une paix profonde. Mais peu de gens ont eu la hardiesse de dire que l'impunité d'une mauvaise action procure aussi sa félicité. Barbey d'Aurevilly, parmi ses admirables Diaboliques, n'a pas craint d'écrire une nouvelle intitulée le Bonheur dans le crime, et il a eu raison ; car les scélérats connaissent la sérénité.

Oscar Lapissotte put jouir pleinement de son double meurtre et en savourer les fruits dans une sérénité absolue. Il n'éprouva ni remords, ni terreur. La seule chose troublante qu'il ressentit et qui s'accrut peu à peu, fut un orgueil immense.

Orgueil d'artiste surtout. Ce qui lui fit oublier toute considération morale, c'est précisément la perfection de son œuvre, et le sentiment qu'il avait de s'être montré vraiment impeccable.

Or, en cela seulement, sa soif de supériorité trouva de quoi s'abreuver jusqu'à l'ivresse.

Dans tout le reste, il restait un homme médiocre, obscur, justement inconnu. Il avait beau profiter de sa fortune nouvelle pour forcer la porte

ведливо неизвестной. При помощи вновь приобретенного богатства он мог открыть себе доступ в журналы и газеты, мог угощать критиков пирами, но он не мог заставить публику слушать себя. Его стихи, проза, драматические опыты были признаны ничтожеством. Литераторы еще немножко знали Анатоля Дероз, литератора-любителя, имевшего более доходов, чем таланта, но читателям не было дела до его доходов, и все отрицали в нем даже искорку таланта.

– И все-таки, – говорил он себе временами, – если б я только захотел? Если б я рассказал свое мастерское дело, потому что я произвел шедевр! Пускай Анатоль Дероз кретин, но Оскар Лаписот, несомненно, идеальный человек. Ужасно думать, что дело, так хорошо проведенное, такое обдуманное, так вполне удавшееся, останется навсегда неизвестным. Ах, в тот день у меня явилось вдохновение, благодаря которому делаются совершенные дела! Аббат Прево написал сотню негодных романов и только одну *Manon Lescaut*; Бернарден де сен Пьер оставил после себя только *Paul et Virginie*. Есть много странных гениев, которые дают только одно произведение, но зато какое! И я принадлежу к таким умам. Зачем я пережил, а не написал свой шедевр! Если б я его написал, я был бы знаменит, потому что я сделал шедевр преступления!

Эта мысль неотвязно преследовала его. Десять лет он боролся с нею, обуреваемый сперва сожалением, что это было не мечтой, а действительностью, а потом охваченный желанием рассказать происшедшее как выдумку. Его мучило исключительно литераторское самолюбие, жажда славы, а не та развращенность, которая заставляет героев Эдгара По кричать о своих преступлениях. Эта навязчивая мысль постоянно приводила новые аргументы в свою пользу, отвергая возражения, точно посторонний советник.

– Почему тебе не написать правды? Чего ты боишься? Анатоля Дероз юстиция не преследует. Преступление давнее, всеми забытое. Виновник его известен, казнен. Все будут думать, что ты, как артист, воспользовался старым судебным делом.

Ты расскажешь в повести все свои темные мысли, всю злобу, побудившую тебя совершить убийство, все твое искусство и все обстоятельства, доставленные тебе случаем, этим чудесным пособником. Ты один только посвящен в тайну, и все в твоём рассказе будут видеть только плод богатого воображения. И ты станешь тем, чем хочешь, – великим писателем, проявляющимся поздно, но сразу. Ты воспользуешься своим преступлением, как ни один еще преступник

des journaux et des revues ; il avait beau fêter la critique ; il ne pouvait se faire écouter du public. Ses vers, sa prose, ses essais de théâtre, étaient marqués au coin de la nullité. Les gens du métier connaissaient un peu Anatole Desroses, l'homme de lettres amateur qui avait plus de rentes que de talent ; mais les lecteurs se moquaient de ses rentes, et tout le monde s'accordait pour lui refuser même le plus petit brin de talent. Il était dûment convaincu d'impuissance.

Et pourtant ! se disait-il parfois avec un éclair dans les yeux, pourtant, si je voulais ! Si je racontais mon chef-d'œuvre ! car j'ai fait un chef-d'œuvre. Il n'y a pas de doute pour celui-là. Anatole Desroses est peut-être un crétin, soit ; mais Oscar Lapissotte est un homme de génie. C'est tout de même épouvantable à penser, qu'une chose aussi bien machinée, aussi puissamment conçue, aussi vigoureusement exécutée, aussi complètement réussie restera éternellement inconnue. Ali ! ce jour-là, j'ai eu l'inspiration, la vraie, celle qui fait faire les choses parfaites. Mon Dieu ! l'abbé Prévost a barbouillé plus de cent romans détestables et n'a écrit qu'une Manon Lescaut. Bernardin de Saint-Pierre ne laissera que Paul et Virginie. Il y a beaucoup de ces génies singuliers qui ne produisent qu'une œuvre. Mais aussi, quelle œuvre ! Cela reste comme un monument dans une littérature. Moi, je suis de cette famille d'esprits. Je n'ai fait qu'une belle chose. Pourquoi l'ai-je vécue au lieu de l'écrire ? Si je l'avais écrite, je serais célèbre, je n'aurais qu'un conte à montrer, mais tout le monde voudrait le lire, car il serait unique dans son genre. J'ai fait le chef-d'œuvre du crime.

Cette idée devint à la longue une obsession.

Pendant dix ans il lutta contre elle. Il se laissa dévorer, d'abord par le regret de n'avoir pas fait le rêve à la place de l'action, puis par le désir de raconter l'action comme un rêve. Ce qui le hantait, ce n'était pas le démon de la perversité, cette puissance singulière qui pousse les personnages d'Edgar Poe à crier leur secret ; c'était seulement une préoccupation littéraire, le besoin de renommée, le prurit de la gloire.

Comme un subtil conseiller qui réfute une à une les objections et qui fait valoir les arguments ? captieux, son idée fixe le poursuivait de mille raisonnements.

Pourquoi n'écrirais-tu pas la vérité ? que crains-tu ? Anatole Desroses est à l'abri de la justice. Le crime est vieux. Pour tout le monde, il est oublié. L'auteur en est connu, il est mort et enterré avec sa tête entre les jambes. Tu auras l'air d'avoir arrangé artistiquement une ancienne histoire judiciaire. Tu mettras là dedans toutes tes pensées obscures,

не пользовался: ты получишь от него не только богатство, но и славу. И почему знать? После этого успеха, который создаст тебе имя, твои другие произведения тоже будут читаться, и составленное о тебе несправедливое мнение переменится – по дороге к славе труден только первый шаг; смелей! Верни себе ту смелость, которая была у тебя в роковой день – посмотри, какой успех дала она тебе, и даст опять. Раз ты сумел поймать случай за волосы, теперь он снова представляется – неужели ты упустишь его? Расскажи же свое прекрасное дело, без страха, гордо, во всем его величественном ужасе, и, поверь мне, будь дерзок до конца, откажись от своего псевдонима, который считается твоим именем, которое примут за псевдоним. Надо прославить не Анатоля Дероз, Жака де ла Моль и всю эту кучу бездарностей, а тебя самого – Оскара Лаписота.

И в один прекрасный вечер Оскар Лаписот уселся перед белым листом бумаги, с пылающей головой, как великий поэт, чувствующий зарождение великого произведения, и лихорадочно, не вставая, написал историю своего преступления. Он рассказал свой жалкий дебют, постоянные неудачи, доказанную бездарность Оскара Лаписота, его страшное ожесточение, мысли о самоубийстве и преступлении, возмущения сердца, обманутого химерой и жаждущего выместить на действительности. Потом сжато и с ужасающей отчетливостью он описал сцену в богадельне, сцену на улице Saint Denis, смерть мнимого виновника, торжество истинного убийцы. Затем с сатанинской полнотой он выяснял причины, побудившие виновного опубликовать свое преступление, заканчивал апофеозом Оскара Лаписота, именем которого и подписал повесть.

Шедевр преступления появился в *Revue des deux Mondes* и имел чудовищный успех. Можно себе составить некоторое представление об этом успехе по следующим отзывам критики. «Повесть извлечена из судебной драмы, разыгравшейся лет десять назад на улице Saint Denis. Но воображение романиста сумело превратить вульгарное убийство в изумительно сложное дело. Сам Габорио не нашел бы тех комбинаций, которые изобрел автор». – «Автор этой повести не лирик, как мы понимаем это слово, но и не реалист. Его фантастический гений парит на крыльях оды. Но что за дело, на какой почве произрастает лавр?» – «Не нужно упреков совести. Это именно преступление атеиста. Если бы луч христианской веры светил в этом мраке, г. Анатоля Дероз мог бы быть назван Данте современного ада». – «Всем известно, что под псевдонимом Оскара Лаписота

toutes les rancunes qui t'ont poussé au meurtre, toutes les habiletés que tu as combinées pour le commettre, toutes les circonstances que t'a fournies ce merveilleux inventeur qui s'appelle le hasard. Toi seul es dans le secret de l'œuvre, et personne ne devinera que tu l'as puisé dans la réalité. On ne verra dans ton conte que l'effort d'une imagination extraordinaire. Et alors tu seras l'homme que lu veux être, le grand écrivain qui se révèle tard, mais par un coup de maître. Tu jouiras de ton crime comme jamais criminel n'a pu jouir du sien. Tu en auras tiré non seulement la fortune, mais encore le laurier. Et qui sait ? Après ce premier succès, quand tu auras un nom, tu feras lire tes autres œuvres, et on reviendra sans doute sur l'injuste opinion qu'on a de toi. Sur le chemin de la célébrité, il n'y a que le premier pas qui coûte. Courage ! Retrouva un peu de cette hardiesse étonnante que lu as eue un jour dans ton existence. Vois comme elle t'a réussi. Elle ne peut manquer de réussir encore. Tu as su prendre une fois l'occasion aux cheveux. Tu la tiens encore dans la main aujourd'hui. La laisseras-tu fuir ? Tu sais bien que l'œuvre est belle, n'est ce pas ? Eh bien ! raconte la sans peur, sans ambages, fièrement, dans sa majestueuse horreur. Et, si lu veux m'en croire, va jusqu'au bout de ton orgueil, sois crâne outrageusement, et renonce au pseudonyme qui a l'air d'être ton nom, pour signer de ton nom qui aura fait d'un pseudonyme. Ce n'est pas Jacques de la Mole, Antoine Guirland, ni même Anatole Desroses, ce n'est pas le las d'individus sans talent qu'il faut illustrer ; c'est toi seul, c'est Oscar Lapissotte.

Et un beau soir, Oscar Lapissotte s'assit devant du papier blanc, la tête en feu, la main fiévreuse, comme un grand poète qui se sent prêt à accoucher d'une grande chose, et il écrivit d'un trait l'histoire de son crime.

Il racontait les débuts misérables d'Oscar Lapissotte, sa vie de bohème, ses insuccès multipliés, sa médiocrité prouvée, ses rancunes terribles, les idées de suicide et de crime qui dansaient dans sa cervelle, les révoltes d'un cœur que la chimère a trompé et qui veut se venger sur le réel, tout un roman de psychologie pénétrante, l'anatomie de son esprit. Puis, en traits sobres et d'une effrayante netteté, il décrivait la scène de la Pitié, la scène de la rue Saint-Denis, la mort du faux coupable, le triomphe du vrai meurtrier. Alors, avec une subtilité de détails curieuse et satanique, il analysait les causes qui avaient décidé l'auteur à publier son crime, et il finissait par l'apothéose d'Oscar Lapissotte, qui mettait sa signature au bas de cette confession.

скрывается автор, любящий такие маски, г. Анатолий Дероз. Долгое время тратя свой талант на мелкую журналистику, г. Анатолий Дероз явился наконец перед нами во весь рост своего таланта». И т.д. Сарсе прочел конференцию о Шедевре преступления, в которой сравнивал автора с Гофманом и Эдгаром По. В сумме были только хвалебные отзывы, если не считать неизбежной брани разных завистников и глупцов.

Но даже в самых хвалебных статьях две вещи бесили Оскара Лаписота. Во-первых, его настоящее имя упорно принимали за псевдоним, а его называли Анатолий Дероз; а во-вторых, слишком много говорили о его воображении и слишком много оттеняли реальность его рассказа. Эти две *desiderata* мучили его до такой степени, что из-за них он забывал счастье нарождающейся славы – артисты уж так созданы, что чувствуют малейшую складку розового лепестка. Поэтому однажды, когда некто курил фимиами великому человеку, написавшему Шедевр преступления, великий человек ответил ему неожиданно:

– О, милостивый государь, вы иначе поздравляли бы меня, если бы знали бы суть дела. Моя повесть не роман, а факт, как я его рассказал, и я его совершил. Мое настоящее имя Оскар Лаписот.

– Восхитительно! – воскликнул собеседник. – Шутка потрясающей мрачности... Это Бодлер!

И на другой день все газеты рассказали анекдот; попытку мистификации, которой Анатолий Дероз хотел выдать себя за убийцу, все нашли восхитительной. Положительно – он оригинал и достоин занимать Париж. Оскар Лаписот пришел в ярость. Первый раз он почти машинально сделал свое страшное признание, но теперь у него явилась действительная потребность, чтобы ему кто-нибудь поведал. Он стал говорить всем встречающимся знакомым. Первый день это казалось забавным, на третий скучным, а через неделю его стали считать просто глупым. Он не сумел удержаться на высоте положения великого человека. Это довело его до отчаяния.

– А, это слишком! – заявил он в кафе не верившим. – Никто не хочет верить, что я не только написал, но и пережил шедевр преступления. Хорошо! Завтра весь Париж узнает, кто такой Оскар Лаписот.

Он отправился к следователю, который вел дело, и сказал ему:

– Милостивый государь, я явился отдалиться в руки правосудия, – я Оскар Лаписот.

– Бесплезно продолжать, – любезно ответил следователь, – я читал вашу повесть и знаю также эксцентричность, которой вы забавлялись.

Le Chef-d'œuvre du crime parut dans la Revue des Deux Mondes et eut un succès prodigieux.

On en peut avoir une idée par les quelques extraits suivants des articles de critique qui saluèrent son apparition : « Tout le monde sait que sous le pseudonyme d'Oscar Lapissotte (un nom d'une fantaisie peut-être un peu trop gauloise) se cache un auteur qui se plaît à ces sortes de déguisements, M. Anatole Desroses. Après avoir longtemps gaspillé son talent dans le petit journalisme, M. Anatole Desroses vient de nous donner sa vraie mesure. La nouvelle est tirée d'un drame judiciaire qui s'est passé il y a environ dix ans, rue Saint-Denis. Mais l'imagination du romancier a su transformer un vulgaire assassinat en une œuvre étonnante de combinaison. Le pauvre Gaboriau lui-même n'aurait pas trouvé les complications qu'a inventées M, Anatole Desroses. Nous donnerons le Chef-d'œuvre du crime dans noire numéro double de dimanche prochain. » – (Philippe Gill. – Figaro).

« Pendant que je parle de la poule au riz, je dois dire un mot de la chair de poule que m'a donnée le Chef- d'œuvre du crime. Il y a dans l'analyse des sentiments une pointe de métaphysique qui me gâte un peu la fantaisie vraiment extraordinaire du récit. Mais quel est le livre sans défaut ? La bizarrerie même de ces détails subtils est comme un ragoût agréable. Grimod de la Reynière et Restif de la Bretonne ont de ces obscurités amusantes. M. Anatole Desroses est de leur famille. Il a écrit comme eux un fatras de choses inconnues parmi lesquelles cinquante pages tout à fait remarquables. Il sera le plus célèbre parmi les oubliés et les dédaignés de notre temps » – (Charles Monselet. – Événement).

« L'auteur de celte nouvelle n'est pas un lyrique comme nous l'entendons : mais ce n'est pas non plus un réaliste. Son génie fantastique a les ailes de l'ode. Toutefois il faut bien avouer qu'Anatole Desroses est plutôt un nourrisson des Euménides, des chiennes sanglantes qui aboient sur les traces d'Orestès meurtrier de la grande Klytaïmnestra, qu'un nourrisson des Grâces à la belle gorge. Mais qu'importe le terrain, pourvu qu'on y voie croître le laurier ? » – (Théodore de Banville. – National).

« Pas de remords ! c'est bien là le crime d'un athée. Si un rayon de foi chrétienne traversait ces ténèbres, M. Anatole Desroses pourrait passer pour le Dante de l'enfer moderne. Il n'en est que le Disdéri. Mais c'est de la photographie en couleurs. Il a la touche. Il écrit. Il va même jusqu'à savoir analyser. Il sondera peut-être les reins de sa génération, qui les a bien malades. » – (Louis Veuillot. – Univers).

Другой, может быть, рассердился бы за шутку над юстицией, но я люблю литературу и рад, что ваш остроумный сюжет доставил мне удовольствие познакомиться с вами.

– Но тут вовсе не шутка! Клянусь, что я Оскар Лаписот и совершил преступление, – это и докажу! Что я написал, было на самом деле. Кучер не виноват, и это я...

– Мне кажется, – перебил следователь, – я уже сказал вам, что читал вашу повесть. Если вам угодно рассказать ее мне лично, я бесконечно доволен. Но это докажет мне только то, что уже доказано, т.е. что вы обладаете удивительно богатым и оригинальным воображением.

– У меня хватило воображения только на то, чтобы сделать одно преступление.

– Не сделать, а написать, дорогой мой, написать. И, позвольте высказаться вполне, вы преступили границы дозволенного писательской фантазии, придумать подробности, грешащие невероятностью...

– Но раз я вам говорю...

– Позвольте! Вы признаете, что я несколько компетентен в вопросах преступления. Уверяю вас, что ваше преступление не натурально обставлено. Встреча с бонной в богадельне – слишком случайная, хлораль трудно переваривается, простите за игру слов, и как произведение искусства, ваша повесть очаровательна, оригинальна. Но само по себе ваше знаменитое преступление невозможно. Дорогой мой господин Дероз, я в отчаянии, что причиняю вам неприятность, но, насколько я вами восторгаюсь как литератором, настолько же я не в состоянии признать вас преступником.

– Ну, так мы увидим! – прорычал Лаписот, бросаясь на следователя с пеной у рта и с налившимися кровью глазами. Он задушил бы его, если б на крик не сбежались и не схватили взбесившегося, которого тотчас же арестовали, а через пять дней отправили в Шарантон как сумасшедшего.

– Вот до чего довела литература! – говорил на другой день какой-то хроникер. – Анатолий Дероз случайно написал одну хорошую вещь, и это так потрясло его, что он вообразил, будто пережил это. Повторилась старая сказка о Пигмалионе, влюбившемся в свою статую, и т.д.

Ужаснее всего то, что Оскар Даписот не сошел с ума, и тем более он мучился.

– И так, – думал он, – на меня обрушились все несчастья, не хотят верить ни моему имени, ни моему преступлению. Когда я умру,

«Chef-d'œuvre en effet, ce Chef-d'œuvre du crime ! Et pas si crime ! Car cette plume a des éclairs d'épée et des tranchants de scalpel. Elle pousse des bottes terribles à la sérénité du crime et la découpe en anatomie, bien qu'elle lui fasse une auréole de moulinets flamboyants. Où y voit plus clair, voilà tout ! C'est la clarté sulfureuse que jette l'œil du diable, d'ailleurs ; et c'est aussi le doigt du diable, que ce doigt enragé de M. Anatole Desroses troussant la robe du crime et montrant le cœur humain sans feuille de vigne. Il me plaît, ce M. Anatole Desroses, qui aurait du s'appeler Desépines ou Desorties ; il me plaît comme un vice.» — (J. Barbey d'Aureville. — Constitutionnel.)

Seyarc fit sur le Chef-d'œuvre du crime une conférence au boulevard des Capucines. Il établit des comparaisons avec Hoffmann et Edgar Poe, toucha deux mots de l'art dramatique à propos des préparations psychologiques qui amenaient les scènes de meurtre, fit une digression sur le genre du vaudeville, une autre sur l'école normale, une troisième sur l'essence de la digression, et finalement appela l'auteur un quart de génie, tout en lui tapant familièrement sur le ventre.

En somme, il y eut un concert d'éloges, à part les criailleries indispensables des envieux, des sots, des prud'hommes et autres menus vérons du journalisme.

VI

Toutefois, dans tous les articles, même les plus flatteurs, deux choses se retrouvaient qui irritèrent beaucoup Oscar Lapissotte.

La première, c'est qu'on s'obstinait à prendre son vrai nom pour un pseudonyme et à l'appeler Anatole Desroses.

La seconde, c'est qu'on parlait trop de son imagination et qu'on ne faisait pas assez ressortir la vraisemblance de son récit.

Ces deux desiderata le tourmentèrent à tel point qu'il en oublia tout le bonheur de sa gloire naissante. Les artistes sont ainsi faits que, même quand la critique les couche sur un lit de roses, ils souffrent si quelque feuille fait le moindre pli.

Aussi, un beau jour, comme un quidam félicitait le grand homme qui avait écrit le Chef-d'œuvre du crime, et lui donnait de l'encensoir par le nez à tour de bras, le grand homme lui répondit à brûle-pourpoint :

— Eh ! monsieur, vous me féliciteriez bien autrement si vous

saviez

меня будут считать Анатодем Дероз, которому посчастливилось написать одну прекрасную повесть, и в то же время будут принимать за героя романа Оскара Лаписота, т.е. меня самого, хладнокровного, решительного, геройски жестокого человека, живое отрицание совести. О, пусть меня гильотинируют, но пусть узнают правду! Хотя бы на мгновение, пока не опустился роковой нож, но я хочу быть уверенным в моей славе, в моем бессмертии!

Его возбуждение лечили душами. Наконец под влиянием своей неотвязчивой идеи и общения с сумасшедшими он сам сошел с ума; тогда его объявили выздоровевшим и освободили. В конце концов Оскар Лаписот поверил, что он Анатолий Дероз и никогда не был убийцей. Он умер с убеждением, что пережил в воображении, а не в действительности свой шедевр.

(Опубликовано в «Сибирском вестнике». 1904. № 79 (14 апреля). С. 2–3. Перевод «Ш.М.»)

le fin mot des choses. Ma nouvelle n'est pas un roman ; elle est arrivée. Le crime a été commis tel que je l'ai raconté. Et c'est moi qui l'ai commis. Je m'appelle de mon vrai nom Oscar Lapissotte.

Il disait cela froidement, avec un grand air de conviction, détachant bien ses phrases, comme quelqu'un qui veut être cru.

– Ah ! charmant ! charmant ! s'écria son interlocuteur. La plaisanterie est d'un lugubre renversant. C'est du meilleur Baudelaire !

Et le lendemain tous les journaux répétaient l'anecdote. On trouva délicieuse la tentative de mystification par laquelle Anatole Desroses voulait se faire passer pour un assassin. Décidément, il était original et digne d'occuper Paris.

Oscar Lapissotte devint furieux. En faisant cette confession terrible, il avait agi machinalement en quelque sorte. Maintenant il avait réellement besoin d'être cru par quelqu'un.

Il renouvela sa confession à tous les amis qu'il rencontra sur le boulevard. Le premier jour cela parut drôle. Le second jour on trouva qu'il avait la farce monotone. Le troisième jour il fut jugé ennuyeux. Au bout de la semaine, il finit par passer pour un franc imbécile.

Il ne savait pas se maintenir à la hauteur de sa réputation de grand homme. Ses plus chauds partisans le blaguèrent.

Ce commencement de dégringolade l'exaspéra.

– Ah ! c'est trop fort ! dit-il aux incrédules, en plein café ; ainsi personne ne veut ajouter foi à ce qui est l'exacte vérité ; personne ne veut reconnaître que j'ai non seulement écrit, mais exécuté le Chef-d'œuvre du crime ! Eh bien ! j'en aurai le cœur net. Demain, tout Paris saura qui est Oscar Lapissotte !

VII

Il alla trouver le juge d'instruction qui avait mené l'affaire de la rue Saint-Denis.

– Monsieur, lui dit-il je viens me constituer prisonnier. Je suis Oscar Lapissotte.

– Inutile de continuer, monsieur, lui répondit le juge d'un air aimable. J'ai lu votre nouvelle, dont je vous fais mes compliments. Je connais aussi l'excentricité à laquelle vous vous amusez depuis huit jours. Un autre que moi se fâcherait, peut-être, de voir que votre plaisanterie pousse jusqu'à la magistrature. Mais j'aime les lettres, et je ne saurais vous en vouloir d'essayer sur moi aussi votre spirituelle

farce, puisque cela me vaut le plaisir de faire voire connaissance.

– Eh ! monsieur, dit Oscar impatienté de ces politesses, il s'agit bien de plaisanterie ! Je vous jure que je suis Oscar Lapissotte, et que j'ai commis le crime, et je vais vous le prouver.

– Eh bien ! monsieur, reprit le magistrat, vous allez voir comme je suis de bonne composition. Pour la curiosité du fait, je veux bien me prêter à ce jeu. Je vous avouerai même que je me fais d'avance une fête de voir comment un esprit aussi subtil que le vôtre pourra s'y prendre pour me prouver l'absurde.

– L'absurde ? Mais ce que j'ai raconté est la vérité absolue. Le cocher n'était pas coupable. C'est moi qui ai disposé...

– Je crois vous avoir dit, cher monsieur, que j'ai lu votre nouvelle. S'il vous plaît de me la raconter vous-même, j'en aurai une joie infinie. Mais cela ne me prouvera rien du tout, sinon ce qui m'est prouvé déjà, à savoir que vous avez une imagination singulièrement riche et étrange.

– Je n'ai eu d'imagination que pour commettre mon crime.

– Pas pour commettre ; pour l'écrire, cher monsieur, pour l'écrire. Et tenez, laissez-moi vous dire toute ma pensée là-dessus ! Vous avez eu un peu trop d'imagination, vous avez passé les bornes permises à la fantaisie de l'écrivain, vous avez inventé certaines circonstances qui pèchent contre le vraisemblable.

– Mais puisque je vous dis...

– Permettez ! Permettez ! Vous souffrirez bien que je me reconnaisse quelque compétence en matière de crime. Et bien ! je vous assure, la main sur la conscience, que votre crime n'est pas combiné naturellement. La rencontre avec la bonne à la Pitié est trop une chose de hasard. Le chloral (passez-moi le jeu de mot) est dur à digérer. Et bien d'autres détails de même. En tant qu'œuvre d'art, votre nouvelle est charmante, originale, bien machinée, ce que vous appelez empoignante ; et j'admets que vous avez eu parfaitement raison, vous écrivain, de travestir ainsi la réalité. Mais votre fameux crime en lui-même est impossible. Mon cher monsieur Desroses, je suis désolé de vous faire de la peine ; mais si je vous admire comme homme de lettres, je ne saurais vraiment vous prendre au sérieux comme criminel.

– C'est ce que tu vas voir ! hurla Oscar Lapissotte en bondissant sur le magistrat.

Il avait l'écume aux lèvres, le sang aux yeux, tout le corps soulevé par un accès de colère. Il aurait étranglé le juge, si l'on n'était venu aux cris.

On maîtrisa ce furieux, on le lia, et il fut immédiatement enfermé.

Cinq jours plus tard, on le conduisait à Charenton comme fou.

– Voilà pourtant où mène la littérature ! disait, le lendemain, je ne sais quel chroniqueur. Anatole Desroses a fait une fois, par hasard, une belle chose. Il en a été tellement troublé, qu'il a fini par croire à la réalité de son rêve. C'est la vieille fable de Pygmalion devenant amoureux de sa statue. Ce pauvre Murger me disait un jour... etc... etc...

VIII

Et ce qu'il y a de plus épouvantable, c'est qu'Oscar Lapissotte n'était pas fou. Il avait bien toute sa raison, et n'en était que plus torturé.

– Ainsi, pensait-il, j'ai tous les malheurs. On ne veut croire ni à mon nom, ni à mon crime. Quand je serai mort, je passerai simplement pour Anatole Desroses, un écrivassier qui a eu la veine d'imaginer un seul beau conte ; et on prendra pour un personnage de roman cet Oscar Lapissotte, cet être que je suis, l'homme de sang-froid, de décision, d'action, le héros de la férocité, la négation vivante du remords. Oh ! qu'on me guillotine, mais qu'on sache la vérité ! Ne fût-ce qu'une minute, avant de fourrer mon cou dans la lunette ; ne fût-ce qu'une seconde, pendant que le couperet tombera ; ne fût-ce que le temps d'un éclair, je veux avoir la certitude de ma gloire et la vision de mon immortalité !

On traitait cette exaltation par les douches.

Enfin, à force de vivre dans son idée fixe, et dans la compagnie des fous, il devint fou lui-même.

C'est justement alors qu'on le renvoya en le déclarant guéri.

Oscar Lapissotte avait fini par croire qu'il était bien Anatole Desroses et qu'il n'avait jamais assassiné.

Il est mort avec la conviction d'avoir rêvé son œuvre et de ne pas l'avoir faite.

Richepin, J. Le chef-d'œuvre du crime [La ressource électronique] / J. Richepin // Les morts bizarres. – Paris : Maurice Dreyfous, 1883. – P. 205–240. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102306x/f217.image>



**Анатоль Франс
настоящее имя – Франсуа Анатоль Тибо,
(Anatole France; François-Anatole Thibault; 1844–1924)**

Анатоль Франс (Anatole France; настоящее имя – Франсуа Анатоль Тибо, François-Anatole Thibault; 1844–1924) – французский писатель и литературный критик. Член Французской академии (1896); лауреат Нобелевской премии по литературе (1921), средства которой он пожертвовал в пользу голодающих России. В 1866 г. закончил иезуитский колледж, затем работал библиографом в издательстве А. Лемерра. В это время стал одним из заметных участников парнасской школы, тогда же появились его первые произведения – поэтический сборник «Золотые поэмы» («Les Poèmes dorés», 1873) и драматическая поэма «Коринфская свадьба» («Les Noces corinthiennes», 1876). Однако произведением, принесшим ему известность, стал роман «Преступление Сильвестра Боннара» («Le Crime de Sylvestre Bonnard», 1881) – сатира, в которой легкомыслию и доброте отдаётся предпочтение перед суровой добродетелью. Вышедшие впоследствии романы, сборники новелл и афоризмов укрепили его репутацию одарённого литератора и публициста. Активно занимаясь литературой, Франс не переставал интересоваться общественной жизнью: являлся видным деятелем социалистического лагеря, принимал участие в устройстве народных университетов, читал лекции рабочим, участвовал в митингах, организованных левыми силами. В феврале 1905 г. Франс создал и возглавил «Общество друзей русского народа и присоединённых народов». В 1913 г. лично посетил Россию. Октябрьская революция в России была воспринята им с большим энтузиазмом; одобрил он и создание во Франции компартии в начале 1920-х гг. К этому времени его имя становится всемирно известно, он – нобелевский лауреат и считается авторитетнейшим писателем и деятелем культуры во Франции.

Критика

Информация о жизни и творчестве Франса, появившаяся на страницах томской периодики начала XX в., сводится к двум небольшим публикациям. Первое упоминание о писателе, появившееся в «Сибирском вестнике» за 1902 г., связано с перепечаткой небольшого очерка Франса о конце света из газеты «Новое вре-

мя». В своём очерке писатель иронизирует над тщетностью человеческого бытия и бесплодными попытками философов и литераторов оставить свой след в истории человечества. По мнению Франса, все науки и искусства будут забыты людьми, которые будут владеть своим существованием в ледниковых пещерах, а затем и вовсе вымрут. Анонимный томский критик, по-видимому, не разделяя тонкой иронии французского писателя, в конце статьи замечает: «Интересно, что автору жаль не человека, а поэм Гомера и греческих мраморов! Можно думать, что конец света уже давно наступил».

Вторая критическая заметка о личности Франса была опубликована на страницах «Сибирской жизни» в августе 1911 г. Удалось установить, что данная статья была заимствована из «Петербургской газеты», вышедшей месяцем ранее. Заметка характеризует Франса как человека, не стремящегося к наградам и почестям. Неизвестный журналист отмечает, что писатель отказался от степени командора Ордена Почетного легиона, предложенной ему министром народного просвещения, не считая себя достойным его, поскольку даже такие великие писатели, как В. Гюго и А. де Ламартин, не удостоились столь высокой награды. Далее журналист не без язвительности замечает, что как только «пресловутый» поэт Э. Ростан узнал об отказе Франса, он немедленно явился к министру и «выпросил», чтобы отвергнутый знак отличия был пожалован ему. На что последний ответил: «Берите, раз вы не брезгуете».

Переводы

В первое десятилетие XX в. особую популярность в России приобретают новеллы Франса и его автобиографические романы, перевод которых появляется на страницах популярных российских толстых журналов. В это же время переводы из Франса начинают публиковаться на страницах томских газет. Хронологическое отставание провинциальной рецепции от столичной составляет не более четырех лет.

В 1903–1904 гг. в местных газетах выходят восемь небольших рассказов Франса, посвященных его детским воспоминаниям. В 1903 г. в «Сибирском вестнике» публикуются три рассказа из автобиографического произведения писателя «Книга моего друга» («Le Livre de mon ami», 1885) в переводе «М.Ш.»: «Кисть винограда» («La

Grappe de raisin»), «Дама в белом» («La Dame en blanc») и «Андре» («André»). В Петербурге первый полный перевод этой книги появляется всего двумя годами ранее на страницах «Нового журнала иностранной литературы». Героями всех трех рассказов являются дети, от лица которых Франс изображает окружающую действительность.

В 1904 г. «Сибирская жизнь» обращается ко второму автобиографическому роману Франса «Пьер Нозьер» («Pierre Nozière», 1899), перевод которого на русский язык был впервые представлен в «Новом журнале иностранной литературы» за 1900 г. Томский переводчик К. Минович представляет перевод одной главы романа под названием «Из маминых сказок» («Les contes de maman»). Глава состоит из пяти небольших рассказов, героями которых вновь становятся дети, воспринимающие мир таким, какой он есть, а, возможно, даже более поэтичным, чем взрослые.

В 1905–1907 гг. томские газеты обращаются к рассказам Франса о Великой французской революции. В декабре 1905 г. «Сибирская жизнь» публикует перевод рассказа «Anecdote de floréal, an II» («Эпизод из времен флореаля II года республики»). Первый русский перевод этого произведения появляется всего годом раньше на страницах журнала «Русская мысль». Его тематика оказывается как нельзя более актуальной на фоне кровавых октябрьских событий в Томске в 1905 г. и революционного подъема, охватившего всю страну. Рассказ входит во второй сборник новелл Франса «Перламутровый ларец» («L'Etui de nacre», 1892). Первый томский перевод рассказа «Anecdote de floréal, an II» был выполнен в 1905 г. неизвестным переводчиком, подписавшимся криптонимом «М.Л.». В его интерпретации произведение получило название «Добровольная жертва». Такое название напрямую раскрывало квинтэссенцию рассказа и снимало потенциальное затруднение понимания, которое могло возникнуть у томских читателей при дословном переводе заголовка. Два года спустя, в октябре 1907 г., «Сибирская жизнь» повторно публикует на своих страницах этот рассказ, однако на этот раз томский переводчик, скрывший свое имя за криптонимом «П.А.», точно передает в переводе название: «Из воспоминаний о Флореале, второго года республики».

Еще одно произведение Франса о Великой французской революции было напечатано в «Сибирских отголосках». 28 августа 1907 г. рассказ «Госпожа де Люзи» («Madame de Luzu»), также вошедший в сборник «Перламутровый ларец», появился в газете в переводе некоего «М.Г.». При этом томская рецепция произведения отстала от столичной всего на четыре года – первый русский перевод рассказа был опубликован на страницах «Нового журнала иностранной литературы» в 1903 г.

Публикации

Критика

1. Среди газет и журналов // Сибирский вестник. – 1902. – № 19 (23 января). – С. 2.
2. В мире литературы, искусства и науки // Сибирская жизнь. – 1913. – № 170 (2 августа). – С. 5.

Переводы

1. Франс А. Кисть винограда / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1903. – № 217 (8 октября). – С. 2.
2. Франс А. Дама в белом / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1903. – № 231 (26 октября). – С. 2.
3. Франс А. Андре / М.Ш. // Сибирский вестник. – 1903. – № 258 (29 ноября). – С. 2.
4. Франс А. Из маминых сказок / К. Мирович // Сибирская жизнь. – 1904. – № 69 (6 апреля). – С. 2–3; № 72 (28 марта). – С. 2–3.
5. Франс А. Добровольная жертва / М.Л. // Сибирская жизнь. – 1905. – № 254 (16 декабря). – С. 2.
6. Франс А. Госпожа де-Люзи / М.Г. // Сибирские отголоски. – 1907. – № 43 (28 августа). – С. 2–3.
7. Франс А. Из воспоминаний о Флореале, второго года республики / П.А. // Сибирская жизнь. – 1907. – № 145 (21 октября). – С. 3.

ANECDOTE DE FLORÉAL, AN II

À mademoiselle Jeanne Cantel.

I

Le guichetier a refermé la porte de la maison d'arrêt sur la ci-devant comtesse Fanny d'Avenay, appréhendée « par mesure de sûreté générale », comme dit le registre d'écrou, et, en réalité, pour avoir donné asile à des proscrits.

La voilà dans le vieux bâtiment où, jadis, les solitaires de Port-Royal goûtaient en commun la solitude, et dont on a pu faire une prison sans y rien changer.

Assise sur une banquette, pendant que le greffier inscrit son nom, elle songe :

– Pourquoi ces choses, mon Dieu, et que voulez-vous de moi ?

Le porte-clefs a l'air plus bourru que méchant, et sa fille, qui est jolie, porte à ravir le bonnet blanc avec la cocarde et les nœuds aux couleurs de la nation. Cet homme conduit Fanny dans une grande cour, au milieu de laquelle est un bel acacia. Elle attendra là qu'il lui ait préparé un lit et une table dans une chambre où l'on a déjà renfermé cinq ou six prisonnières, car la maison est encombrée. En vain elle verse chaque jour son trop-plein au tribunal révolutionnaire et à la guillotine ; chaque jour les comités l'emplissent de nouveau.

Dans la cour, Fanny voit une jeune femme occupée à graver un chiffre sur l'écorce de l'arbre, et reconnaît Antoinette d'Auriac, son amie d'enfance.

– Toi ici, Antoinette ?

– Toi ici, Fanny ? Fais mettre ton lit près du mien. Nous aurons bien des choses à nous dire.

– Bien des choses... Et monsieur d'Auriac, Antoinette ?

– Mon mari ? Ma foi, ma chérie, je l'avais un peu oublié. C'était injuste. Il a toujours été parfait pour moi... Je pense qu'en ce moment il est en prison quelque part.

– Et que fais-tu là, Antoinette ?

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЖЕРТВА

(Перевод с французского для «Сиб. Жизни»)

Тюремщик затворил дверь тюрьмы за бывшей графиней Фанни д'Авено, задержанной в видах охранения общественной безопасности, как было сказано в списке, но в действительности арестованной за укрывательство изгнанников.

И вот она очутилась в старинном здании, бывшем дворце, где когда-то люди, правившие миром, жили в полном одиночестве и из которого можно было сделать тюрьму, не изменивши в нем ничего.

Сидя на скамейке, она размышляла о своей судьбе, пока сторож записывал ее имя:

— К чему все это, Боже мой, и что вам нужно от меня?

У тюремщика был более суровый, чем злой вид, и его хорошенькая дочка была очень мила в белом чепчике с бантиками и кокардой национальных цветов. Тюремщик повел Фанни на большой двор, в середине которого росла чудная акация. Там она должна была ждать, пока ей приготовят кровать и стол в комнате, где уже находилось пять или шесть заключенных, так как тюрьма была переполнена. И хотя каждый день избыток ее направлялся в революционный трибунал и на гильотину, но комитеты каждый день наполняли ее снова.

На дворе Фанни увидела молодую женщину, вырезавшую буквы на коре дерева, и узнала в ней Антуанету д'Ориак, подругу детства.

— Ты здесь, Антуанета?

— Ты здесь, Фанни? Вели поставить свою кровать рядом с моей. У нас есть много о чем поговорить.

— Много. ... А где г-н д'Ориак, Антуанета?

— Мой муж? Право, милая, я немного забыла о нем. Хотя это и несправедливо, он всегда был безупречен относительно меня. Я думаю, теперь он где-нибудь в тюрьме.

— Но что же ты делаешь, Антуанета?

— Тише!.. Который час? Если уже есть пять часов, то друга, имя которого я соединяю с моим на коре этого дерева, уже нет в живых,

– Chut !... Quelle heure est-il ? S’il est cinq heures, l’ami dont j’unis sur cette écorce le nom au mien n’est plus de ce monde, car il a passé à midi au tribunal révolutionnaire. Il se nommait Gesrin et était volontaire à l’armée du Nord. Je l’ai connu dans cette prison. Nous avons passé ensemble de douces heures, au pied de cet arbre. C’était un jeune homme de mérite... Mais il faut que je m’occupe de t’installer ici, ma belle.

Et, saisissant Fanny par la taille, elle l’entraîna dans la chambre où elle avait un lit, et elle obtint du porte-clefs qu’il ne séparât pas les deux amies.

Elles convinrent de laver, ensemble, dès le lendemain matin, le carreau de leur chambre.

Le repas du soir, servi maigrement par un gargotier patriote, se prenait en commun. Chaque prisonnier apportait son assiette et son couvert de bois (il était interdit d’en avoir en métal), et recevait sa portion de porc aux choux. Fanny vit à cette table grossière des femmes dont la gaieté l’étonna. Comme madame d’Auriac, elles étaient coiffées avec étude et portaient de fraîches toilettes. Près de mourir, elles gardaient l’envie de plaire. Leur conversation était galante comme leur personne, et Fanny fut bientôt instruite des intrigues qui se nouaient et se dénouaient sous les verrous, dans ces préaux sombres où la mort aiguillonnait l’amour. Alors, prise d’un indicible trouble, elle se sentit un grand désir de presser une main dans la sienne.

Il lui souvint de celui qui l’aimait et à qui elle ne s’était pas donnée, et un regret aussi cruel qu’un remords déchira son cœur. Des larmes ardentes comme la volupté roulèrent sur ses joues. A la lueur du lampion fumeux qui éclairait le repas, elle observait ses compagnes dont les yeux brillaient de fièvre, et elle songeait :

– Nous allons mourir ensemble. D’où vient que je suis triste et que mon âme est troublée, quand, pour ces femmes, la vie et la mort sont également légères ?

Et elle pleura toute la nuit sur son grabat.

II

Vingt longs jours monotones ont passé lourdement. La cour où les amants vont chercher le silence et l’ombre est déserte ce soir. Fanny, qui étouffait dans l’air humide des corridors, vient s’asseoir sur le tertre de gazon qui entoure le pied du vieil acacia dont la cour est ombragée. L’acacia est en fleur, et la brise qui le caresse en sort tout embaumée. Fanny voit un écriteau cloué à l’écorce de l’arbre, au-dessous du chiffre

так как в полдень его повели в революционный трибунал. Звали его Жерин, он был волонтером в Северной армии. Я познакомилась с ним здесь, в тюрьме, и мы провели под этим деревом много чудных часов. Это был выдающийся человек... Но нужно тебя устроить здесь, красавица моя.

И, обнявши Фанни, она повела ее в комнату, где стояла ее кровать, и упростила сторожа, чтобы он не разлучал обеих подруг.

Они решили на другое утро вымыть вместе окно в своей комнате.

Скудный ужин подавался всем вместе. Каждый заключенный приносил свою тарелку и деревянный прибор (было строго запрещено иметь металлические приборы) и получал свою порцию свинины с капустой. Фанни увидела за этим грубым столом много женщин, веселость которых ее удивила. Как и г. Ориак, они были тщательно причесаны, и платья их были чисты и изящны. Готовясь умереть, они сохраняли желание нравиться. Разговор их был весел и непринужден, и Фанни скоро узнала о любовных интригах, которые завязывались и развязывались под замком, в этих мрачных казематах, где ожидание смерти придавало особенную остроту и прелесть любви. Желание сжать чью-нибудь руку в своей охватило и ее непонятным волнением.

Она вспомнила о том, кто любил ее и кому она не отдалась, и сердце ее сжалось от сожаления. Горячие слезы покатились по щекам. При свете коптящей лампочки, освещавшей стол, она наблюдала за своими товарками, глаза которых лихорадочно блестели, и думала:

– Мы умрем вместе. Почему же я грустна, и сердце мое болит, а для них так же легка смерть, как и жизнь?

Всю ночь она проплакала на своей жесткой постели.

Медленно тянулись однообразные дни. Сегодня вечером двор, где влюбленные находили тишину и уединение, пуст. Фанни, задыхаясь в сыром воздухе коридоров, уселась на клочке газона под старой акацией, осеняющей двор. Акация цветет, и легкий ветерок, пробегающий по ее листьям, весь наполнен ароматом. Под буквами, вырезанными Антуанетой, Фанни заметила дощечку, прибитую к коре, на которой она прочла стихи поэта Виже, такого же заключенного, как и она.

«Здесь сердца, не знавшие преступлений, покорные жертвы подозрения, забывали свою печаль, думая о любви под тенистой листвою этого дерева, закрывающего их. Оно было свидетелем их лю-

gravé par Antoinette. Elle lit sur cet écriteau les vers du poète Vigée, prisonnier comme elle.

Ici des cœurs exempts de crimes,
Du soupçon dociles victimes,
Grâce aux rameaux d'un arbre protecteur,
En songeant à l'amour oubliaient leur douleur.
Il fut le confident de leurs tendres alarmes ;
Plus d'une fois il fut baigné de larmes.
Vous, que des temps moins rigoureux
Amèneront dans cette enceinte,
Respectez, protégez cet arbre généreux.
Il consolait la peine, il rassurait la crainte ;
Sous son feuillage on fut heureux.

Après avoir lu ces vers, Fanny resta songeuse. Elle revit intérieurement sa vie, douce et calme, son mariage sans amour, son esprit amusé de musique et de poésie, occupé d'amitié, riant, sans trouble ; puis l'amour d'un galant homme qui lui avait inspiré de l'estime mais ne l'avait point troublée et dont elle sentait mieux le mérite dans le silence de la prison. Il l'avait vraiment aimée. Et, songeant qu'elle allait mourir, elle se désola. Une sueur d'agonie lui monta aux tempes. Dans son angoisse, elle leva ses regards ardents au ciel plein d'étoiles et elle murmura en se tordant les bras :

– Mon Dieu ! rendez-moi l'espérance.

A ce moment, un pas léger s'approcha d'elle. C'était Rosine, la fille du porte-clefs, qui venait lui parler en secret.

– Citoyenne, lui dit la jolie fille, demain soir un homme qui t'aime t'attendra sur l'avenue de l'Observatoire avec une voiture. Prends ce paquet, il contient des vêtements pareils à ceux que je porte ; tu t'en revêtiras, dans ta chambre, pendant le souper. Tu es de ma taille et blonde comme moi. On peut, dans l'ombre, nous prendre l'une pour l'autre. Un gardien, qui est mon amoureux et que nous avons mis dans le complot, montera dans ta chambre et t'apportera le panier avec lequel je vais aux provisions.

« Tu descendras avec lui par l'escalier dont il a la clef et qui conduit à la loge de mon père. De ce côté, la porte n'est ni fermée ni gardée. Il faut seulement éviter que mon père ne te voie. Mon amoureux se mettra le dos contre le carreau de la loge, et il te parlera comme à moi. Il te dira : « Au revoir, citoyenne Rose, et ne soyez plus

бовных тревог; часто слезы омывали его листья. Вы, которые в более счастливые времена попадете за эту ограду, уважайте, оберегайте это великодушное дерево. Оно утешало в горе, успокаивало в страхе и давало счастье под сенью своих листьев».

Прочитав стихи, Фанни задумалась. Вся ее жизнь прошла перед ней, спокойная и тихая: замужество без любви, для занятия ума – музыка, поэзия, серьезная, без волнений дружба; потом любовь светского человека, которая не задела ее сердца и которую она сильнее чувствовала в тюрьме. При мысли, что она должна умереть, отчаяние овладело ею; холодный пот выступил на висках.

В бесконечной печали, она обратила свой горящий взор к небу, покрытому звездами, и прошептала, ломая в руки:

– Боже мой! Возврати мне надежду.

В это время легкие шаги послышались около нее. Это была Розина, дочь сторожа, которая тайком пробралась к ней.

– Гражданка, – сказала ей хорошенькая девушка, – завтра вечером человек, который тебя любит, будет ждать тебя на улице Обсерватории с экипажем. Возьми этот пакет, в нем находится похожая на мою одежду; во время ужина ты переоденешься в своей комнате. Рост и белокурый цвет наших волос одинаков. В темноте нас можно принять одну за другую. Сторож, который меня любит и который находится в заговоре, принесет тебе в комнату корзину, с которой я хожу за провизией.

Вместе с ним ты сойдешь по лестнице, ключ от которой находится у него и которая ведет в комнату моего отца. С этой стороны дверь не заперта и никем не охраняема. Постарайся только не попасться на глаза моему отцу.

Мой возлюбленный загородит спиной окно в комнату и обратится к тебе, как бы ко мне. Он тебе скажет: «До свиданья, гражданка Роза, и не будьте так жестоки». Ты спокойно выйдешь на улицу, а я в это время выйду через главный подъезд, и мы вместе сядем в экипаж, который увезет нас отсюда.

Фанни казалось, что с этими словами она впитывает дыхание весны и природы. Всей грудью, наполненной жадной жизни, она вдыхала свободу.

Она уже видела, чувствовала заранее спасение, а так как к этому чувству свободы примешивалась мысль о любви, то сердце ее готово было разорваться от счастья, и она прижала его обеими руками, чтобы сдержать его биение.

si méchante. » Tu t'en iras tranquillement dans la rue. Pendant ce temps, je sortirai par le guichet principal et nous nous rejoindrons toutes deux dans le fiacre qui doit nous emmener.

Fanny buvait, avec ces paroles, les souffles de la nature et du printemps. De toutes les forces de sa poitrine, gonflée de vie, elle aspirait la liberté.

Elle voyait, goûtait son salut par avance. Et comme il s'y mêlait une idée d'amour, elle mit ses deux mains sur son cœur pour contenir son bonheur. Mais peu à peu la réflexion, puissante chez elle, domina le sentiment. Elle fixa sur la fille du porte-clefs un regard attentif et lui dit :

– Ma belle enfant, pour quelle raison vous dévouez-vous ainsi à moi, que vous ne connaissez pas ?

– C'est, lui répondit Rose en oubliant de la tutoyer, parce que votre bon ami me donnera beaucoup d'argent quand vous serez libre, et qu'alors j'épouserai Florentin, mon amoureux. Vous voyez, citoyenne, que c'est pour moi que je travaille. Mais je suis plus contente de vous sauver que d'en sauver une autre.

– Je vous en rends grâce, mon enfant ; mais pourquoi cela ?

– Parce que vous êtes mignonne et que votre bon ami a beaucoup de chagrin loin de vous. C'est convenu, n'est-ce pas ?

Fanny allongea la main pour saisir le paquet de hardes que Rose lui tendait.

Mais, retirant aussitôt le bras :

– Rose, savez-vous que, si on nous découvrait, ce serait la mort pour vous ?

– La mort ! s'écria la jeune fille, vous me faites peur. Oh ! non, je ne le savais pas.

Puis, déjà rassurée :

– Citoyenne, votre bon ami saura bien me cacher.

– Il n'est pas de retraite sûre à Paris. Je vous remercie de votre dévouement, Rose ; mais je ne l'accepte pas.

Rose demeurait stupéfaite.

– Vous serez guillotinée, citoyenne, et je n'épouserai pas Florentin !

– Rassurez-vous, Rose. Je puis vous rendre service sans accepter ce que vous me proposez.

– Oh ! non. Ce serait de l'argent volé.

La fille du porte-clefs pria, pleura, supplia longtemps. Elle s'agenouilla et saisit le bord de la robe de Fanny.

Но мало-помалу рассудок, как и всегда, взял у нее верх над чувством. Она устремила пристальный взгляд на дочь сторожа и спросила ее:

– Красавица, почему вы показываете мне такую преданность, не зная меня?

– Потому что, – ответила Роза, забывая говорить ей ты, – ваш друг даст мне много денег, когда вы будете свободны, а тогда я выйду замуж за Флорентина, моего возлюбленного. Вы видите, гражданка, что я забочусь о себе. Но мне приятнее спасти вас, чем кого-либо другого.

– Благодарю вас, дитя мое, но почему же это?

– Потому что вы очень милы, и ваш друг очень грустит вдали от вас. Итак, все решено, не правда ли?

Фанни протянула руку, чтобы взять сверток с платьем, который держала Роза.

Но, отдернув вдруг руку, она воскликнула:

– Роза, знаете ли вы, что если откроют наш заговор, вы будете приговорены к смерти?

– К смерти! Вы меня пугаете. О, нет, я этого не знала...

Потом, успокоившись, Роза сказала:

– Гражданка, ваш друг сумеет спрятать меня.

– В Париже нет верного убежища. Благодарю вас за вашу преданность, Роза, но я не могу принять ее!..

Роза остановилась в недоумении.

– Вас поведут на гильотину, гражданка, а я не выйду замуж за Флорентина!

– Успокойтесь, Роза. Я могу оказать вам эту услугу, не принимая того, что вы мне предлагаете.

– О, нет. Это были бы украденные деньги.

Дочь сторожа долго просила, плакала, умоляла и бросилась, наконец, на колени перед Фанни, схватившись за край ее платья.

Фанни тихонько оттолкнула ее и отвернула голову. Бледный свет луны осветил ее прекрасное и спокойное лицо.

Ночь была тепла и спокойна, дул легкий ветерок. Дерево заключенных роняло бледные цветы со своих благоухающих ветвей на голову добровольной жертвы...

*(Опубликовано в «Сибирской жизни». 1905. № 254 (16 декабря).
С. 2. Перевод «М.Л.»)*

Fanny la repoussa de la main et détourna la tête. Un rayon de lune éclairait le calme de son beau visage.

La nuit était riante, une brise passait. L'arbre des prisonniers, secouant ses branches odorantes, répandit de pâles fleurs sur la tête de la victime volontaire.

France, A. Anecdote de floréal, an II [La ressource électronique] / A. France // L'étui de nacre. – Paris : Calmann Lévy, 1923. – P. 273–284. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k229517w/f278.image>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ФЛОРЕАЛЕ, ВТОРОГО ГОДА РЕСПУБЛИКИ (Перевод с французского для «Сиб. Ж.»)

I

Привратник тюрьмы быстро прихлопнул калитку вслед за графиней Фанни д'Авено, арестованной Комитетом Общественного Спасения за укрывательство беглецов.

Тюрьма эта представляла собой старое здание, служившее раньше местом заключения наемных войск Порт-Рояля и приспособленное теперь ко всем тем, кто сопротивлялся народной воле.

Пока секретарь записывал графиню, та, сидя на деревянной скамье, тоскливо думала:

– Боже мой, к чему все это?.. Чего вы от меня хотите?

По окончании допроса к графине подошел привратник. Это был угрюмый, озабоченный, хотя и с добрым лицом человек, которого сопровождала молоденькая с красивым личиком девушка, – очевидно дочь. Ее голова была украшена маленьким чепчиком, кокетливо повязанным лентами из национальных цветов. Они молчаливо провели графиню в обширный двор и, усадив ее на скамью под цветущей акацией, отправились в камеру. Здесь было уже пять человек заключенных, и привратник с дочерью устраивали для графини шестую постель. Тюрьма, – сколько жизней она ни выбрасывала ежедневно на гильотину и в революционный трибунал, – все оставалась переполненной: новые и новые жертвы каждый день с избытком покрывали освобожденных.

Фанни увидела неподалеку от себя молодую женщину, вырезавшую перочинным ножиком дату своего заключения на коре дерева. Это была ее подруга детства Антуанета д'Оргак.

– Вы здесь, Антуанета?

– И вы здесь, Фанни? ... Велите поставить вашу постель рядом с моей, – мы многое можем порассказать друг другу.

– Многое? ... А что произошло с Оргак?

– С моим мужем? Я, признаться, милая, немного позабыла о нем.... Это, может быть, и не совсем справедливо: он был так безупречен со мною.... Я думаю, что он теперь в какой-нибудь тюрьме.

– Ну, а тебе, Антуанета, как здесь живется?

– Мне?.. Ах!.. Который теперь час? Если – пять, то друг, имя которого я здесь соединяю со своим, уже не жилец на этом свете... В полдень его судил военный трибунал. Его звали Героном. Это был волонтер в северной армии. ... Сколько сладких минут провели мы с ним здесь, под этим деревом!.. Это был достойный во всех отношениях человек. ... Но необходимо, милая, позаботиться о тебе...

Она обняла Фанни за талию и увлекла в свою одиночную камеру, вся мебель которой заключалась в единственной кровати.

После целого ряда переговоров с привратником Антуанете д'Оргак удалось все-таки оставить Фанни в своей комнате. Приведение в порядок комнаты и мытье каменного пола подруги отложили до следующего утра.

Наступило время ужина. Это была более чем скромная закуска, приготовляемая мальчиком-поваренком и подаваемая в общей комнате. Каждый заключенный приносил с собою свою тарелку и деревянный прибор – металлические приборы запрещались, – сам получая свою порцию свинины с капустой.

Фанни была чрезвычайно поражена веселостью сидевших за столом женщин. Все они, как и графиня Оргак, были кокетливо причесаны и чисто и даже изящно одеты. Их галантная внешность, манера и тема беседы невольно наводили на мысль, что им хотелось во что бы то ни стало нравиться. Фанни скоро пришлось познакомиться со всеми их интригами, зарождавшимися и развивавшимися под тяжелыми запорами этой мрачной тюрьмы, где смерть безжалостно косила любовь. И ее охватило страстное необъяснимое волнение.

Она вспомнила некогда любимого человека, и горькое сожаление и мучительное угрызение совести рвало ей душу на тысячу кусков... Она боялась, она страшилась тогда исполнить свое желание!.. Теперь все это – лишь отошедшие в область истории воспоминания... По ее разгоряченным страстью щекам катились крупные обжигавшие ее слезы.

А товарки ее были веселы и беспечны, как всегда. Лихорадочно блестели их красивые глаза в тусклом свете тюремной лампы.

– Мы умрем ведь в одно время, думала Фанни, почему же я так печальна? Как счастливы все эти женщины, которые и жизнь, и смерть переносят с одинаковой легкостью!..

И, лежа на койке, Фанни всю ночь провела в слезах.

II

Так утомительно однообразно протянулись двадцать тяжелых дней. Сегодня вечером двор с акацией, против обыкновения, был пуст. Задышав в сырых и душливых коридорах, Фанни вышла подышать свежим воздухом и расположилась под деревом на зеленой траве. Случайно она заметила вырезанную Антуанетой на коре надпись, состоящую из стихов заключенного в этой же тюрьме поэта Ренэ.

Фанни прочла:

«Здесь под тенью ветвистой акации
Покорные жертвы тяжелых подозрений
В мечтах о любви забывали свое горе.
И вы, кого менее жестокие времена бросят сюда,
Охраняйте и уважайте это благородное дерево.
Благодатная сень его листы
Утешала печали и наполняла счастьем
Последние минуты обреченных на смерть».

Фанни задумалась.

В ее мыслях протекала вся ее прошлая жизнь: тихое и спокойное детство, увлечение музыкой и поэзией, замужество без любви, дружба со своими товарками и страстная любовь к ней красивого юноши. Тогда эта любовь не трогала ее души. Но теперь в тюрьме она почему-то волновалась, когда о ней вспоминала...

Но мысль о приговоре, о близкой смерти затуманивала все эти воспоминания и приводила ее в отчаяние. Капли холодного пота выступили на лбу и висках Фанни. Она в ужасе подняла глаза к усеянному звездами небу и, ломая руки, дрожащим голосом шептала:

– Боже, верни мне надежду!.. Верни мне надежду!..

В эту минуту позади нее послышались шаги. К ней приближалась Розина, дочь привратника тюрьмы, для каких-то таинственных переговоров.

– Гражданка, – обратилась к ней молодая девушка, – завтра вечером на площади Обсерватории тебя будет ждать с каретой любящий тебя юноша. Возьми вот этот пакет. В нем находится платье, похожее на то, которое я ношу. Ты наденешь его во время обеда в своей камере, и в полутьме тебя легко можно будет принять за меня, так как мы одного роста. Сторож, мой жених, предупрежден обо

всем. Он принесет тебе в комнату корзину, с которой я ежедневно хожу на базар.

Ты спустишься по лестнице, как он тебе укажет, и пройдешь в квартиру моего отца. С этой стороны дверь не заперта и никем не охраняется. Берегись только попадаться на глаза отцу. Жених заслонит спиной окошечко и обратится к тебе, как он постоянно обращается ко мне, когда я ухожу: «До свиданья, гражданка Роза! Не сердитесь на меня!». Ты выйдешь спокойно на улицу и у главной калитки встретишь меня. Мы садимся и в заранее приготовленном фиакре уедем на площадь Обсерватории. Там ты будешь спасена.

Фанни, как ошеломленная, слушала девушку и трепещущую грудью сладко вдыхала аромат весны и грядущую свободу.

Она живо представила себе свое освобождение. В ее уме рисовались картины, одна заманчивее другой, образы, один ярче другого. Все это было полно бесконечного счастья и радости, и любви, и страсти. И, скрестив на груди руки, Фанни предалась этим сладким грезам, пока девушка описывала план побега. Когда та кончила, графиня пристально взглянула на дочь привратника.

— Милое дитя, — обратилась она к ней, — почему вы так преданы мне? Ведь вы совершенно не знаете меня!

— Ваш друг, — ответила Роза, — обещал вознаградить меня, если вы очутитесь на свободе. Тогда я буду иметь возможность обвенчаться с Флорентином, которого очень люблю.

Вот видите, гражданка, я больше всего забочусь о себе, но мне все-таки приятно спасти вас, чем кого-нибудь другого.

— Благодарю вас, дорогая! Но почему же именно меня?

— Потому что вы прекрасны и ваш друг вдали от вас тоскует по вам. Так, значит, все условлено, гражданка?

Фанни протянула руку за пакетом, который ей передавала девушка, но мгновенно отдернула ее назад. Разум взял верх над чувством.

— Знаете ли, Роза, — произнесла графиня, — что вам грозит смерть, если выяснятся причины моего побега?..

— Смерть?!.. — воскликнула девушка, — но вы приводите меня в ужас! О, нет, не знала... Я не думала об этом!

Но, успокоившись, она добавила:

— Гражданка, ваш друг сумеет нас спрятать.

— Нет, милая, в Париже нет надежного убежища. Благодарю вас за преданность, но я не могу ее принять.

Этот ответ ошеломил Розу.

– Как!.. Ведь перед вами гильотина, а я не выйду замуж за Флорентина!..

– Успокойтесь, Роза! Я сумею оказать вам здесь услугу, и не приняв вашего предложения.

– О, нет!.. Это было бы низостью с моей стороны...

Дочь привратника долго плакала и умоляла графиню согласиться. Она опустилась на колени и, целуя складки ее платья, убеждала ее бежать.

Но Фанни осталась непоколебимой. Она отстранила рукой девушку и повернула влажное от слез лицо в сторону.

Серебряными снопами освещала луна прекрасную голову молодой графини. Ночь улыбалась, и легкий ветерок, колыхая пахучие ветви акации, осыпал бледно-розовыми лепестками цветов голову добровольной жертвы.

(Опубликовано в «Сибирской жизни». 1907. № 145 (21 октября). С. 3. Перевод «П.А.»)

LES CONTES DE MAMAN

– Je n’ai pas d’imagination, disait maman.

Elle disait n’en pas avoir, parce qu’elle croyait qu’il n’y avait d’imagination qu’à faire des romans, et elle ne savait pas qu’elle avait une espèce d’imagination rare et charmante qui ne s’exprimait pas par des phrases. Maman était une dame ménagère tout occupée de soins domestiques. Elle avait une imagination qui animait et colorait son humble ménage. Elle avait le don de faire vivre et parler la poêle et la marmite, le couteau et la fourchette, le torchon et le fer à repasser ; elle était au-dedans d’elle-même un fabuliste ingénu. Elle me faisait des contes pour m’amuser, et comme elle se sentait incapable de rien imaginer, elle les faisait sur les images que j’avais.

Voici quelques-uns de ses récits. J’y ai gardé autant que j’ai pu sa manière, qui était excellente.

L’école

Je proclame l’école de M^{lle} Genseigne la meilleur école de filles qu’il y ait au monde. Je déclare mécréants et médisants ceux qui croiront et diront le contraire. Toutes les élèves de M^{lle} Genseigne sont sages et appliquées, et il n’y a rien de si plaisant à voir que leurs petites personnes immobiles. On dirait autant de petites bouteilles dans lesquelles M^{lle} Genseigne verse de la science.

M^{lle} Genseigne est assise toute droite dans sa haute chaise. Elle est grave et douce ; ses bandeaux plats et sa pèlerine noire inspirent le respect et la sympathie.

M^{lle} Genseigne, qui est très savante, apprend le calcul à ses petites élèves. Elle dit à Rose Benoist :

« Rose Benoist, si de douze je retiens quatre, combien me reste-t-il ?

– Quatre ! » répond Rose Benoist.

M^{lle} Genseigne n’est pas satisfaite de cette réponse :

ИЗ МАМИНЫХ СКАЗОК

(Перевод с французского для «Сибирской жизни»)

«У меня не хватает воображения», – говаривала мама. А говорила она так потому, что была убеждена, что ей не хватило бы воображения для сочинения романа с его небылицами. Но она не сознавала, что взамен того у нее было то редкое прекрасное воображение, которое находит для себя выражение не в одних только фразах. Мама целыми днями бывала поглощена своим домашним хозяйством, и вот у нее хватило воображения скрасить свой скромный мирок. У нее был дар ободрять других и живая способность рассказывать поэмы о сковородках, чугунках, ножах, вилках, тряпках, утюгах. По существу своей натуры она была чрезвычайно искусной и неутомимой рассказчицей. В угоду мне сочиняла она свои сказки, но так как чувствовала себя неспособной выдумывать, то сказки ее касались только предметов, меня окружавших.

Привожу некоторые из ее рассказов. Насколько было возможно, я сохранил в них ту превосходную форму, в которой они были переданы.

I. Школа

Женскую школу мадмуазель Жансень я провозглашаю лучшей школой из всех существующих в мире. Объявляю нехристями, злыми болтунами всех, кто будет думать и говорить противное. Все ученицы мадмуазель Жансень – чрезвычайно умные и прилежные девочки. Уморительно смотреть на их неподвижно сидящие фигурки: точно это ряд флакончиков, в которые мадмуазель Жансень вливает науку.

Мадмуазель Жансень на своем высоком стуле держится очень прямо. Особа важная, но снисходительная. Ее гладкий широкий пояс и черное платье внушают уважение и симпатию.

« Et vous, Emmeline Capel, si de douze je retiens quatre, combien me reste-t-il ?

– Huit ! » répond Emmeline Capel.

Et Rose Benoist tombe dans une rêverie profonde. Elle entend qu'il reste huit à M^{lle} Genseigne, mais elle ne sait pas si ce sont huit chapeaux ou huit mouchoirs, ou bien encore huit pommes ou huit plumes. Il y a bien longtemps que ce doute la tourmente. Quand on lui dit que six fois six font trente-six, elle ne sait pas si ce sont trente-six chaises ou trente-six noix, et elle ne comprend rien à l'arithmétique.

Au contraire, elle est très savante en histoire sainte. M^{lle} Genseigne n'a pas une autre élève capable de décrire le Paradis terrestre et l'Arche de Noé comme fait Rose Benoist. Rose Benoist connaît toutes les fleurs du Paradis et tous les animaux de l'Arche. Elle sait autant de fables que M^{lle} Genseigne elle-même. Elle sait tous les discours du Corbeau et du Renard, de l'Âne et du petit Chien, du Coq et de la Poule. Elle n'est pas surprise quand on lui dit que les animaux parlaient autrefois. Elle serait plutôt surprise si on lui disait qu'ils ne parlent plus. Elle est bien sûre d'entendre le langage de son gros chien Tom et de son petit serin Cuip. Elle a raison : les animaux ont toujours parlé et ils parlent encore ; mais ils ne parlent qu'à leurs amis. Rose Benoist les aime et ils l'aiment. C'est pour cela qu'elle les comprend. Pour s'entendre, il n'est tel que de s'aimer.

Aujourd'hui, Rose Benoist a récité sa leçon sans faute. Elle a un bon point. Emmeline Capel a reçu aussi un bon point pour avoir bien su sa leçon d'arithmétique.

Au sortir de la classe, elle a dit à sa maman qu'elle avait un bon point. Et elle a ajouté :

« Un bon point, à quoi ça sert, dis, maman ?

– Un bon point ne sert à rien, a répondu la maman d'Emmeline. C'est justement pour cela qu'on doit être fier de le recevoir. Tu sauras un jour, mon enfant, que les récompenses les plus estimées sont celles qui donnent de l'honneur sans profit. »

Marie

Les petites filles ont un désir naturel de cueillir des fleurs et des étoiles. Mais les étoiles ne se laissent point cueillir et elles enseignent aux petites filles qu'il y a en ce monde des désirs qui ne sont jamais contentés. M^{lle} Marie s'en est allée dans le parc avec sa nourrice ; elle a rencontré une corbeille d'hortensias et elle a connu que les fleurs d'hortensia étaient

Мадмуазель Жансень чрезвычайно ученая. Вот она обучает своих маленьких воспитанниц счету.

«Роза Бенуа! Если я из двенадцати вычту четыре, сколько останется?»

– «Четыре» – отвечает Роза Бенуа.

Мадмуазель Жансень не удовлетворена этим ответом.

«Скажите вы, Эммелина Капель: если от двенадцати отнять четыре, сколько останется?».

– Восемь! – Отвечает Эммелина Капель.

Услышав это, Роза Бенуа погружается в глубокое размышление. Она слышала, что у мадмуазель Жансень осталось восемь, но она не может понять, что это такое: восемь шляп или восемь платков? Или еще лучше: восемь яблоков или восемь перьев? Эта неуверенность долго мучит ребенка. Когда ей говорят: шестью шесть будет тридцать шесть, она не знает, то ли это надо понимать тридцать шесть стульев или же тридцать шесть орехов. Многого в арифметике она совсем не может понять.

Наоборот, к священной истории она очень способна. У мадмуазель Жансень нет другой ученицы, которая могла бы так рассказать о земном рае или Ноевом ковчеге, как это делает Роза Бенуа. Роза Бенуа знает в раю каждый цветок, все животные ковчега – ее знакомые. Басен она знает не меньше самой мадмуазель Жансень. Знает она все разговоры Вороны и Лисицы, Осла и Собачки, Петуха и Курицы. Она не удивляется, если ей рассказывают, что животные некогда говорили человеческим языком. Скорее всего, она удивилась, если бы ей сказали, что теперь они уже больше не говорят. Она уверена, что слышит разговор своей огромной собаки Тома и маленькой канарейки Кюип. И она права: животные всегда говорили и теперь все говорят, но говорят только с друзьями. Роза Бенуа любит их, и они ее любят. Потому-то она и понимает их. Для того чтобы понимать друг друга, надо только любить.

Сегодня Роза Бенуа безошибочно рассказала урок из священной истории. У нее хорошая отметка. Эммелина Капель также получила хороший балл, так как хорошо знала свою арифметику.

Выйдя из школы, она рассказывает маме о своих хороших отметках и спрашивает:

– Мама! Какую пользу я получу от хороших отметок?!

– Хорошие отметки не приносят никакой пользы! – отвечала Эммелине мамаша, – они только для того, чтобы ты гордилась

belles ; c'est pourquoi elle en a cueilli une. C'était très difficile. Elle a tiré la plante à deux mains et elle a couru grand risque de tomber sur son derrière quand la tige s'est rompue. Aussi est-elle très fière de ce qu'elle a fait. Elle est très contente aussi, car la fleur est admirable à voir : c'est une boule d'un rose tendre trempée de bleu et c'est une fleur composée de beaucoup de petites fleurs. Mais la nourrice l'a vue : elle s'élance. Elle saisit M^{lle} Marie par le bras ; elle gronde, elle s'écrie, elle est terrible. M^{lle} Marie regarde étonnée, de son regard encore flottant, et songe dans sa petite âme confuse. Vous ne sauriez imaginer combien c'est difficile, à sept ans, d'interroger sa conscience. Elle reste candide entre la faute commise et le châtement préparé. La nourrice la met en pénitence, non dans le cabinet noir, mais sous un grand marronnier, à l'ombre d'un vaste parasol chinois. Là, M^{lle} Marie pensive, surprise, étonnée, est assise et songe. Sa fleur à la main, elle a l'air, sous l'ombrelle qui rayonne autour d'elle, d'une petite idole étrange.

La nourrice a dit : « Maintenant, mademoiselle, donnez-moi cette fleur. » Mais M^{lle} Marie a serré dans son petit poing la tige fleurie et ses joues ont rougi et son front s'est gonflé comme si elle allait pleurer. Et la nourrice n'a pas voulu causer des larmes. Elle a dit : « Je vous défends de porter cette fleur à votre bouche. Si vous désobéissez, mademoiselle, votre petit chien Toto vous mangera les oreilles. »

Ayant ainsi parlé, elle s'éloigne. La jeune pénitente, immobile sous son dais éclatant, regarde autour d'elle, et voit le ciel et la terre. C'est grand, le ciel et la terre, et cela peut amuser quelque temps une petite fille. Mais sa fleur d'hortensia l'occupe plus que tout le reste. C'est une belle fleur et c'est une fleur défendue. Voilà deux raisons pour s'y plaire. M^{lle} Marie songe : « Une fleur, cela doit sentir bon ! » Et elle approche de son nez la boule fleurie. Elle essaie de sentir, mais elle ne sent rien. Elle n'est pas bien habile à respirer les parfums : il y a peu de temps encore, elle soufflait sur les roses au lieu de les respirer. Il ne faut pas se moquer d'elle pour cela : on ne peut tout apprendre à la fois. On apprend d'abord à boire du lait. On n'apprend que plus tard à respirer des fleurs : c'est moins utile. D'ailleurs, aurait-elle, comme sa maman, l'odorat subtil, elle ne sentirait rien. La fleur d'hortensia n'a pas d'odeur. C'est pourquoi elle lasse malgré sa beauté. Mais M^{lle} Marie est ingénieuse. Elle se prend à songer : « Cette fleur, elle est peut-être en sucre. » Alors elle ouvre la bouche toute grande et va porter la fleur à ses lèvres... Un cri retentit : Ouap !

C'est le petit chien Toto qui, s'élançant pardessus une bordure de géraniums, vient se poser, les oreilles toutes droites, devant M^{lle} Marie, et

получением их! Придет время, дитя мое, и ты узнаешь, что самые лучшие человеческие награды – те, получение которых не приносит человеку никакой материальной выгоды.

II. Дитя

У девочек врожденное стремление рвать цветы и хватать звезды. Но звезды не даются, и девочки приучаются к мысли, что на свете удовлетворяются не все их желания. Мария с няней отправилась в городской сад, где ей попалась клумба с гортензиями. Девочка с первого взгляда почувствовала, что гортензии очень красивые цветы. Поэтому-то она и решила сорвать одну из них. Но не легко было эту мысль привести в исполнение. Девочка схватила растение обеими ручками и чуть-чуть не упала назад, когда подломился стебель. Сделавши это, она чувствовала себя очень довольной. На цветок нельзя было налюбоваться – так красив был этот благородный шар с голубоватым отливом на кончиках лепестков! Цветок, составленный из множества других маленьких цветочков.

Но няня видела все и бросилась к девочке. Схватив ее за ручонку, она бранила шалунью, кричала на нее – одним словом, сделалась страшной. Мария с удивлением смотрит, все еще не веря своим глазам и ушам. В ее детской душе, смущенной неожиданным натиском, царит этот образ прекрасной гортензии. Вы не можете себе представить, до чего трудно в семилетнем возрасте вопрошать свою совесть, тем более что она остается незапятнанной и пребывает на распутье: посередине между совершенным проступком и готовящимся наказанием.

Няня подвергает преступницу наказанию, но сажит ее не в темную комнату, а под тень большого китайского зонтика, служившего для свалки каштанов. Здесь Мария, задумчивая и удивленная неожиданностью развязки, садится и размышляет. С цветком в руках под китайским балдахином она производит впечатление маленького языческого божка.

Няня говорит: «Теперь, мадмуазель, отдайте мне этот цветок!»

Но девочка сжала в своей маленькой ручке стебель цветка, лицо ее покраснело, лоб нахмурился – вот-вот расплачется! Няня же вовсе не хотела вызывать слезы у ребенка, и она сказала:

– Я запрещаю тебе подносить этот цветок к губам! Если не послушаешься, собачка Тото откусит тебе ухо!

darde sur elle le regard de ses yeux vifs et ronds. La nourrice, qui veille cachée derrière les arbres, l'a envoyé. Et M^{lle} Marie reste stupéfaite.

À travers champs

Après le déjeuner, Catherine s'en est allé dans les prés avec Jean, son petit frère. Quand ils sont partis, le jour semblait jeune et frais comme eux. Le ciel n'était pas tout à fait bleu ; il était plutôt gris, mais d'un gris plus doux que tous les bleus du monde. Justement les yeux de Catherine sont de ce gris-là et semblent faits d'un peu de ciel matinal.

Catherine et Jean s'en vont tout seuls par les prés. Leur mère est fermière et travaille dans la ferme. Ils n'ont point de servante pour les conduire, et ils n'en ont point besoin. Ils savent leur chemin ; ils connaissent les bois, les champs et les collines. Catherine sait voir l'heure du jour en regardant le soleil, et elle a deviné toutes sortes de beaux secrets naturels que les enfants des villes ne soupçonnent pas. Le petit Jean lui-même comprend beaucoup de choses des bois, des étangs et des montagnes, car sa petite âme est une âme rustique.

Catherine et Jean s'en vont par les prés fleuris. Catherine, en cheminant, fait un bouquet. Elle aime les fleurs. Elle les aime parce qu'elles sont belles, et c'est une raison, cela ! Les belles choses sont aimables ; elles ornent la vie. Quelque chose de beau vaut quelque chose de bien, et c'est une bonne action que de faire un beau bouquet.

Catherine cueille des bleuets, des coquelicots, des coucous et des boutons d'or, qu'on appelle aussi cocottes. Elle cueille encore de ces jolies fleurs violettes qui croissent au bord des blés et qu'on nomme des miroirs de Vénus. Elle cueille les sombres épis de l'herbe à lait et des crêtes de coq, qui sont des crêtes jaunes, et des becs de grue roses et le lys des vallées, dont les blanches clochettes, agitées au moindre souffle, répandent une odeur délicieuse. Catherine aime les fleurs parce que les fleurs sont belles ; elle les aime aussi parce qu'elles sont des parures. Elle est une petite fille toute simple, dont les beaux cheveux sont cachés sous un béguin brun ; son tablier de cotonnade recouvre une robe unie ; elle va en sabots. Elle n'a vu de riches toilettes qu'à la Vierge Marie et à la sainte Catherine de son église paroissiale. Mais il y a des choses que les petites filles savent en naissant. Catherine sait que les fleurs sont des parures séantes, et que les belles dames qui mettent des bouquets à leur corsage en paraissent plus jolies. Aussi songe-t-elle qu'elle doit être bien brave en ce moment, puisqu'elle porte un bouquet plus gros que sa tête. Elle est contente d'être brave et ses idées sont brillantes et parfumées comme ses

С этими словами няня уходит. Маленькая невольница в неподвижной позе под своим прозрачным балдахином озирается вокруг, но видит только небо и землю. Необъятное небо и огромная земля некоторое время занимают малютку. Но гортензия занимает ее больше всего. Всегда и везде запрещенный цветок бывает самым лучшим цветком. Потому она так и нравится. Мария думает:

– Гортензия – цветок, значит, она должна хорошо пахнуть, – и подносит цветущий шар гортензии к носу, пробует нюхать, но не чувствует никакого аромата. Она еще не умеет вдыхать аромат: еще так недавно она дышала на розы вместо того, чтобы вдыхать их в себя. Но не надо над ней смеяться. Нельзя же так скоро научиться всему! Детей учат сначала пить молоко. А вдыхать ароматы цветов учат уже гораздо после: это не так полезно!

Но и помимо того, если бы у Марии было даже тонкое обоняние ее мамы, она все-таки не ощущала бы запаха, потому что гортензии не пахнут! Вот почему девочка оставляет ее в покое, больше не обращая на нее никакого внимания.

И это все-таки не конец. Наша маленькая героиня очень изобретательна. Ей вдруг приходит на ум: а что, если этот цветок сладкий?! И она, широко раскрывая рот, совсем уже приготовилась положить его. В эту минуту раздается громкое «гаф»!

Это собачонка Тото, кинувшаяся к ней через грядки с геранями. Вот она села перед Марией и смотрит на нее своими блестящими круглыми глазенками. Спрятавшаяся за деревья няня подходит и отгоняет собачку....

Изумление Марии теперь уже не знает границ.

III. Роза и Миро

Роза и Миро – задушевные друзья. Роза – маленькая девочка, а Миро – огромный пес. Оба они из одного круга, так как оба деревенские жители. Отсюда их огромная взаимная любовь. С каких пор они познакомились и стали друзьями – они не помнят: это превышает силу памяти большой собаки и маленькой девочки. Да им и необходимости нет знать это. У них вообще нет желания или необходимости что-либо знать. Твердо знают наши друзья только одно, что сошлись они очень давно – с начала сотворения мира, потому что ни тот, ни другая не могут себе представить, чтобы когда-нибудь вселенная существовала без них.

fleurs. Ce sont des idées qui ne s'expriment point par la parole : la parole n'a rien d'assez joli pour exprimer les idées de bonheur d'une petite fille. Il y faut des airs de chanson, les airs les plus vifs et les plus doux, les chansons les plus gentilles, comme *Giroflé-Girofla* ou *Les Compagnons de la Marjolaine*. Aussi Catherine chante, en cueillant son bouquet : « J'irai au bois seulette », et elle chante aussi : « Mon cœur je lui donnerai, mon cœur je lui donnerai. »

Le petit Jean est d'un autre caractère. Il suit d'autres pensées. C'est un franc luron ; il ne porte point encore la culotte, mais son esprit a devancé son âge, et il n'y a point d'esprit plus gaillard que celui-là. Tandis qu'il s'attache d'une main au tablier de sa sœur, de peur de tomber, il agite son fouet de l'autre main avec la vigueur d'un robuste garçon. C'est à peine si le premier valet de son père fait mieux claquer le sien quand, en ramenant les chevaux de la rivière, il rencontre sa fiancée. Le petit Jean ne s'endort pas dans une molle rêverie. Il ne se soucie pas des fleurs des champs. Il songe, pour ses jeux, à de rudes travaux. Il rêve charrois embourbés et percherons tirant du collier à sa voix et sous ses coups. Il est plein de force et d'orgueil. C'est ainsi qu'il va par les prés, à petits pas, butant aux cailloux et se retenant au tablier de sa grande sœur.

Catherine et Jean sont montés au-dessus des prairies, le long du coteau, jusqu'à un endroit élevé d'où l'on découvre tous les feux du village épars dans la feuillée, et à l'horizon les clochers de six paroisses. C'est là qu'on voit que la terre est grande. Catherine y comprend mieux qu'ailleurs les histoires qu'on lui a apprises, la colombe de l'arche, les Israélites de la Terre promise et Jésus allant de ville en ville.

« Asseyons-nous là », dit-elle.

Elle s'assied. En ouvrant les mains, elle répand sur elle sa moisson fleurie. Elle en est toute parfumée, et déjà les papillons voltigent autour d'elle. Elle choisit, elle assemble les fleurs ; elle marie les tons pour le plaisir de ses yeux. Plus les couleurs sont vives, plus elle les trouve agréables. Elle a des yeux tout neufs que le rouge vif ne blesse point. C'est pour les regards usés des citadins que les peintres des villes éteignent les tons avec prudence. Les yeux de Catherine sont de bons petits yeux qui aiment les coquelicots. Les coquelicots, voilà ce que Catherine préfère. Mais leur pourpre fragile s'est déjà fanée et la brise légère effeuille dans les mains de l'enfant leur corolle étincelante. Elle regarde, émerveillée, toutes ces tiges en fleur, et elle voit toutes sortes de petits insectes courir sur les feuilles et sur les fleurs. Ces plantes qu'elle a cueillies servaient d'habitation à des mouches et à de petits scarabées qui,

Мир, как они его понимают, молод, прост и наивен, как сами они. В самом центре его Роза видит своего Миро, для Мира же центр вселенной – маленькая Роза! Роза прекрасно понимает, что такое Мир, но это понимание не может быть выражено словами. Слова вообще не могут выразить мысли Розы: они слишком грубы для этого! Что же касается мыслей Мира, то, без сомнения, у него хорошие и здравые мысли, но, к несчастью, они почти никому неизвестны. Мир не говорит, он не скажет того, о чем он думает.

Конечно, у него есть ум, но, по всем соображениям, область его ума остается спутанной и неясной.

Каждую ночь Мир видит свои сны: он видит собак, таких же, как он, маленьких девочек, как Роза; нищих. Ему снится и веселое, и печальное.

Сообразно с этим он во время сна то лает, то ласково ворчит. Это только сны и иллюзия, но Мир не отличает их от действительной жизни. Он постоянно смешивает в своем уме то, что видит во сне, с тем, что видит наяву, и это смешение препятствует пониманию многого из того, что понимают дети. Да и зачем, так как Мир – собака, у него и мысли собачьи. Почему же вы хотите, чтобы мы понимали мысли собаки лучше, чем собаки понимают мысли людей?! Но человек и собака все-таки могут разговориться между собой, так как у собаки иногда бывают человеческие мысли, а люди нередко мыслят, как собаки. Для дружбы этого достаточно.

Мир гораздо больше и сильнее Розы. Положив свои передние лапы на плечи ребенка, Мир становится выше ее на целую голову. Он мог бы проглотить ее в три глотка: но он знает, он чувствует, что сила на ее стороне и, как бы она мала не была, она ценнее, дороже его! Он любит движениями ее, находит их милыми. Он дивится тому, что она умеет играть, говорить. Он влюблен и, в знак сочувствия, лижет ее.

Роза со своей стороны считает Мира существом необыкновенным, достойным удивления. Она видит, что он силен, и восхищается его силой: без этого восхищения ведь не была бы она маленькой девочкой! Она видит, что он добр, и любит его добротой. Доброта – такое качество, которое всегда приятно видеть в других. Она глубоко уважает Мира; подмечает, как много знает он сокровенных тайн, для нее недоступных. В нем, по ее понятиям, обитает темный дух земли. Она видит, как Мир велик, важен и милостив, и чтит его,

voyant leur demeure en péril, s'inquiètent et s'agitent. Catherine ne se soucie pas des insectes. Elle trouve que ce sont de trop petites bêtes et elle n'a d'eux aucune pitié. Pourtant on peut être en même temps très petit et très malheureux. Mais c'est là une idée philosophique et, pour le malheur des scarabées, la philosophie n'entre point dans la tête de Catherine.

Elle se fait des guirlandes et des couronnes et se suspend des clochettes aux oreilles ; elle est maintenant ornée comme l'image rustique d'une vierge vénérée des bergers. Son petit frère Jean, occupé pendant ce temps à conduire des chevaux imaginaires, l'aperçoit ainsi parée. Aussitôt il est saisi d'admiration. Un sentiment religieux pénètre toute sa petite âme. Il s'arrête, le fouet lui tombe des mains. Il comprend qu'elle est belle. Il voudrait être beau aussi et tout chargé de fleurs. Il essaye en vain d'exprimer ce désir dans son langage obscur et doux. Mais elle l'a deviné. La petite Catherine est une grande sœur ; une grande sœur est une petite mère ; elle prévient, elle devine.

« Oui, chéri, s'écrie Catherine ; je vais te faire une belle couronne et tu seras pareil à un petit roi. »

Et la voilà qui tresse les fleurs bleues, les fleurs jaunes et les fleurs rouges pour en faire un chapeau. Elle pose ce chapeau de fleurs sur la tête du petit Jean, qui en rougit de joie. Elle l'embrasse, elle le soulève de terre et le pose tout fleuri sur une grosse pierre. Puis elle l'admire parce qu'il est beau et elle l'aime parce qu'il est beau par elle.

Et, debout sur son socle agreste, le petit Jean comprend qu'il est beau. Cette idée le pénètre d'un respect profond de lui-même. Il comprend qu'il est sacré. Droit, immobile, les yeux tout ronds, les lèvres serrées, les bras pendants, les mains ouvertes et les doigts écartés comme les rayons d'une roue, il goûte une joie pieuse à se sentir devenir une idole. Le ciel est sur sa tête, les bois et les champs sont à ses pieds. Il est au milieu du monde. Il est seul grand, il est seul beau.

Mais tout à coup Catherine éclate de rire. Elle s'écrie :

« Oh ! que tu es drôle, mon petit Jean ! que tu es drôle ! »

Elle se jette sur lui, elle l'embrasse, le secoue ; la lourde couronne lui glisse sur le nez. Et elle répète :

« Oh ! qu'il est drôle ! qu'il est drôle ! »

Et elle rit de plus belle.

Mais le petit Jean ne rit pas. Il est triste et surpris que ce soit fini et qu'il ne soit plus beau. Il lui en coûte de redevenir ordinaire.

Maintenant la couronne dénouée s'est répandue à terre et le petit Jean est redevenu semblable à l'un de nous. Il n'est plus beau. Mais c'est

как некогда под другими небесами и в другие времена люди чтили своих косматых и диких богов.

Но вот она внезапно поражена, встревожена, повергнута в изумление: она видит своего старого духа земли, своего косматого гения Миро привязанным на длинной привязке к столбу у колодца. В глубококом раздумье смотрит она на Миро, тот в свою очередь смотрит на нее своими хорошими, честными и покорными глазами. Он не удивляется. Он любит хозяина и совсем не сознает себя старым земным гением и косматым богом по представлениям Розы. Без гнева Миро носит цепь и ошейник. Но Роза не смеет теперь к нему подойти. Она не может понять, каким это образом ее дивный таинственный друг мог лишиться свободы, и неясная грусть пробирается в сердце не ведающей Розы.

IV. Промахи сильных

Дороги похожи на реки.

Это потому так, что реки – те же дороги, проведенные самой природой, но такие дороги, по которым ходят только в больших-больших *деревянных сапогах*. Какое же еще другое название могло бы подходить к деревянным баркам, плотам, пароходам?!

Итак, дороги все равно что реки, устроенные человеком для человека!

Дороги, прекрасные дороги! Вы так же гладки, как водная поверхность реки! Колесо экипажа и подошва пешехода встречают в вас живую и в то же время прочную опору!

Дороги – лучшие творения наших предков, которые умерли безвестными, не оставив нам своего имени, мы знаем их только по их добрым делам.

Да будут благословенны дороги, по которым в таком изобилии подвозятся к нам произрастания земли! благословенны пути, сближающие друзей!

Чтобы повидаться с другом Жаном, пятеро товарищей: Леон, Марсель, Бернар, Жак и Поль – отправились большой дорогой, которая, как говорят, проходит через все государство. Развертываясь на солнце, как красивая пестрая лента, и проходя по полям и лугам, она пересекает города, деревеньки и, в конце концов, по рассказам, приводит их к огромному морю, где плавают корабли.

Пятеро названных выше товарищей так далеко не заходят; хотя для того, чтобы достигнуть места, в котором проживает их общий

encore un solide gaillard. Il a ressaisi son fouet, et le voilà qui tire de l'ornière les six chevaux de ses rêves. Les petits enfants imaginent avec facilité les choses qu'ils désirent et qu'ils n'ont pas. Quand ils gardent dans l'âge mûr cette faculté merveilleuse, on dit qu'ils sont des poètes ou des fous. Le petit Jean crie, frappe et se démène.

Catherine joue encore avec ses fleurs. Mais il y en a qui meurent. Il y en a d'autres qui s'endorment. Car les fleurs ont leur sommeil comme les animaux, et voici que les campanules, cueillies quelques heures auparavant, ferment leurs cloches violettes et s'endorment dans les petites mains qui les ont séparées de la vie. Catherine en serait touchée si elle le savait. Mais Catherine ne sait pas que les plantes dorment ni qu'elles vivent. Elle ne sait rien. Nous ne savons rien non plus et, si nous avons appris que les plantes vivent, nous ne sommes guère plus avancés que Catherine, puisque nous ne savons pas ce que c'est que vivre. Peut-être ne faut-il pas trop nous plaindre de notre ignorance. Si nous savions tout, nous n'oserions plus rien faire et le monde finirait.

Un souffle léger passe dans l'air et Catherine frissonne. C'est le soir qui vient.

« J'ai faim », dit le petit Jean.

Il est juste qu'un conducteur de chevaux mange quand il a faim. Mais Catherine n'a pas un morceau de pain pour donner à son petit frère.

Elle lui dit :

« Mon petit frère, retournons à la maison. » Et ils songent tous deux à la soupe aux choux qui fume dans la marmite pendue à la crémaillère, au milieu de la grande cheminée. Catherine amasse ses fleurs sur son bras et, prenant son petit frère par la main, le conduit vers la maison.

Le soleil descendait lentement à l'horizon rougi. Les hirondelles, dans leur vol, effleuraient les enfants de leurs ailes immobiles. Le soir était venu. Catherine et Jean se pressèrent l'un contre l'autre.

Catherine laissait tomber une à une ses fleurs sur la route. Ils entendaient, dans le grand silence, la crécelle infatigable du grillon. Ils avaient peur tous deux et ils étaient tristes, parce que la tristesse du soir pénétrait leurs petites âmes. Ce qui les entourait leur était familier, mais ils ne reconnaissent plus ce qu'ils connaissaient le mieux.

Il semblait tout à coup que la terre fût trop grande et trop vieille pour eux. Ils étaient las et ils craignaient de ne jamais arriver dans la maison où leur mère faisait la soupe pour toute la famille. Le petit Jean n'agitait plus son fouet. Catherine laissa glisser de sa main fatiguée sa dernière fleur. Elle tirait son petit frère par le bras et tous deux se taisaient.

товарищ, им необходимо сделать добрый конец. Вот они вышли. Их отпустили без провожатого, так как все они обещали вести себя умниками: ни под каким предлогом не свертывать с прямого пути; остерегаться лошадей и экипажей и не покидать самого меньшего из всей этой компании – Поля.

Вот они вышли и идут в полном порядке в одном направлении. Лучше невозможно ходить! Но в этой образцовой маршировке один недостаток: Поль слишком мал!

В нем разгорается непомерное мужество. Он усиленно шагает, развертывая всю силу своих коротеньких ног, усиленно махает руками. Но он слишком мал и не может успеть за товарищами. Он отстает. Это неизбежно. Философы знают, что одинаковые причины всегда приводят к одинаковым последствиям. Но Жак, Бернар, Марсель и даже Леон – не философы. Они идут, насколько позволяют им ноги, а Поль шагает в меру своих собственных сил. Согласия не выходит. Поль пускается бегом, едва переводит дух, кричит, но все-таки остается позади.

Сильные и взрослые должны бы, скажете вы, подождать слабейшего и сообразовать свою походку с его походкой. Увы! Это было бы с их стороны большой добродетелью, но они в этом случае ведут себя как все люди вообще. «Вперед!» – кричат сильные и оставляют позади себя слабых, но подождите конца этой истории.

Вдруг четверо наших взрослых и сильных мальчиков останавливаются: перед ними прыгающее животное. Животное прыгало, потому что это была лягушка.

Не простая, а зеленая лягушка! Она походила на свежий древесный листок, и это сходство придавало ей что-то таинственное. Бернар, Леон, Жак и Марсель бросаются за нею вдогонку. Прощай, Поль, прощай, прекрасная дорога, прощай, навсегда данное слово!

Вот они на лугу и чувствуют, что вьзнут их ноги в мягкой и жидкой земле, питающей высокую, густую траву. Еще несколько шагов – и они тонут по колено в грязи. Под травой скрывалось болото. Едва они выбрались, башмаки, чулки, панталоны почернели от грязи. Зеленая нимфа лугов наложила слой грязи на четырех непослушников.

Сильно запыхавшийся Поль догнал наконец, но, увидя товарищей в запачканной обуви, не знал, что ему делать: радоваться или скорбеть!

Он перебирает в своем невеликом уме катастрофы, которые постигают взрослых и сильных.

Enfin, ils virent de loin le toit de leur maison qui fumait dans le ciel assombri. Alors, ils s'arrêtèrent, et tous deux, frappant des mains, poussèrent des cris de joie. Catherine embrassa son petit frère, puis, ils se mirent ensemble à courir de toute la force de leurs pieds fatigués. Quand ils entrèrent dans le village, des femmes qui revenaient des champs leur donnèrent le bonsoir. Ils respirèrent. La mère était sur le seuil, en bonnet blanc, l'écumoire à la main.

« Allons, les petits, allons donc ! » cria-t-elle. Et ils se jetèrent dans ses bras. En entrant dans la salle où fumait la soupe aux choux, Catherine frissonna de nouveau. Elle avait vu la nuit descendre sur la terre. Jean, assis sur la bancelle, le menton à la hauteur de la table, mangeait déjà sa soupe.

Les fautes des grands

Les routes ressemblent à des rivières. Cela tient à ce que les rivières sont des routes ; ce sont des routes naturelles sur lesquelles on voyage avec des bottes de sept lieues ; quel autre nom conviendrait mieux à des barques ? Et les routes sont comme des rivières que l'homme a faites pour l'homme.

Les routes, les belles routes aussi unies que la surface d'une fleuve et sur lesquelles la roue de la voiture et la semelle du soulier trouvent un appui à la fois solide et doux, ce sont les chefs-d'œuvre de nos pères qui sont morts sans laisser leur nom et que nous ne connaissons que par leurs bienfaits. Qu'elles soient bénies, ces routes par lesquelles les fruits de la terre nous viennent abondamment et qui rapprochent les amis.

C'est pour aller voir un ami, l'ami Jean, que Roger, Marcel, Bernard, Jacques et Étienne ont pris la route nationale qui déroule au soleil, le long des prés et des champs, son joli ruban jaune, traverse les bourgs et les hameaux et conduit, dit-on, jusqu'à la mer où sont les navires.

Les cinq compagnons ne vont pas si loin. Mais il leur faut faire une belle course d'un kilomètre pour atteindre la maison de l'ami Jean.

Les voilà partis. On les a laissés aller seuls, sur la foi de leurs promesses ; ils se sont engagés à marcher sagement, à ne se point écarter du droit chemin, à éviter les chevaux et les voitures et à ne point quitter Étienne, le plus petit de la bande.

Les voilà partis. Ils s'avancent en ordre sur une seule ligne. On ne peut mieux partir. Pourtant, il y a un défaut à cette belle ordonnance. Étienne est trop petit.

Товарищи должны были возвратиться назад, потому что невозможно в таком загрязненном виде отправляться к товарищу Жану.

Когда они вернутся домой, матери прочтут их проступок по загрязненным ногам, между тем как чистота и невинность Поля будут просвечивать во всем их незапятнанном блеске!

V. На лоне природы

После завтрака Катя и ее маленький братишка Жан отправились на поле. Когда они вышли из дома, день казался таким же новым и свежим, как сами они. Небо было не совсем голубое. Скорее оно высматривало серым, но его серый цвет казался мягче, чем все голубые оттенки. Глаза Кати были также светло-серого цвета, составляя нечто общее с этим утренним небом.

Катя и Жан одиноко проходят лугами. Мать содержит ферму и теперь занята работой. У них нет служанки, которая могла бы провожать, да они и не нуждаются в этом, так как знают дорогу: им знакомы все эти леса, холмы и поля. Катя, взглянув на солнце, может сказать, который час, и чувствует те чарующие тайны природы, о которых городские дети и не подозревают. Даже маленький Жан и тот многое понимает во всем, что касается жизни леса и горных вершин, потому что в нем живет душа селянина. Катя и Жан проходят по цветущему лугу. Катя на ходу составляет букеты. Она любит цветы, а любит их потому, что они прекрасны! Повод, я думаю, достаточный, чтобы любить!? Все прекрасное привлекательно. Прекрасное смягчает жизнь, приближает к добру! Потому составление прекрасных букетов относится к лучшим деяниям человека.

Катя рвет васильки, мак, кукушкины слезки, золотистый лютик. Рвет она также и те фиолетовые цветы, что растут по дорогам и носят название Венерин башмачок. Рвет она темные головки чернобыльника, желтоцветные петушки гребни, розовый журавельник, луговые лилии с белыми колокольчиками, колеблющимися при малейшем движении воздуха и издающими нежный аромат.

Катя любит цветы, потому что они красивы. Любит еще потому, что из них составляются венки для головного убора. Она простая маленькая девочка, и ее красивые волосы прикрывает обыкновенный темный чепчик; ситцевый передник, простое без складок платье; ходит она в деревянных башмаках, и дорогие наряды видала только в своей сельской церкви на святой Деве Марии да на святой Екате-

Un grand courage s'allume en lui. Il s'efforce, il hâte le pas. Il ouvre toutes grandes ses courtes jambes. Il agite ses bras par surcroît. Mais il est trop petit, il ne peut pas suivre ses amis. Il reste en arrière. C'est fatal ; les philosophes savent que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais Jacques, ni Bernard, ni Marcel, ni même Roger, ne sont des philosophes. Ils marchent selon leurs jambes, le pauvre Étienne marche avec les siennes : il n'y a pas de concert possible. Étienne court, souffle, crie, mais il reste en arrière.

Les grands, ses aînés, devraient l'attendre, direz-vous, et régler leur pas sur le sien. Hélas, ce serait de leur part une haute vertu. Ils sont en cela comme les hommes. En avant, disent les forts de ce monde, et ils laissent les faibles en arrière. Mais attendez la fin de l'histoire.

Tout à coup, nos grands, nos forts, nos quatre gaillards s'arrêtent. Ils ont vu par terre une bête qui saute. La bête saute parce qu'elle est une grenouille, et qu'elle veut gagner le pré qui longe la route. Ce pré, c'est sa patrie : il lui est cher, elle y a son manoir auprès d'un ruisseau. Elle saute.

C'est une grande curiosité naturelle qu'une grenouille.

Celle-ci est verte ; elle a l'air d'une feuille vivante, et cet air lui donne quelque chose de merveilleux. Bernard, Roger, Jacques et Marcel se jettent à sa poursuite. Adieu Étienne, et la belle route toute jaune ; adieu leur promesse. Les voilà dans le pré, bientôt ils sentent leurs pieds s'enfoncer dans la terre grasse qui nourrit une herbe épaisse. Quelques pas encore et ils s'embourbent jusqu'aux genoux. L'herbe cachait un marécage.

Ils s'en tirent à grand'peine. Leurs souliers, leurs chaussettes, leurs mollets sont noirs. C'est la nymphe du pré vert qui a mis les guêtres de fange aux quatre désobéissants.

Étienne les rejoint tout essoufflé. Il ne sait, en les voyant ainsi chaussés, s'il doit se réjouir ou s'attrister. Il médite en son âme innocente les catastrophes qui frappent les grands et les forts. Quant aux quatre guêtrés, ils retournent piteusement sur leurs pas, car le moyen, je vous prie, d'aller voir l'ami Jean en pareil équipement ? Quand ils rentreront à la maison, leurs mères liront leur faute sur leurs jambes, tandis que la candeur du petit Étienne reluira sur ses mollets roses.

Jacqueline et Miraut

Jacqueline et Miraut sont de vieux amis. Jacqueline est une petite fille et Miraut est un gros chien.

рине. Но о некоторых вещах маленькие девочки получают понятие уже при самом рождении! Вот почему Кате известно, что цветы самое лучшее украшение и что красивая дама, прикладывая цветы, становится еще красивее.

– «В эту минуту, – думает по себе Катя, – я должна быть очень красива, потому что у меня венок больше моей головы!..»

И Катя исполнена радостью от сознания своей красоты. Мысли ее блестят и благоухают, как вот эти цветы. Словами подобные мысли не выразить. Словам не достает красоты, и они не годятся для выражения счастливого душевного состояния маленькой девочки. Для этого нужна песня с ее веселым и нежным напевом, самая милая песня! Срывая цветы, Катя поет: «Выйду я в лес одинешенька!».

Маленький Жан другого характера. Он руководится другими мнениями и ведет себя молодцом, хотя еще и не носит штанишек. По уму он далеко опередил свои годы, так как нет ума более изворотливого и веселого, чем у него. Вот он одной ручонкой цепляется за передник сестры, чтобы не упасть, а другая рука его бойко владеет хлыстом с твердостью, свойственной только взрослому и лихому малому. Едва ли первый работник его отца сумел бы так же лихо шелкнуть своим хлыстом, когда, погоняя лошадей с водопоя, вдруг повстречал бы свою невесту.

Маленький Жан не утопает в возвышенно-благородных мечтах. Он не обращает внимания на полевые цветы и даже для игр выбирает тяжелые работы. В воображении его рисуется обляпанная грязью телега и лошадь, выбивающаяся из силы под крики погонщика и удары хлыста.

Он преисполнен сознания силы и гордости. Потому и идет мелкими шажками по лугу, ступая на камни и держась одной рукой за передник сестры.

Катя и Жан поднялись над лугами, на холм – самое возвышенное место, откуда виден дым всех окрестных деревень, спрятавшихся в листве, а на горизонте – колокольни шести сельских церквей. С этого места было видно, как земля велика, и здесь именно Катя как нельзя лучше понимала все заученные в школе истории: голубя в ковчеге, израильтян в земле обетованной и Иисуса Христа, переходящего из города в город. «Сядем здесь!» – говорит она брату и садится, разбрасывая руками цветочную жатву. Катя вся усыпана благоухающими цветами, вокруг нее порхают бабочки. Она выбирает и связывает цветы, подбирая цветные тона в приятное для глаз

Ils sont du même monde, ils sont tous deux rustiques : de là leur intimité profonde. Depuis quand se connaissent-ils ? ils ne savent plus : cela passe la mémoire d'un chien et celle d'une petite fille. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de le savoir, ils n'ont ni envie, ni besoin de rien savoir. Ils ont seulement l'idée qu'ils se connaissent depuis très longtemps, depuis le commencement des choses, car ils n'imaginent ni l'un ni l'autre que l'univers ait existé avant eux. Le monde, tel qu'ils le conçoivent, est jeune, simple et naïf comme eux. Jacqueline y voit Miraut et Miraut y voit Jacqueline tout au beau milieu. Jacqueline se fait de Miraut une belle idée, mais c'est une idée inexprimable. Les mots ne peuvent rendre la pensée de Jacqueline, ils sont trop gros pour cela ! Quant à la pensée de Miraut, c'est sans doute une bonne et juste pensée, mais, par malheur, on ne la connaît pas bien. Miraut ne parle pas, il ne dit pas ce qu'il pense et il ne le sait pas très bien lui-même.

Assurément, il a de l'intelligence, mais pour toutes sortes de raisons, cette intelligence est obscure. Miraut a toutes les nuits des rêves : il voit en dormant des chiens comme lui, des petites filles comme Jacqueline, des mendiants. Il voit des choses joyeuses et des choses tristes.

C'est pourquoi il aboie ou il grogne pendant son sommeil. Ce ne sont là que des songes et des illusions, mais Miraut ne les distingue pas de la réalité. Il brouille dans sa cervelle ce qu'il voit en rêve avec ce qu'il voit quand il est éveillé, et cette confusion l'empêche de comprendre beaucoup de choses que les hommes comprennent. Et puis, comme c'est un chien, il a des idées de chien. Et pourquoi voulez-vous que nous comprenions les idées des chiens mieux que les chiens ne comprennent les idées des hommes ? Mais d'homme à chien, on peut tout de même s'entendre, parce que les chiens ont quelques idées humaines et les hommes quelques idées canines. C'est assez pour lier amitié. Aussi Jacqueline et Miraut sont-ils très bons amis.

Miraut est beaucoup plus grand et plus fort que Jacqueline. En posant ses pattes de devant sur les épaules de l'enfant, il la domine de la tête et du poitrail. Il pourrait l'avalier en trois bouchées ; mais il sait, il sent qu'une force est en elle et que, pour petite qu'elle est, elle est précieuse. Il l'admire à sa manière. Il la trouve mignonne. Il admire comme elle sait jouer et parler. Il l'aime, il la lèche par sympathie.

Jacqueline, de son côté, trouve Miraut admirable. Elle voit qu'il est fort, et elle admire la force. Sans cela, elle ne serait point une petite fille. Elle voit qu'il est bon, et elle aime la bonté. Aussi bien la bonté est-elle une chose douce à rencontrer.

сочетание. Чем ярче краски, тем они больше нравятся ей. У нее острое зрение, и ярко-красный цвет ей не режет глаза. Только для приглушенных взоров горожан художники осторожно смягчают краски. Глазки Кати – добрые маленькие глазки – от красного мака еще больше оживляются. Мак – ее любимый цветок. Но пурпурные лепестки его уже завяли, и легкий ветерок колеблет смятые листочки в руках девочки. Она восхищенно осматривает цветочные стебли и видит, как насекомые самых разнообразных видов бегают и летают по листьям и цветочкам. Цветы, которые она нарвала, служили пристанищем для мух и жуков, которые, видя свои жилища в опасности, теперь скорбят и волнуются.

Но Катя не заботится о насекомых. Решив, что это слишком мелкие существа, она не чувствует к ним никакой жалости. Она не знает, что в одно и то же время можно быть и очень маленьким и очень несчастным. Но это уже философские мысли, а к несчастью для жучков и других насекомых философия никогда не заглядывала в голову Кати.

Вся она в венках и в гирляндах, и возле ушей – цепь колокольчиков. Так пастухи украшают свою чтимую икону. Маленький Жан, справлявшийся все это время с воображаемым табуном лошадей, вдруг замечает сестру, убранную цветами и зеленью. Он изумлен до глубины души и любит ее; его охватывает чувство религиозного восторга. Он останавливается, роняет хлыст. Он понял, что сестра его – красивое создание. Ему хочется так же быть красивым, убрать себя цветами с ног до головы. Тщетно пытается он выразить свои желания в неясном, хотя и милом лепете. Но сестра угадала. Ведь маленькая Катя – старшая сестра: она для него большая сестра и маленькая мама. Она сделает для него это, потому что она поняла его желания.

– Милый мой! – говорит Катя, – Сейчас сделаю тебе чудный-чудный венок. Ты будешь у меня королем!

Быстро сплетаются голубые, желтые, красные цветы в венок на голову маленького Жана. Мальчик краснеет от радости. Катя целует, поднимает вверх и усыпанного цветами с ног до головы ставит на большой камень и любит его: как красив он в этом наряде! Он прекрасен, и Катя любит его еще больше.

Стоя на своем пьедестале, наш маленький Жан чувствует, как он прекрасен. Это сознание внушает ему глубокое уважение к самому себе. Он понимает, что он особа. Стоя прямо, неподвижно, с широко

Elle a pour lui un sentiment de respect. Elle observe qu'il connaît beaucoup de secrets qu'elle ignore et que l'obscur génie de la terre est en lui. Elle le voit énorme, grave et doux. Elle le vénère comme sous un autre ciel, dans les temps anciens, les hommes vénéraient des dieux agrestes et velus.

Mais voici que tout à coup, elle est surprise, inquiète, étonnée. Elle a vu son vieux génie de la terre, son dieu velu, Miraut, attaché par une longue laisse à un arbre, au bord du puits. Elle contemple, elle hésite, Miraut la regarde de son bel œil honnête et patient. Il n'est ni surpris ni fâché d'être à la chaîne ; il aime ses maîtres, et, ne sachant pas qu'il est un génie de la terre et un dieu couvert de poil, il garde sans colère sa chaîne et son collier. Cependant Jacqueline n'ose avancer. Elle ne peut comprendre que son divin et mystérieux ami soit captif, et une vague tristesse emplit sa petite âme.

France, A. Les contes de maman [La ressource électronique] / A. France // Pierre Nozière. – Paris : Calmann-Lévy. – P. 43–66. – La version électronique de la publication typographique. – URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k229522b/f45.item.r=pierre+nozi%C3%A8re.langFR.zoom>

раскрытыми глазами, сжав губы, опустив руки с растопыренными, как спицы у колеса, пальцами, он вкушает неземную радость, сознавая себя кумиром.

Над ним небо, а кругом поля и леса, склонившиеся у его ног. Он в центре вселенной. Один он велик, один он прекрасен!

Вдруг Катя раздражается смехом и кричит: «Ай-ай-ай! Какой ты смешной, Жан, какой ты смешной!».

Бросается к нему, целует, трясет. Тяжелая корона цветов, падая, скользит уже по его лицу. А она все повторяет:

– Какой ты смешной, какой ты смешной! – и заливается задухшевым раскатистым смехом.

Но маленький Жан не смеется. Он опечален и дивится, что все это так скоро прошло и что он уже не так прекрасен, как был. Ему приходится снова стать обыкновенным маленьким Жаном.

Распавшаяся корона цветов уже свалилась на землю, и маленький Жан стал человеком, подобным каждому из нас. Он уже утратил все королевское величие, но все-таки это солидный мальчуган. Он снова схватил свой хлыст и снова погоняет шестерку фантастических лошадей. Дети легко представляют себе предметы, которых в действительности нет, но которые они желали бы иметь. Если они и в зрелом возрасте сохраняют ту же чудесную способность, их называют то поэтами, то сумасшедшими.

Маленький Жан кричит, погоняет хлыстом, рвет и мечет. Катя еще играет с цветами. Но одни цветы уже погибли, другие погружаются в сон. Цветы спят так же, как и животные. Вот почему сорванные колокольчики закрывают через несколько часов свои голубые лепесточки и вянут в той маленькой ручке, которая разлучила их с жизнью.

Катя пришла бы в умиление, если б только знала об этом. Но ей не известно, что цветы спят, что они одарены жизнью. Она ничего не знает. Да и сами мы знаем ли больше? Если мы заучили фразу «цветы живут», то все-таки недалеко ушли от Кати, потому что все-таки не знаем, что значит «жить». Но, может быть, не нужно слишком жалеть и о том, что не все мы знали; я думаю, что у нас не хватило бы смелости жить, и мир кончился бы вместе с нашей кончиной.

Поносится легкий ветерок, и Катю охватывает легкая дрожь. Надвигается вечер.

«Есть хочу!» – говорит маленький Жан.

И в самом деле, ведь необходимо, чтобы конновожатый ел, когда он голоден. Но у Кати нет для него хлеба, и она говорит:

«Братец, пойдем домой!».

И оба они мечтают о горячих дымящихся щах! Катя собирает цветы и, взяв братишку за руку, ведет его домой.

Солнце медленно опускается над горизонтом. Ласточка, пролетая, задевает детей своим неподвижно распростертым крылом. Настал вечер, Катя и Жан прижимаются друг к другу.

Катя роняет свои цветы один за другим по дороге. В глубокой тишине слышится трескотня неугомонных сверчков. Оба охвачены страхом, оба печальны, потому что вечерняя грусть наполняет их детские души. Все окружающее давно им знакомо, но теперь они уже не узнают того, что до сего времени узнали как нельзя лучше.

Им вдруг показалось, что земля чересчур велика и чересчур стара для них. Они устали и боятся, что никогда не вернутся домой, где мать готовила ужин. Маленький Жан уже не работал хлыстом; Катя выпустила из уставшей руки свой последний цветок. Она тащила брата, и оба молчали.

Наконец издалека показались крыши их родного села и дым, растилавшийся над потемневшим горизонтом. Дети остановились и, хлопая в ладошки, закричали от радости. Катя поцеловала своего маленького брата, и оба пустились бежать, насколько позволяли уставшие ноги. Когда они входили в деревню, возвращавшиеся с поля женщины сказали им «добрый вечер». Тогда дети перевели дух.

Мать была в белом платочке на голове с ложкой в руке.

– Идите же, идите, ребята! – закричала она. Дети бросились в объятия матери. Войдя в комнату с запахом супа, Катя снова вздрогнула: она почувствовала теперь, что ночь опустилась на землю. Жан, сидя на скамейке и положив подбородок на стол, чинно съедал свою порцию.

Опубликовано в «Сибирской жизни». 1904. № 69 (6 апреля). С. 2–3; № 72 (28 марта). С. 2–3. Перевод К. Минович.

Литература

Гавриленко (Родченко) Ю.И. Рассказ Анатоля Франса «Андре» на страницах «Сибирского вестника» 1903 г. // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: материалы X конференции молодых ученых (17 апреля 2009 г.): в 2 т. – Томск: Том. гос. ун-т, 2009. – Вып. 10, т. 2: Литературоведение. – С. 54–57.

Гавриленко (Родченко) Ю.И. Рассказы Анатоля Франса на страницах «Сибирского вестника» (1903 г.) // Наука и образование: XIII Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (20–24 апреля 2009 г.): в 6 т. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. – Т. II: Филология, ч. 1: Русский язык. Русская и зарубежная литература. – С. 245–250.

Гавриленко (Родченко) Ю.И. Анатоль Франс на страницах томской периодики начала XX века // Коммуникативные аспекты языка и культуры: сборник материалов IX Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2009. – Ч. 2. – С. 10–12.

Гавриленко (Родченко) Ю.И. Два перевода одного рассказа А. Франса в томских газетах начала XX века // Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики: материалы XI конференции молодых ученых: в 2 т. – Томск: Том. гос. ун-т, 2010. – Вып. 11, т. 2: Литературоведение и издательское дело. – С. 38–41.

Гавриленко (Родченко) Ю.И. Рассказ «Госпожа де Люзи» А. Франса в «Сибирских отголосках» 1907 г. // Коммуникативные аспекты языка и культуры: сборник материалов X Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2010. – Ч. 2. – С. 9–11.

Гавриленко (Родченко) Ю.И. Новелла А. Франса о французской революции в рецепции «Сибирской жизни» 1905 и 1907 гг. // Наука и образование: XIV Всероссийская с международным участием конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (19–23 апреля 2010 г.): в 6 т. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2010. – Т. II: Филология, ч. 1: Русский язык и литература. – С. 238–244.

Родченко Ю.И. Переводческая интерпретация рассказов А. Франса // Французская литература в томской периодике конца XIX – начала XX в.: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. – Томск, 2014. – С. 100–113.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
П. Арен	8
La danseuse.....	10
Танцовщица.....	11
La roupee.....	18
Кукла.....	19
П. Бурже	26
Autre Inconnue.....	30
Незнакомая подруга.....	31
A quarante ans.....	38
Женщина в сорок лет.....	39
О. де Вилье де Лиль-Адан	54
Impatience de la foule.....	56
Нетерпение толпы.....	57
А. Доде	70
La Partie de billard.....	74
Партия на бильярде.....	75
Le prussien de Belisaire.....	82
Рассказ Вилизария.....	83
Ф. Копе	92
Jalousie (Manuscrit d'un prisoner).....	94
Ревность (Записки заключенного).....	95
Ревность (Записки арестанта).....	118
Les fiances de Noël.....	128
Рождественский подарок.....	129
К. Мендес	144
Le soir d'une fleur.....	148
Вечер одного цветка.....	149
О. Мирбо	156
Le Père Nicolas.....	160
Дядя Николай.....	161
Эй, дядя Николай.....	167
Г. де Мопассан	170
Sur le nuages.....	178
На воздушном шаре.....	179
На баллоне.....	189

Un parricide	194
Отцеубийца.....	195
Ж. Ришпен	206
Le chef-d'œuvre du crime.....	208
Шедевр преступления	209
А. Франс	232
Anecdote de floréal, an II.....	238
Добровольная жертва	239
Из воспоминаний о Флореале, второго года Республики	247
Les contes de maman.....	252
Из маминых сказок.....	253

Учебно-практическое издание

Н.Е. Никонова,
Д.А. Олицкая, В.Н. Горенинцева,
Ю.И. Родченко, Е.В. Аблогина,
М.В. Павлова

ПЕРЕВОДЫ
ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПЕРИОДИКЕ СИБИРИ

ХРЕСТОМАТИЯ

Редактор Н.А. Сидорова
Компьютерная верстка Т.В. Дьяковой

Подписано в печать 20.08.2016.

Формат 60х84¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Печ. л. 17,5; усл. печ. л. 16,6; уч.-изд. л. 17,0. Тираж 500. Заказ

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
ООО «Новые Печатные Технологии», 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 28, стр. 1